Н.А. Раевский

1918 ГОД

• ОКАЯННЫЕ ДНИ •

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания Николая Алексеевича Раевского (1894—1988) рассказывают о событиях 1918 года на Украине. Автор мемуаров – капитан белой армии, биолог, писатель-пушкинист, эмигрировавший в составе Русской армии генерала П.Н. Врангеля. В своих мемуарах Николай Алексеевич повествует нам, как в годы Гражданской войны оказался в составе гетманской армии и какие испытания выпали на его долю. Книга издается в год 125-летия со дня рождения Н.А. Раевского.

- Николай Алексеевич Раевский
  - ○
  - ○ Об авторе
  - ○ «Люди без настоящего и будущего»
  - ○ 1918 год
    - ■ Предисловие
    - ■ Глава I
    - ■ Глава II
    - ■ Глава III
    - ■ Глава IV
    - ■ Глава V
    - ■ Глава VI
    - ■ Глава VII
    - ■ Глава VIII
    - ■ Глава IX
    - ■ Глава X
    - ■ Глава XI
    - ■ Глава XII
    - ■ Глава XIII
    - ■ Глава XIV
    - ■ Глава XV
    - ■ Глава XVI
    - ■ Глава XVII
    - ■ Глава XVIII
    - ■ Глава XIX
  - ○ Иллюстрации
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137

- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181

- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225

- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269

- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291

Николай Алексеевич Раевский
1918 год

За подготовку к изданию этой книги наследники Н. А. Раевского выражают благодарность Дарье Болотиной, Алексею Акимову, Анастасии Кондратьевой, Владимиру Грицаю, Дмитрию Толмачеву, Андрею Воробьеву и Ольге Леонидовне Коробовой, а также руководству и сотрудникам Государственного архива Российской Федерации

* * *

© Раевский Н. А., наследники, 2020
© Государственный архив Российской Федерации, 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Об авторе

Николай Алексеевич Раевский родился 12 июля 1894 года в городе Вытегре Олонецкой губернии (ныне Вологодской области) в семье судебного следователя Петрозаводского окружного суда.

По отцовской линии Николай Алексеевич принадлежал к одному из дворянских родов Петербургской губернии. Дворянское достоинство было пожаловано в 1848 году его прадеду Николаю Федоровичу Раевскому.

Алексей Сергеевич Раевский, отец будущего писателя, успешно окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета, всю свою жизнь служил по гражданскому судебному ведомству. Мать Николая Алексеевича, Зинаида Герасимовна, происходила из олонецкой ветви старинного дворянского рода Пресняковых.

Николай Алексеевич на часто задаваемый вопрос, принадлежит ли его род к знаменитому дворянскому роду генерала Раевского, отвечал, что не принадлежит.

Вот как он сам рассказывал о своих предках: *«Были среди них и соборные протоиереи, и знаменитый изобретатель Кулибин, которого некоторые считают техническим гением, и скромные судебные деятели, и лица, занимавшие высокие посты по судебному ведомству. Был дедушка, окончивший Александровский лицей, и дедушка, по его любимому выражению, учившийся будто бы на медные деньги. Была прабабушка – очень знатная полька, одна из бабушек – ученица Гоголя, другая – известная попадья, по происхождению карелка… контрасты среди них очень большие. Обер-прокурор Сената и казненный народоволец Андрей Пресняков, артистка Художественного театра Раевская, знаменитая балерина Преображенская и брат бабушки Пресняковой, постригшийся в монахи. Акцизный надзиратель и его брат, старший председатель судебной палаты; ученый-археолог, известный историк Пресняков – разные были люди…»*

Одно из самых ранних воспоминаний детства Коленьки Раевского было связано с его прабабушкой Софией Марковой, у которой он гостил в Петербурге в 1899 году. На всю жизнь запомнил пятилетний мальчуган ее слова: *«Вот, Колечка, когда ты подрастешь, то вспомни то, что я рассказываю тебе сейчас. Когда мне было 16 лет, на одном балу я видела Александра Сергеевича Пушкина, а моим учителем в Патриотическом институте благородных девиц был Николай Васильевич Гоголь. Когда подрастешь, узнаешь, кто были эти великие люди»*[1]. Слова эти были как знак судьбы, и Раевский пронес по жизни

воспоминание о том разговоре со своей прабабушкой. Имя Пушкина осветило всю творческую жизнь Николая Алексеевича, как будто таинственным и непостижимым образом служило ему «оберегом», и даже, возможно, спасло однажды от смерти – но об этом позже.

В 1902 году семья Раевских переехала из Малой Вишеры, где в ту пору служил отец, в Подольскую губернию. Среднее образование Коля Раевский получил в Каменец-Подольской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью в 1913 году. В выборе будущего рода деятельности он нисколько не сомневался. Страсть к энтомологии проснулась у него еще в раннем детстве.

Интерес был сильный и серьезный. Об этом говорит и тот факт, что он самостоятельно начал осваивать латынь еще до поступления в гимназию – чтобы читать латинские названия насекомых. Во многом такому научному, глубокому и дисциплинированному подходу способствовало и общение со старшими товарищами по увлечению, их благотворное влияние сыграло большую роль в становлении характера Коли Раевского и его отношения к научной работе. Николай Алексеевич с глубокой признательностью вспоминал те вечера, которые они «просиживали за определителем жуков Рейтера» – такие скучные для окружающих, но такие значимые и исполненные смысла для начинающих исследователей.

Именно это, уже недетское к тому времени увлечение, приводит Николая Раевского на Естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

Успешно занимаясь в университете, Николай Алексеевич одновременно успевает работать в энтомологических фондах Зоологического музея Императорской Академии наук, благодаря чему уже после окончания первого курса он смог опубликовать две научные статьи в весьма престижном научном журнале.

Начавшаяся Первая мировая война резко меняет жизненный путь студента Раевского. О тревожных событиях, послуживших поводом для начала войны он узнаёт находясь в научной экспедиции в Карпатах, где собирает биоматериал для своей энтомологической юнкера.

Сначала казалось, что военные действия закончатся быстрой и безусловной победой русского оружия, поэтому свою учебу в университете студент Раевский решает не прерывать. Но когда становится понятно, что все очень серьезно и война затягивается, Николай Алексеевич принимает судьбоносное для себя решение пойти добровольцем в армию. И вот, окончив четыре университетских семестра, 1 мая 1915 года, он поступает в

Михайловское артиллерийское училище – сменив студенческую тужурку на гимнастерку курсанта.

Из воспоминаний Раевского: *«Настало время прощаться. Бабушка была серьезной и печальной. У тети Сони задрожали уголки рта. Дедушка обнял меня и погладил по голове, чего раньше никогда не делал. У меня екнуло сердце. Все-таки я прожил у них целых два года. Дядя Саша, уходя утром на службу, крепко пожал мне руку, но ничего не сказал. Горничная пожелала мне счастья. Ну, все! Выхожу в переднюю, спускаюсь в вестибюль, швейцар тоже желает мне всего хорошего. Еду. ‹…› Первая военная ночь прошла неспокойно. Я долго не мог заснуть. Большая комната, в которой временно поместили новичков, была проходной, и до самой полуночи то и дело слышался звон шпор. Это возвращались отпускные юнкера старшего курса. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь – звон мелодичный я, опять-таки, знал уже, что шпоры надо будет купить у знаменитого мастера Савельева. Иначе михайловцам нельзя – традиция. Матрац толстый, но жесткий, одеяло теплое, но колючее – все не как дома. Ну что же, надо приспособляться. Я заснул»*[2].

По окончании восьмимесячного ускоренного курса, 1 ноября 1915 года, Николая Раевского «по высочайшему приказу» производят в прапорщики и зачисляют в легкую полевую артиллерию.

На фронтах Первой мировой артиллерист Раевский воевал почти два года в составе третьей батареи первого Финляндского горного артиллерийского дивизиона, где он занимал должность младшего офицера. Николай Алексеевич участвовал в боях против австрийцев и германцев на Юго-Западном и Румынском фронтах. В 1916 году прапорщика Раевского производят в чин подпоручика, а в 1917 году – поручика. Особо отличился Николай Алексеевич во время знаменитого Брусиловского прорыва. Раевский вспоминает в письме: «*Возьмем только один эпизод из первой мировой войны – тема вполне историческая. Осень 1916 г. Я – двадцатидвухлетний поручик артиллерии. В Карпатах готовится наш прорыв* (*развитие Брусиловского*). *Мне очень хочется заработать георгиевское оружие, а начальство не прочь дать мне возможность отличиться, потому что молодой артиллерист на хорошем счету. Словом, я вызываюсь быть передовым наблюдателем дивизиона – роль и весьма почетная, и весьма опасная ‹…› За полчаса до открытия огня я оказался в 300 шагах от германцев на самом важном участке плохо подготовленной операции. Сложно рассказывать дальнейшее. Еще один офицер-артиллерист был ранен. У меня, 22-летнего юноши, сосредоточилось управление огня 24 пушек. Я пристрелял их куда*

следует, но очень быстро стала рваться телефонная связь. Вдобавок еще один дивизион гаубичной артиллерии, впервые прибывший в горы, начал стрелять так неудачно, что снаряды ложились прямо на нас и добивали раненых. Командир батальона сказал мне шепотом: «Поручик, если вы не добьетесь переноса огня (*к которому я не имел никакого отношения*), *пехотинцы вас перестреляют».* (*У «последней черты» всякое ведь бывает, о чем в уставах не пишется.*) *Мне удалось вызвать к телефону* (*последняя не перебитая линия*) *начальника артиллерии и прекратить гаубичное безобразие. Одновременно я, очень категорически, доложил всероссийски знаменитому артиллеристу, что, если наша артиллерия не потушит «электрической лампочки»* (*участок германской позиции против нас*), *операция не удастся. Через несколько минут германцы перебили последний мой провод, но их гора уже кипела, как котел, от наших разрывов. Атака все-таки не удалась, потери были большие, георгиевского оружия, я, понятно, не заработал, но осталось сознание, что свой долг я исполнил достаточно толково»*[3].

К награде Николай Алексеевич все-таки был представлен – за боевые заслуги он был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», а впоследствии – орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени. Войну он закончил на Румынском фронте, к тому времени он был уже опытным боевым офицером, командовал батареей.

Потом случился революционный февраль 1917 года. Тогда многим либерально настроенным офицерам показалось, что произошедшие перемены смогут привести Россию к новой, прекрасной и справедливой жизни. На первых порах Николай Раевский принимает и приветствует революционные изменения в стране, но лишь на короткое время – очень скоро приходят отрезвление и горькое разочарование. Вот как описывает развал фронта Николай Алексеевич в повести «1918 год»: *«…Жуткий липкий позор. Каждый день по грязному, избитому бесчисленными обозами шоссе мимо домика, в котором мы живём, десятками, сотнями тянутся в тыл беспогонные, нестриженые злобные фигуры. Бросают опаршивевших, дохнущих от голода лошадей и бегут, бегут, бегут. Государственный разум великого народа русского… Свободная воля свободных граждан… И глухая, темная злоба закипает в груди – к тем, которые развратили и предали, и к тем, которые развратились и предали»*[4].

После заключения Брест-Литовского мира и расформирования батареи в 1918 году Раевский демобилизуется из армии и уходит в запас. С фронта он возвращается к родным, которые перебрались к тому времени в городок Лубны (ныне в

Полтавской области Украины). Поручик Раевский тогда еще не знает, что это была последняя встреча его семьи в полном составе: родители, два брата, сестра… родные, близкие, любимые… Но страшный кровавый вихрь революции и Гражданской войны беспощадно разделил их миры, разметал по разные стороны баррикад.

Позже братьев и сестру Николая Алексеевича репрессировали как врагов народа. Младшего брата Сергея по одним документам расстреляли, по другим – он скончался в лагере от болезни, что же было на самом деле, так и осталось неизвестным. Случилось это в страшном 1937 году. Средний брат Алексей сгинул где-то в лагерях (предположительно в Устьпечлаге) и его судьбу так и не удалось выяснить. Сестра София была осуждена раньше, в марте 1935 года, «за связь с зарубежной контрреволюцией» и приговорена к заключению на три года. Отец, Алексей Сергеевич, умер от тяжелой болезни еще в начале 30-х годов. В апреле 1937 года Софью Алексеевну из ленинградской тюрьмы перевели в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Впоследствии к ней в Караганду переехала и мать, Зинаида Герасимовна, где и скончалась в 1950 году.

Но все это случится позже, много позже… А пока поручик Раевский переживает несколько месяцев мирной жизни. Это были совсем непростые месяцы, ведь ему пришлось прожить их под уже пришедшими на Украину большевиками. Вдоволь хлебнув все «прелести» новой власти, Раевский в марте 1918 г. вновь уходит воевать, но уже на стороне Белого движения – против ставших уже ненавистными красных комиссаров. Именно тогда он сделал свой выбор. Определил свой Путь, путь «рыцаря Белой мечты», как он позже назовет свое первое литературное произведение… «*Иногда тяжело бывает на душе. Кажется каким-то кошмаром Гражданская война – длинная цепь убийств, грабежей, насилий, вакханалия крови, тысячи ничего не делавших здоровых офицеров и солдат. Но встают в памяти другие образы и делается как-то легче. Была вакханалия крови и грязи. Была и белая сказка… Были рыцари… Всюду они были и под трехцветным флагом, и под украинским*»[5]. К тому времени поручик Раевский был уже опытным офицером. В 1918 году на Украине, как впрочем, и во всей бывшей Российской империи, творился невообразимый хаос. Власть многократно переходила из рук в руки, и отнюдь не только от красных к белым. Противостояли большевикам печально известные петлюровцы. Махровым цветом распускались всевозможные разновидности украинского национализма. Но все эти виды «украинства» одинаково не желали иметь ничего общего с Россией – ни с исторической, ни с советской. Наиболее близким

к системе ценностей старой России оказалась «гетманщина». Глава «украинской державы» генерал П. П. Скоропадский, в прошлом – офицер Русской Императорской гвардии, старался по мере сил сохранить хотя бы некоторые элементы дореволюционного миропорядка на подконтрольной ему территории Украины. Выбирая из нескольких зол наименьшее, как ему тогда казалось, Раевский оказался в офицерском добровольческом отряде, носившем наименование «Лубенского куреня». *«Тогда, в мартовские дни восемнадцатого года, я все колебался, можно ли считать себя русским и сражаться под жовто-блакитным флагом, или нет? Близкие люди помогли разрешить сомнения. Совсем было собрался поступить в одну из натиевских*[6] *батарей; пустая случайность заставила отказаться от этого.*

Отправная точка была правильна. Я сейчас в этом убежден, пожалуй, еще больше, чем четыре года тому назад. ‹…› Мне, как и многим офицерам, казалось, что независимо от тех временных форм, в которые выливалась государственная жизнь Юга, надо было во что бы то ни стало и ни перед чем не останавливаясь закрепить его освобождение от власти советов. Не пугала нас и временная самостийность Украины – все равно никто почти в нее серьезно не верил. Все это казалось наносным, временным, второстепенным, а главное – спасение девяти богатейших губерний от неминуемого разгрома в случае возвращения большевиков…»[7] Пробыв недолгое время на службе в гетманских войсках, в сентябре 1918 г. Николай Алексеевич принял решение перейти на службу, которая лучше отвечала его представлениям о борьбе за историческую Россию. Он вступает в Южную армию, возглавляемую бывшим командующим Юго-Западным фронтом Первой мировой войны генералом Н. И. Ивановым. Вместе с ним воевать против большевиков едет и его младший брат Сергей. В ноябре 1918 года они оба участвовали в боях против красных на территории Воронежской губернии.

Под влиянием разочарований в боеспособности Южной Армии, после падения Германской империи и поражения России в Первой мировой войне, многие офицеры стремились перейти из Южной армии в Добровольческую (Вооруженные силы Юга России – ВСЮР), неудивительно, что в их числе оказался и Николай Раевский. После расформирования Южной Армии в феврале 1919 г. поручик Раевский перейдет в составе своей части в Добровольческую армию генерала Деникина и вплоть до эвакуации в Крым будет воевать в рядах знаменитой Дроздовской дивизии, элиты Белого воинства (во второй батарее Дроздовской артиллерийской бригады). В качестве младшего офицера,

командира орудия, он участвовал в боях против Красной армии в 1919 и 1920 гг. В 1919 г. Николай Раевский был произведен в чин штабс-капитана, а в 1920 г. – в чин капитана. В марте 1920 г. вместе со своей частью капитан Раевский эвакуировался из Новороссийска в Крым, а затем продолжил борьбу против Красной армии в Северной Таврии. Однако выход за пределы Крымского полуострова и успешное развертывание боевых действий белых в степях Таврии оказались недолгими. Русская армия[8] снова была вынуждена отступить в Крым. За все время, что он воевал, он ни разу не был серьезно ранен, но зато дважды тяжело переболел сыпным тифом (что случается крайне редко), а потом, в ещё более тяжелой форме, два раза возвратным. В бреду и в жару метался капитан Раевский на полке санитарного поезда, в палатах военных госпиталей. Были минуты, когда думал, что не выживет, в последний раз, с большим трудом, выкарабкался в керченском госпитале. Это были, пожалуй, одни из самых тяжелых периодов: *«Через положенные число дней, помню, что это произошло довольно быстро, у меня начался второй приступ, проходивший очень тяжело. Временами, я, по-видимому, терял сознание. Потом приходил в себя и опять забывался в бреду, но один из таких светлых промежутков остался у меня в памяти. Мне показалось, что я слышу пулеметную стрельбу. Откуда она могла быть – бред, вероятно. Нет, оказался не бред. Как я впоследствии узнал, красные войска, перешедшие в наступление, одно время подошли близко. Стрельба слышалась ясно. Совершенно ясно помню, что наш палатный врач – пожилая ассистентка Завадского, вошла в палату и, слушая пулеметную стрельбу, сказала с тревогой: «Господа, что я буду с вами делать?» Офицеры приподняли подушки, вынули разных систем пистолеты. Ассистентка посмотрела на пистолеты и вытерла слезы. Кто-то из офицеров сказал: «Ну, за нас не тревожьтесь, мы сами»*[9].

Каждый раз, выздоровев, еще неокрепший, преодолевая себя, он снова уходил на фронт, продолжал борьбу с красными, совершая со своей батареей ночные рейды по большевистским тылам, а однажды лишь чудом сумел избежать гибели под Геническом… Все последующие события развивались не в пользу Белой армии – силы стали явно не равны, началось последнее отступление белых частей в Крым… В эти последние недели и дни Белого Крыма, в состоянии крайнего истощения, после долгих изматывающих боев и бессонных ночей, Николаю Алексеевичу пришлось с неимоверными усилиями преодолеть пешком долгий изнуряющий путь вдоль Сиваша по Арабатской стрелке, уходя от красных вместе с оставшимися частями белой армии…

Пронзительные строки из повести Раевского «Добровольцы» очень точно передают атмосферу этих тяжелых дней: *«Я не то сплю, не то не сплю. Горло болит еще сильнее, чем ночью. Мысли какие-то путаные, но их много сейчас… В первый раз в эти дни спокойно полежу… До Новороссийска мы, во всяком случае, доедем. Где-то там, далеко, рушатся царства и рождаются новые, кто-то кого-то свергает, с кем-то непременно надо воевать… Все осталось позади. Здесь только эти два больных мальчика, к которым я привязался, как к родным, горячее весеннее солнце да клубы пара, цепляющиеся за придорожные кусты. Кое-где среди них лежит пятнами зернистый серый снег. Дни его сочтены. Весна… Солнце пьянит и слепит. От горного леса тянет прелыми листьями. Мелькают поляны, поросшие белыми цветами… Наверное – подснежники. И почки на кустах набухли, и перелетают поминутно через поезд какие-то серые птицы… Только все это теперь не для нас… Нам война, тиф и смерть… Один немного раньше, другой немного позже. Все равно, в конце концов, мы – обреченные…*

Катится железное колесо и давит нас одного за другим. Оно неумолимо и слепо и никому не остановить его бега и не изменить пути его. Наскочит – раздавит. И ребяток моих не пощадит. Погаснут тогда голубые искристые глаза Коли и желтое худенькое лицо Васи станет восковым… и потом не останется ничего.

Чем они, в конце концов, виноваты, бедные?.. Разве только тем, что родились не вовремя… как раз тогда, когда колесо сорвалось и покатилось»[10].

И вот, наконец, последний горький аккорд – Крымская эвакуация: погрузка на суда в Севастополе, прощальный взгляд в сторону русского берега, переход в Константинополь…

Впоследствии Раевский так вспоминал об этих днях: *«Ноябрь 1920 года… Чёрное море… Берегов не видно, но, куда ни посмотреть, всюду дымят корабли. Океанские трехпалубные гиганты, речные колесные пароходы, впервые в своей жизни вышедшие в море, тонкие серые миноносцы, быстро режущие голубую воду, медленно плывущие на буксире баржи. Палубы кораблей залиты зеленой волной защитных шинелей. Медленно колышутся на мачтах трёхцветные флаги, а на военных кораблях виден Андреевский флаг. Русская армия оставила последний клочок Русской земли и идет к неведомым берегам»*[11].

В начале ноября 1920 г. в составе Русской армии генерала Врангеля Николай Алексеевич был эвакуирован в Турцию и до 1 сентября 1921 г. находился в лагере армии у небольшого греческого городка Галлиполи – в знаменитом «Голом Поле», как называли его сами белогвардейцы. Галлиполийский период в

истории Белого движения стал уникальным примером стойкости, мужества, предельного терпения в надежде воскресения России и собственного воскресения.

«Сыро и холодно, – писал в 1920-е гг. капитан Раевский об этих днях. – Косой мелкий дождь стучит по крышам брезентовых палаток. В мелкой грязи тонут разбитые, истрепанные в походах сапоги. Обогреться негде, пищи мало, но офицеры и солдаты не ропщут. Они могли бы уйти на все четыре стороны – в богатый, залитый огнями Константинополь, уехать на Балканы, пробраться в Париж. Но они никуда не ушли. Остались у родных знамён, ещё крепче сплотились вокруг своих вождей и ждут, когда позовёт Родина»[12].

Несмотря на полуголодное существование и острую нужду в самом необходимом, культурная и духовная жизнь в Галлиполи били ключом. В лагере действовало несколько походных церквей, расписанных и украшенных самими бойцами, они же и пели во время богослужений. Проводились строевые и спортивные занятия, продолжалось обучение юнкеров и кадетов, не успевших закончить образования на родной земле, также была организована школа для солдат, изъявивших желание повысить свой образовательный уровень. Капитан Раевский в такой импровизированной школе Дроздовцев преподавал французский язык. На территории лагеря действовали театр, «Устная газета», главным инициатором появления которой также был Николай Алексеевич, он же готовил материалы для её «сеансов». Впоследствии наблюдения и переживания галлиполийской эпопеи легли в основу одного из наиболее известных произведений Раевского – «Дневник галлиполийца».

«… элементы, не желавшие оставаться в армии, ушли, а оставшиеся подчиняются постепенному укреплению дисциплины и из скопища, хотя и дисциплинированного, людей, у которых центробежные тенденции были очень сильны, эта двадцатидвухтысячная масса обращается в стройное объединение»[13].

Пока изгнанная с родной земли, но непобеждённая Белая армия стойко несла тяготы «галлиполийского сидения», её Главнокомандующий генерал П. Н. Врангель вёл переговоры с руководством балканских славянских государств о возможности переезда туда белогвардейцев. Переговоры эти увенчались успехом, и в сентябре 1921 года капитан Раевский в составе своей части прибыл в Болгарию: *«Итак, первого или второго сентября 1921 года транспорт «Решид-паша» доставил все, что осталось от Дроздовской нашей дивизии – ее основной кадр*[14] *– в болгарский порт Варна»*[15].

Его батарея была расквартирована в городе Орхание (Северная Болгария). Таким образом, в общей сложности в рядах Белой армии Николай Алексеевич оставался ещё почти четыре года после Крымской эвакуации – во время ее «галлиполийского сидения» и «болгарского стояния».

Годы в Орхание были отмечены постепенно портящимися отношениями с местными жителями (первоначально благодушно воспринимавших русских воинов) и неуклонным ухудшением материального положения. Надежды на возвращение в Россию и на возобновление борьбы с большевиками неуклонно таяли, истощались и денежные резервы русского командования для содержания армии. Спустя два года жизни в Болгарии многие белогвардейцы, и в их числе капитан Раевский, практически голодали. Кому позволяли возраст и здоровье, нанимались на чёрную работу к местным крестьянам – обрабатывать землю, изготавливать кирпич и т. д. или отправлялись на рудники в качестве шахтёров. Однако Николай Алексеевич не чувствовал в себе силы пойти по этому пути – не позволяло здоровье.

Чтобы спастись от полуголодного существования, грозившего к тому же туберкулёзом, Раевский поступил на организованные в Софии американцами землемерные курсы. Денежное содержание студентам курсов было положено достаточно приличное. Кроме этого, Николаю Алексеевичу еще удалось заняться репетиторством, благодаря чему он смог немного улучшить своё материальное положение и восстановить пошатнувшееся здоровье. Хотя диплом землемера обещал впереди скромный, зато твердый достаток, Раевский все же мечтает о продолжении прерванной в студенческие годы научной работы:

«Я чувствовал, что во мне происходит некое внутреннее перерождение. По-прежнему я мысленно оставался потенциальным военным, готовым в случае необходимости взять в руки одну из винтовок, хранившихся в комнате коменданта [дроздовского. – *Ред.*] *общежития генерала Никольского. Это ощущение оставалось неизменным, но в то же время я все больше и больше чувствовал, что во мне воскресает былой студент. Во-первых, я записался в Союз студентов Галлиполийцев. Таковой существовал в Софии, и командование наше во главе с генералом Врангелем относилось к нему весьма сочувственно. Генерал Врангель, как я не раз об этом упоминал, вообще всячески содействовал продолжению образования своих соратников. В дальнейшем я расскажу о том, что первую сотню бывших студентов, офицеров и вольноопределяющихся первого корпуса, отправлявшихся учиться в Прагу, генерал Врангель проводил самолично и пожелал им всяческих успехов»*[16].

Помощь русской эмиграции – так называемая «Русская

акция» – была организована в Чехословакии чрезвычайно широко. Основной составляющей частью этой акции было принятие на полное государственное иждивение пяти тысяч русских и украинских студентов.

Николай Алексеевич с радостью воспользовался возможностью продолжить прерванное войной обучение. Он с легким сердцем покидает не слишком-то гостеприимную Болгарию и устремляется навстречу новым возможностям. В 1924 году он переезжает в Прагу: *«…Распрощался я и с генералом Туркулом. Он похвалил меня за решение ехать в Прагу, но только сказал:*

– Знаете, Раевский, я рассчитывал, что вы поступите на юридический факультет, а что вам делать на этом естественном? Не переменить решения?

– Нет, Ваше Превосходительство, нельзя.

– Ну, будьте счастливы.

И мы простились, как видно, навсегда. Туркул года на два меня моложе, человек здоровый, может он по-прежнему торгует бензином где-то во Франции, но увидеться мы, во всяком случае, не сможем»[17].

В Праге Николай Раевский снова становится студентом. Он поступает на естественный факультет Пражского Карлова Университета: *«…Итак, я снова, если не с юношеским увлечением – юность уже прошла, то, быть может, с более глубоким интересом и серьезным отношением к делу занялся знакомой мне наукой, а технические навыки, приобретенные в великолепных лабораториях Петербургского-Петроградского университета, позволили мне в Праге приняться за разработку одной очень специальной и сложной биологической проблемы. Вскоре я снова почувствовал себя исследователем-биологом и работал с былым увлечением. Казалось, что на этот раз мой дальнейший путь определился вполне окончательно…»*[18]

В Карловом Университете обучалось в ту пору очень много русских студентов. В коридорах, лекционных залах, лабораториях, библиотеке – всюду была слышна русская речь *«в большой лаборатории больше половины мест было занято русскими докторантами и мне рассказывали, что известный зоолог профессор Мразек показывал однажды помещение своей кафедры кому-то из приехавших ученых иностранцев и, отворив двери большой лаборатории, он им заявил:*

– А здесь у меня армия Врангеля»[19].

Бывших галлиполийцев в эмиграции объединяло своеобразное «братство», именовавшее себя на первых порах землячеством. «Галлиполийское землячество» было организацией

неофициальной, но, по существу, в студенческих кругах весьма влиятельной. Члены организации были очень тесно связаны между собой внутренней, конечно добровольной, дисциплиной. После официального юридического оформления землячество было переименовано в «Галлиполийский союз». Нужно признать, что союз этот для Раевского в действительности был чем-то гораздо более важным, нежели просто объединение бывших боевых офицеров, бывших вольноопределяющихся армии генерала Врангеля, бывших российских подданных… Слово «бывшие» никак не согласовывалось с теми помыслами, устремлениями и чаяниями, которые владели тогда почти целиком умами студентов, с которыми Раевский был наиболее тесно связан. Проводилась колоссальная работа, направленная на то, чтобы сохранить боевой дух, поддержать белую идею и распространить ее впоследствии на младшее поколение русской эмиграции. Николай Алексеевич становится активным членом организации. Его уважают в среде студентов и преподавателей, с ним советуются, к его мнению прислушиваются, поэтому неудивительно, что Раевского избирают в правление Галлиполийского союза, и он с большим подъемом и вдохновением погружается в его деятельность: *«…Дело в том, что в душе я, прежде всего, оставался белым офицером, участником кончившегося крахом белого движения. Но о том, что это был действительно крах, конец, а не временный перерыв в борьбе, я, как и большинство моих товарищей, догадался только много лет спустя. ‹…› Армия наша перешла на трудовое положение. По существу-то своему она была расформирована, рассредоточена, но для душевного своего успокоения мы считали, что это состояние временное. И вот, благодаря таким настроениям, я должен сказать, что в первые пражские годы, моим главным стимулом была именно душевная и материальная подготовка к воскрешению белого движения…»*[20]

Уже упоминалось, что Союз галлиполийцев имел значительное влияние на студенческую жизнь внутри университета. Но было бы несправедливо не отметить, что роль союза и его политическое влияние, были гораздо шире и значительней. О том, какой политический вес имело галлиполийское объединение в Чехословакии (и не только). *«…а сейчас упомяну только о том, что в 1937 году, когда советское правительство было уже признано чехословацким не только де факто, но и де юре, и в городе находилось не официозное, а вполне официальное дипломатическое представительство Советского Союза, на галлиполийский бал явились три министра чехословацкого правительства, генерал-инспектор армии –*

потенциальный главнокомандующий в случае, если бы разразилась война, во главе большой группы офицеров Генерального штаба в парадной форме и, наконец, что, пожалуй, наиболее знаменательно, ответственные дипломатические представители 16 великих и малых держав…»[21]

При всей загруженности деятельностью в Галлиполийском союзе Раевскому удавалось успешно совмещать ее с работой частного преподавателя русского и французского языков с работой в Русском Заграничном Историческом архиве в Праге. Занимаясь же на биологическом факультете Карлова университета, Николай Алексеевич почти ежедневно посещает курсы литературной секции Французского института имени Эрнеста Дени, куда поступил еще в 1924 году.

Первоначально в институте Николай Алексеевич предполагал лишь углубить свое знание французского языка, дабы иметь возможность впоследствии устроиться на работу в одну из французских африканских колоний в качестве энтомолога. Но позже он признается, что учеба в институте сыграла в его жизни гораздо более значимую роль: *«Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что именно там, в аудиториях литературной секции, начались мои первые писательские шаги, неуклонно уводившие меня в сторону от полюбившейся мне с детства биологической науки…»*[22]

Талант будущего писателя по достоинству оценил преподаватель французского языка профессор Жан Паскье. О нем Николай Алексеевич не раз вспоминал с особой теплотой и искренней благодарностью. После окончания курсов Раевский получил наивысшую оценку за свое конкурсное экзаменационное сочинение по французскому классицизму и был премирован поездкой в Париж.

В Париже Николай Алексеевич пробыл всего месяц, но за этот короткий отрезок времени он успевает сделать ряд важных деловых визитов, один из которых был связан с поручением от председателя общества галлиполийцев Павла Михайловича Трофимова: *«За несколько минут до начала посадки на перрон пришел председатель Союза Галлиполийцев Павел Михайлович Трофимов. Он, как это было условлено заранее, передал мне письмо, которое я должен был лично вручить командиру корпуса, генералу Кутепову. Павел Михайлович предупредил меня, что в случае опасности я должен постараться уничтожить это послание…»*[23]

О свидании было договорено заранее: *«Генерал Кутепов сам отворил дверь и принял меня в своей очень скромной квартире. Я вытянулся, как полагалось военному, и отрапортовал:*

– Ваше Высокопревосходительство, Дроздовского

артиллерийского дивизиона капитан Раевский представляется по случаю прибытия в город Париж.

Сейчас, пожалуй, и этот рапорт, отчетливо произнесенный на седьмой год нашего пребывания за границей, представляется смешноватым. Но у нас, галлиполийцев, так полагалось. В свое время я записал этот разговор с командиром корпуса, но запись моя не сохранилась. Никаких важных вопросов мы не обсуждали, а просто я по приказанию генерала, сидя с ним за столом, рассказал довольно подробно о житье-бытье пражских галлиполийцев и передал Кутепову их почтительный привет. В заключение Александр Павлович, пожимая мне руку, сказал:

– Теперь я всецело занят Россией, только Россией»[24].

В предместьях Парижа Раевский навещает своего бывшего командира Александра Якубова, в то время возглавлявшего охрану великого князя Николая Николаевича, жившего со своей супругой в скромном замке Шуаньи. После встречи Раевский напишет: *«Поездка в Шуаньи была для меня поучительной. Я воочию убедился в том, что там никак не центр борьбы с русской советской революцией. Просто живет большой человек, когда-то блестяще руководивший великой галицейской битвой, которая, по существу, вывела сразу Австро-Венгрию из строя, большой человек, который достойно доживает свой век. Теперь он – историческое воспоминание и ничего больше…»*[25]

Но все же одной из главных задач, которую поставил себе Раевский, отправляясь во Францию, была возможность пополнить свои материалы для диссертации. Несмотря на обширность фондов библиотек Праги, в них все же отсутствовали некоторые нужные научные журналы, в особенности итальянские (к тому времени Николай Алексеевич уже вполне прилично выучил итальянский язык). Он разыскал все необходимые ему материалы в Парижской Национальной библиотеке и в библиотеке Пастеровского института.

«Перед самым отъездом я последний раз побывал в русском Париже, – вспоминает Раевский прощание с друзьями – Меня пригласили поужинать наши бывшие офицеры дроздовцы. Председательствовал за столом милый наш полковник Шеин. Вспоминаю о нем с очень теплым чувством. Также тепло вспоминаю и тех, кто в этот вечер пришел пожелать мне счастливого пути – Александра Георгиевича Ягубова, поручика Гончарова, Пижоля, моего друга князя Володю Волконского и всех других. Мы чокались не бокалами шампанского, а рюмками с русской водкой. ‹…› А на следующий день, когда таксист француз вез меня по улицам великого города на Восточный вокзал, передо мной в последний раз промелькнули и Триумфальная арка, и

площадь Согласия, и Лувр – все те места, которые я никогда не забуду. Казалось, не было у меня никаких оснований думать, что я никогда больше не увижу Парижа, ведь я молод, скоро кончу Пражский университет, передо мной как будто неплохое будущее и отчего мне снова не приехать на берег Сены? А я думал с грустью: «Все, последний раз, Парижа мне больше не видать». Думал и, к сожалению, оказался прав…»[26]

После Парижа пражская жизнь потекла своим чередом… Николай Алексеевич давал уроки, слушал лекции, активно работал над диссертацией. Общие ее контуры наметились уже достаточно ясно и казалось, что судьба молодого ученого после защиты была уже вполне определена… Но тут в его жизни произошло одно очень важное событие, которое в корне изменило весь дальнейший ее ход. В октябре 1928 года, по воле случая, Раевский знакомится с двумя только что вышедшими томами нового издания писем Пушкина под редакцией Модозолевского, и происходит прозрение – он понимает, что истинное его призвание вовсе не биология, которой он увлекался с детства, а литература, и главным образом изучение жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина.

«Возвратившись домой и поужинав, я зажег настольную лампу и принялся за чтение. И… читал до рассвета… Случай сам по себе, конечно, не столь примечателен. Но кто из нас не зачитывался хоть раз в своей жизни до рассвета. ‹…› Отправившись утром в университет, я уловил себя на том, что мои мысли всецело захвачены Пушкиным. Не его стихами, не музыкой его стихов, а впервые – им самим, Пушкиным-человеком, который творил эти прекрасные стихи. Жил. Любил. Страдал. Имел друзей. На протяжении всей сознательной жизни имел свободу. Чтил ее рыцарей, чуть ли не до конца жизни рвался на войну во имя интересов отчизны ‹…› Человек, рожденный не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, а для вдохновения, для звуков сладких и молитв – и вдруг эти неоднократные попытки стать военным. Пушкин, весь полный противоречий, а точнее само противоречие, но уже не мрамор, не бронзовая фигура, а живой человек, не до конца понятный, полный загадок, стал для меня таким близким, таким родным»[27].

Первым порывом было забросить все, даже диссертацию, и всецело посвятить себя новому увлечению. Однако диссертацию, после некоторых колебаний, Николай Алексеевич все же благополучно закончил (она, кстати, была признана выдающейся). Успешно сдал довольно сложные докторские экзамены и получил степень доктора естественных наук Карлова университета. Но затем долгое время к биологии не возвращался

и вскоре научную работу в этой отрасли знаний уже окончательно оставил. Именно тогда, в октябре двадцать восьмого года, будущий писатель Раевский, по его собственному выражению, «остро заболел» Пушкиным и от этого заболевания не излечился до конца своей жизни…

«Наконец, 25 января 1930 года в Историческом зале Карлова университета, где некогда ораторствовал его ректор, впоследствии сожженный как еретик Ян Гус, в торжественной церемонии профессор промотор, приведя меня к академической присяге, вручил мне диплом доктора естественных наук с предоставлением надлежащих прав и преимуществ. Мне было сделано почетное и совсем необычное для студенческой диссертации предложение напечатать ее в трудах Чехословацкой академии наук и искусств.

Я не имел мужества отказаться, и в то же время у меня не хватило решимости снова засесть за микроскоп и доработать свой труд, как это было предложено профессорами. Примерно через год я убедился в том, что перестал быть биологом, и отказался от занимаемого мною места в лаборатории. Теперь я был душевно свободен и сказал себе: «Довольно зоологии, да здравствует Пушкин!..»[28]

Последующие события в жизни Николая Алексеевича, вплоть до ареста и вынужденного отъезда на родину, были так или иначе связаны уже с новой его страстью. Писатель погружается в исследовательскую работу, с необыкновенным подъемом исследуя миры Пушкинианы. Его всерьез увлекает тема «Пушкин и война». Проведя в богатейшей пражской библиотеке не один день, основательно и кропотливо изучив и обработав все доступные материалы, к началу 1937 года Раевский пишет серьезную работу, на основании которой он решается сделать двухчасовой доклад перед немногочисленной, но весьма квалифицированной аудиторией. Доклад был принят слушателями более чем благосклонно и вызвал весьма оживленный интерес. Раевского начинают приглашать в разные культурные общества, выступление пришлось повторить несколько раз. Николай Алексеевич с радостью понимает, что ему вполне удается заинтересовать слушателей и это вдохновляет его на дальнейшее творческое развитие темы.

Позже тематику пушкиноведческих исследований Николай Алексеевич значительно расширил, начав поиски частных архивов А. Н. Гончаровой-Фризенгоф и Д. Ф. Фикельмон. В результате ему удалось получить из закрытого частного архива копию неизвестного письма Пушкина и он стал первым и единственным из исследователей, кто побывал в замке Бродяны в

то счастливое время, когда там еще сохранялась историческая обстановка и документальные свидетельства пушкинских времен. Позже, во время войны, замок был разграблен…

Об истории его изысканий в довоенной Чехословакии гораздо лучше расскажут его книги, вышедшие значительно позже, уже в Советском Союзе. В книге «Портреты заговорили» Николай Алексеевич повествует не только о Пушкине и его окружении, но и в увлекательнейшей форме рассказывает о своих приключениях, связанных с поисками материалов к этой книге. Хочется все же познакомить читателя с одним эпизодом, который не вошел в книгу, но который Николай Алексеевич описал в своих мемуарах:

«Ни в одной из своих публикаций я, однако, не коснулся забавного инцидента, происшедшего во время этого моего памятного визита. Представьте себе обстановку: вечер в уютной малой гостиной замка, освещенной керосиновыми лампами (электричества в то время в Бродянах еще не было). В старинных креслах, на которых когда-то сиживала вдова поэта, навестившая сестру, и сама Александра Николаевна, в этих креслах сидим и беседуем мы: теща владельца замка графиня Эрнфельд, вдова германского генерала, командовавшего кавалергардами Вильгельма II, правнук Александры Николаевны граф Георг Вельцбург, которому принадлежал теперь замок, его молодая тогда супруга и я. Беседуем по-французски. ‹…› Весьма немолодая уже, но бодрая на вид, очень представительная дама графиня Эрнфельд, наводит на меня свой золотой лорнет и говорит:

– Так у них была дуэль?

– Да, мадам.

– Это ужасно! А скажите, кто кого убил, Пушкин Дантеса или Дантес Пушкина?

Граф Вельцбург краснеет и растерянно произносит только одно слово:

– Матап!

Мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не рассмеяться, но я спокойно объясняю графине, что к несчастью на дуэли погиб не Дантес, а Пушкин. Перевожу после этого разговор на другую тему, чтобы снова не пришлось делать над собой усилие»[29].

К концу двадцатых годов жизнь Раевского складывается вполне благополучно. Он по-прежнему занимается Пушкиным для души. Зарабатывает вполне прилично благодаря работе в государственном Гигиеническом институте Чехословакии, для которого делает сложные научные переводы с французского. Ему также поступает заманчивое приглашение работать помощником библиотекаря во Французском институте, и он его с

удовольствием принимает, к тому же частные уроки французского и русского приносят Раевскому неплохой доход. С улучшением материального положения Николай Алексеевич уже может оказывать значительную помощь семье – он шлет большие посылки с продуктами и вещами в Советский Союз (тогда это еще было возможно, чуть позже связь практически прекращается, так как это становится очень опасным для родных). У него даже появляется возможность принарядиться – он заказывает очень приличный дорогой фрак и все полагающиеся к нему аксессуары – фрак ему был необходим, поскольку он испытывал чрезвычайную любовь к танцам (как признается в своих дневниках Раевский) и старался не пропускать ни одного бала, которые устраивали русские заграничные общества. В то время Николай Алексеевич был, по существу, уже не молод, и, поскольку молодость пришлась на тяжелые годы войны и эмиграции, когда не приходилось думать о развлечениях, теперь он наверстывал упущенное и немало времени посвящал тому, что можно назвать светской жизнью:

«При всяком удобном случае охотно танцевал и на больших русских балах, и на маленьких домашних собраниях, и на вечерах, хотя и не домашних, но все же немноголюдных. Пройдя хорошую пражскую школу, я танцевал недурно. Во всяком случае, мои юные дамы, среди которых были и ученицы балетного училища и начинающие балерины, русские и чешки, принятые в труппу Народного театра, эти юные дамы на своего партнера не жаловались. Однажды я даже отважился танцевать танго с моей приятельницей, знаменитой заграничной балериной Елизаветой Николаевной Никольской»[30].

Невозможно не коснуться одной из самых главных тем писательского творчества Раевского, ведь к тому времени, как Николай Алексеевич увлекся пушкинистикой, он имел уже большой писательский опыт: *«Ещё во время похода на Москву я решил, что если останусь жив, напишу книгу об учащихся-добровольцах. В Крыму, в перерывах между боями, я начал заносить свои впечатления на бумагу. Образовалась уже порядочная пачка листов, но во время исхода из Севастополя она пропала вместе со всеми моими вещами. В Галлиполи не было времени писать воспоминания. Я приступил к ним в феврале 1922 г. в Орхании (Болгария), где стоял в то время Дроздовский артиллерийский дивизион, и окончил обширную рукопись (1059 страниц) 24 июня 1923 г., в том же городе»*.[31]

И вот уже в Праге, едва сдав экзамены на докторскую степень и защитив диссертацию, Раевский, как он сам признается, «*вновь почувствовал неудержимое желание писать. Писать не*

воспоминания, а что-то художественное или полухудожественное»[32]. И уже в 1924 году в издававшемся в Праге журнале «Студенческие годы», он печатает отрывок из задуманной им новой книги под названием «Новороссийск». В нем Раевский описал катастрофу добровольческой армии четырнадцатого марта двадцатого года, которую пережил сам… Отрывок, напечатанный в журнале, имел несомненный успех и был отмечен в целом ряде русских газет, выходивших в разных странах Европы и в Соединенных Штатах. Окрыленный хотя и небольшим, но все же успехом, Раевский продолжил работать над повестью, которую назвал: «Добровольцы. Повесть крымских дней». Закончив книгу к концу 1931 года, он попытался ее издать, но безуспешно. Никто тогда не знал Николая Раевского как писателя и издатели, возможно, не хотели рисковать. Но, скорее, дело было в другом. Сам Раевский, размышляя на эту тему пишет: «*В самом деле, я чувствовал, что для красных моя повесть слишком белая, а вот белые друзья мои, которым я давал ее прочесть, находили ее, правда, не красной, но слишком, мол, объективной и потому красноватой, во всяком случае не снежно белой*»[33]. Скорее всего, именно эта «красноватость» и была причиной отказов издать повесть. Очень жаль. В. В. Набоков (с писателем Раевский был очень близко знаком, их объединяла одна общая страсть – бабочки), которому Раевский отправил рукопись, весьма высоко оценил повесть, но у него была своя версия на счет того, почему ее не печатали: *«Владимир Владимирович ответил мне очень подробным и лестным письмом, в котором он одобрил и содержание присланных ему отрывков, и мой стиль, но впоследствии в другом письме он мне сказал примерно так:*

«– Николай Алексеевич, вы не огорчайтесь тем, что вас не печатают. Вас не печатают не потому, что вы пишите плохо, а как раз потому, что пишите хорошо и можете, чего доброго, стать кому-то конкурентом»[34].

В начале тридцатых годов мировой экономический кризис весьма негативно сказывается и на материальном положении Раевского – работа в Институте Гигиены резко сокращается, одно за другим закрываются научные организации, уходят многие ученики. Появляются серьезные долги и чтобы рассчитаться с кредиторами, он принимает трудное для себя решение – продать рукописи, в числе которых были «Дневник галлиполийца», а также повести «1918 год» и «Добровольцы», которые в Чехословакии так и не были напечатаны, в Русский зарубежный архив[35].

Конец тридцатых принес с собой еще более тяжелую

ситуацию. В 1939 году Чехословакия временно перестала существовать как государство. Волею судеб Раевский живет теперь в протекторате Богемия и Моравия, в котором полновластными хозяевами стали немцы, оккупировавшие эти земли, остававшиеся тогда в составе Чехии. После расчленения страны Словакия стала практически марионеточным государством. Этому предшествовало событие, вошедшее в историю как «Мюнхенское соглашение», которое и послужило первым толчком к катастрофическому разделу Чехословакии и оккупации ее Германией.

Вот как Николай Алексеевич описывает в своем пражском дневнике всего несколько дней осени 1938 года. Всего несколько скупых абзацев, но как пронзительно и точно передает он настроение, царившее в стране:

«20/IX. По-моему, положение безнадежно. Правительство отвергло лондонский «план». Как гражданин не могу не сочувствовать мужеству чехов, как обыватель, конечно, горюю. Если будет война, оставленная всеми Чехословакия погибнет без остатка. Даже если уцелею, придётся все начинать сначала. Тоска зверская, невыносимая. Понимаю Марью Степановну с её мыслями о флаконе[36]*. От этой самой тоски пошёл слушать «Женитьбу Фигаро». Не помогло. Чудная музыка только временами доходила до сознания. Теперь почти конец, аплодисменты, визави. Совсем почти как всегда. Но в антрактах лица у всех серьёзные и, чувствуется, пришли тоже разгонять тоску. У нас в «Огоньке» считают, что у чехов при отчаянной решимости есть процентов 10 вероятности все-таки вызвать европейскую войну. Даже самые большие ругатели присмирели и в своей среде. Слишком большая трагедия. Вчера Осусский вышел из кабинета в слезах и сказал журналистам:*

– Предают целый народ, даже не спросив его мнения. Если тон немецких радио соответствует положению вещей, нападение Германии, поддержанной Польшей и Венгрией, неизбежно. Не вижу выхода, не вижу. Во всяком случае самого страшного – прихода сюда советских войск – не будет. Выступление Венгрии совершенно исключает эту возможность.

21/IX. Войны не будет. Бомб не будет. Жизнь понемножку покатится своим чередом. Капитуляция… Основное чувство – стыд, стыд, жуткий стыд… Чувствуешь себя без вины виноватым перед чехами. Бедные. Многие женщины плакали, когда спикер срывающимся голосом читал официальное сообщение. Да, говорят, плакали и некоторые офицеры на улице. Двадцатилетие республики. Никогда не забуду – теплый тихий вечер, слабо освещённые Вацлавские ночи; (*рекламы потушены*). *Стою в толпе*

около «Каруны». Штепанок читает воззвание начальника пропаганды, великолепно написанное, трагическое… Только сравнение Чехословакии с Иисусом Христом безвкусно. Тихо, где-то звонят колокола. Передо мной плачет женщина, кажется проститутка… Независимость чешского государства фактически кончается. О манифестациях напишу завтра. Гнусно, гнусно… И нет даже подсознательной радости от того, что можно, кажется, выкинуть маску и ликвидировать ненужные больше «железные запасы»[37]*. Жалкие все, жалкие…»*[38]

В воздухе все сильнее и сильнее пахло войной. Многочисленные боевые эшелоны тянулись в Польшу. Некоторые из них проходили и через Прагу. Обстановка в стране была крайне напряженная, в русских эмигрантских кругах началось брожение. Главный вопрос: как быть, когда начнется большая война? В том, что она начнется, уже никто практически не сомневался. Русское эмигрантское общество разделилось на несколько противоборствующих групп. Образовалась ничтожно малая, но очень опасная группа «русских нацистов». Эти будут всячески помогать немцам. С другой стороны, ходили слухи о том, что некоторые группировки собираются активно помогать советской армии. Раевский твердо стоит на позиции строжайшего нейтралитета: *«Наша позиция ясная. В случае войны и до самого ее конца мы прекращаем всякую идеологическую борьбу против советской власти и ни в коем случае, и ни в какой форме не будем содействовать немцам. В то же время мы, как противники советского режима, не можем оказывать помощь советской власти, но если она будет защищать нашу родину, то бороться против нее мы не будем»*[39]. Ждать начала неизбежных грозных событий пришлось недолго. Двадцать третьего августа был заключен германо-советский пакт о ненападении, а первого сентября германские армии уже начали наступление на Польшу. Мировая война началась.

В первые же дни нападения гитлеровской Германии на СССР все советские граждане были интернированы из Чехословакии. Из пяти примерно тысяч русских эмигрантов, живших в Праге по так называемым Нансеновским паспортам, сорок шесть человек, считавшихся небезопасными для Германии, в том числе и Раевский, были арестованы.

«Мы спустились в довольно большое помещение, в котором уже было несколько десятков людей, стоявших смирно. Среди них я заметил нескольких знакомых русских. Ко мне подошел молодой офицер эсэсовец, какого звания – не помню, да и в эсэсовских званиях я еще не разбирался. Он скомандовал мне вывернуть карманы, быстро прошелся рукой по пиджаку, вынул неосторожно

захваченный мною хорошо очиненный карандаш и сказал что-то такое, чего я не разобрал. Я продолжал стоять навытяжку, держа карандаш в руке. Вид у меня был, вероятно, довольно глупый. Офицер, не меняя выражения лица, сухим автоматическим движением дал мне пощечину. Это была первая пощечина в моей жизни. Странное дело, я не почувствовал себя оскорбленным. Офицер действовал как автомат, а на автоматы ведь не обижаются. Потом я услышал от русских свидетелей этой сцены, что я держал себя с достоинством и совсем будто бы не волновался. Пусть так, не волновался, но все-таки пощечины этой не забыл ‹…› Грузовик тронулся, я понял, что нас повезут в тюрьму. Сопровождавший нас молодой эсэсовец-офицер, посмотрев внимательно на меня, ткнул пальцем в воздух перед собой и спокойно грозным голосом спросил:

– Jude? (*Еврей?*)

Я, все время стараясь оставаться спокойным, ответил четко:

– Nein. Ehemaliger Zarenoffizier. (*Нет, бывший царский офицер*) *‹…›*

Не знаю совершенно, какое, собственно, мне предъявят обвинение. О дисциплине, существовавшей в немецких местах заключения, долго говорить не стоит. Это общее место воспоминаний всех, побывавших в оных местах. Порядки были рассчитаны на то, чтобы заключенный ни на минуту не забывал о том, что он заключенный. Если гремела дверь и входил кто-то из начальства, маленького или большого, вскакивать надо было моментально и стоять смирно, вытянув руки по швам. Если надо было передвигаться по коридору, то мы не шли, а обязательно бежали мелкой неутомительной рысью, но обязательно рысью. А стоять в любой канцелярии и вообще в любом помещении, куда тебя привели, надо было обязательно не только навытяжку, но прикасаясь кончиком носа к стене. Обязательно прикасаясь, и только кончиком, иначе – по морде. Утром убирать постели строго по инструкции, иначе – по морде. И все так: серия регламентированных движений по любому ‹…› когда мы мелкой рысцой пробегаем по коридору мимо одной из камер, наш староста коммунист, осторожно озираясь, торопливо вытаскивает из какой-то щели крохотную записку, свернутую в трубочку. На ней грозные новости: немцы ведут блицкриг – молниеносную войну, и ведут ее удачно. Один за другим попадают в их руки наши русские города. Был у нас в течение нескольких дней и другой источник информации, источник совсем необычный. Недалеко от нашей тюрьмы высокая башня с большими часами, одна из тех многочисленных башен, в честь которых Прагу называют, между прочим, и стобашенной. На верхушке башни крытая галерея и там

в течение нескольких дней появлялась все одна и та же молодая женщина. Мы видели ее из окна камеры совершенно ясно. Женщина опиралась об перила, делала правой рукой приветственный знак, а потом начинала медленно и четко выписывать в воздухе чешские буквы. Это были города, занятые немцами. Помню, женщина ясно начертила на воздухе слово «Минск». Староста горестно покачал головой: это ведь далеко от границы – Минск. Да, неблизко. Но однажды, к нашему огорчению, в то время, когда молодая женщина передавала с башни телеинформацию, за ее спиной появилось двое эсэсовцев. Женщину увели, и мы, конечно, больше ее не видели. Каким-то путем наш староста коммунист узнал, что эта молодая женщина – еврейка и она передавала с башни новости своему отцу, заключенному в одной из камер нашей тюрьмы…‹…› Обманывать себя не хочу: мне прежде всего очень хочется жить дальше. Если бы я был верующим, вероятно, шептал бы про себя молитвы, но я прочно уверен в том, что это ни к чему, совсем ни к чему. Подумал о маме. Жива она или давно уже нет ее на свете, моей мамы? Подумал напряженно и вдруг ощутил ясно: жива мама, жива, и сейчас думает обо мне, и вот странное ощущение – мне показалось, что по моему бритому затылку прошлась чья-то ласковая рука. Нет, не чья-то – ее рука! И мне стало спокойно…»[40]

Продержав Николая Алексеевича два с половиной месяца в тюрьме, в гестапо, очевидно, решили, что этот русский не столь уж опасен. Его выпускают на свободу, взяв подписку о невыезде, К счастью, в гестапо не знали о статье, написанной Николаем Алексеевичем в 1938 году для одного французского журнала, где он весьма нелестно и жестко отзывается о странах, участвовавших в предательстве Чехословакии, которую он справедливо считал своей второй родиной и горячо любил. Ту статью не успели напечатать, иначе писателя Раевского из гестапо, скорее всего, не выпустили бы, а возможно, и расстреляли.

Надо было жить дальше в прочно оккупированной германцами стране. Начались нудные, тоскливые, серые германские будни. Работы практически почти не осталось. Французский институт закрылся, положение спасало лишь то, что предусмотрительный мсье Фишель, директор института, видимо, заранее заключил соглашение с одним чехом, который с начала войны организовал в помещении будто бы бывшего института частную школу французского языка. Раевский по-прежнему оставался помощником библиотекаря теперь уже этой частной школы.

В первые месяцы сорокового года Николай Алексеевич был занят почти исключительно своими маленькими личными

делами. Связь с домом давно и безнадежно порвалась, не осталось в Праге и по-настоящему близких людей. Почти все друзья покинули Чехословакию – кто уехал в Лондон, кто во Францию. Судьба как будто вновь решает испытать Николая Алексеевича, пережившего Первую мировую войну, две революции, кровавую Гражданскую и еще многое-многое другое, на прочность. Но, как ни странно, именно в это невозможно тяжелое для него время она вдруг делает необычный подарок – посылает ему одно из самых сильных душевных потрясений… Она дарит ему, уже почти пожилому человеку, любовь… Любовь бескорыстную, жертвенную… Многое в этой любви было от отеческой заботы – юная поэтесса Оля Крейчева была младше на 29 лет. Необыкновенно талантливая, с ломким, порывистым характером и большими страстями, слишком большими для 17 лет – она пленила Раевского живым и впечатлительным умом.

Первая их встреча произошла, когда Николай Алексеевич был приглашен в молодежный лагерь «Русских витязей», где его попросили прочесть ребятам-гимназистам небольшой литературный доклад. Оля, красивая и стройная девочка-девушка, была среди слушателей. Тогда Раевский хоть и видел ее, но не обратил внимания. Настоящее их знакомство состоялось позже. Толчком послужил разговор, состоявшийся в гостях у друзей Николая Алексеевича: *«Николай Алексеевич, вы, кажется, знаете Олю Крейчеву?*

– Да, немного, совсем немного. Раз только ее видел.

– А вы знаете, Крейчева – очень талантливая девочка. Пишет хорошие стихи. Хотите посмотреть?

– Да, пожалуйста. – Вероятно, голос мой прозвучал суховато. Ну, думаю, очередное гимназическое творчество.

Мария Степановна протянула мне тетрадку, где еще трудночитаемым, но уже взрослым, недетским почерком были написаны стихи. ‹…›

Да, мне сразу показалось, что у этой девочки несомненный талант. Я стал перелистывать тетрадку, вчитываться. Оле, оказывается, шестнадцать лет, но говорят, что она уже не ребенок»[41].

Узнав, что милая Олечка была сиротой «без геллера в кармане», Николай Алексеевич уже не мог оставить ее на произвол судьбы. В период знакомства с Николаем Алексеевичем она жила в семье приютивших ее пражских сердобольных знакомых Раевского – Шеттнеров, сын которых, Слава, Олин ровесник и друг, был его учеником.

Много, много было «достоевщины» в Оле и ее юной судьбе. Все это не могло оставить равнодушным такого внимательного к

чужим судьбам человека, как Николай Алексеевич. Он тут же взялся за образование юной поэтессы и стал давать ей уроки французского, посильно помогая ей морально и финансово. В те военные годы, как бы странно это ни казалось, именно заботы об Оле становятся главным содержанием пражской жизни Раевского. Николай Алексеевич приходится стать доверенным лицом юного пылкого сердца – точнее, сразу двух – как оказалось, «дети» – Оля и Слава – были отчаянно влюблены друг в друга, однако родители Славы резко восстали против этого романа. Долгие месяцы и даже годы Николай Алексеевич участвует в семейной драме, принимая на себя роль посредника и советника и не замечает, как в попытках примирить враждующие стороны, сам бесповоротно влюбляется в девушку…

Когда же «дети» наконец поженились (Раевский принял в организации свадьбы самое деятельное участие), Николай Алексеевич продолжил играть значительную роль в их судьбе, – помогал финансово, занимался изданием стихов Оли. «*Я бесконечно благодарен покойной Оле,* – напишет Раевский своей пражской знакомой уже в 1988 году, – *за то, что, заботясь о ней, я сравнительно легко и содержательно провел пять тяжелых военных лет*».

Эта романтическая сторона жизни Раевского записана им самим в пражских дневниках. Возможно, эти дневники будут в скором времени изданы отдельной книжкой.

После оккупации Праги немцами Раевский не прекратил свою работу по Пушкину – он ведет ее теперь по двум направлениям: во-первых, продолжает давно уже начатое исследование личности графини Фикельмон и ее отношений с Пушкиным, одновременно с этим он начинает двухтомное научное исследование под названием «Пушкин в Эрзерумском походе». Приближавшийся конец войны не сулил Николаю Алексеевичу ничего хорошего, и поэтому Раевский, зная, что задуманного труда он не успеет закончить, уложил все свои материалы в два объемистых конверта и передал их на хранение своему приятелю. Впоследствии он узнал, что профессор умер, и этих материалов, к сожалению, разыскать не удалось.

В начале сорок пятого года Германия, что называется, дышала на ладан. Стальные тиски сжимали ее и с востока и с запада. Было совершенно ясно, что конец войны совсем близок. «*Думаю, что будущий историк, если он, между прочим, займется и настроениями пражских галлиполийцев в этот период,* – вспоминал Раевский, – *вряд ли обвинит нас в том, что мы желали прихода в Прагу американцев, а не большевиков. Одно дело – желать победу Советскому Союзу, а другое дело – попасть в*

советские тюрьмы, что, по нашему общему убеждению, грозило нам в случае прихода в Прагу советских войск совершенно реально»[42].

Союзники прочно овладели воздушным пространством Германии. Однако многочисленные сухопутные их дивизии все еще не приступали к открытию второго фронта. Зато советские армии уже вплотную подошли к границам Чехословакии. Но все равно невозможно было предугадать, кто же первым войдет в Прагу – англо-американцы или советская армия. Многие русские эмигранты в спешке покидали тогда Прагу, некоторые отбывали в Германию, но Николай Алексеевич решает остаться: «*Спасаться в Германию для меня было абсолютно неприемлемо по моральным причинам. Не принимая чехословацкого гражданства, я всецело был связан с этой страной, искренне ее любил и не мог зачеркнуть двадцати лет своей жизни. Не скрою, что некоторую роль в моем твердом желании не ехать в Германию сыграла и пощечина, полученная мною от нацистского офицера в тюрьме. Единственная пощечина, полученная мною в жизни. ‹…› Да, я откровенно желал прихода американцев, так же как и все почти наши галлиполийцы, а на случай возможного все же прихода большевиков я принял окончательное, как мне казалось, решение: в случае прихода красных я отравлюсь. Оружия у меня не было. Я уговорился с одной пожилой докторшей, также уезжавшей в Германию, что на вокзале она мне передаст склянку со смертельной дозой яда». К счастью, склянку она на вокзал не принесла:*

– Николай Алексеевич, яда я вам не принесла. Совесть не позволила. Я вот уезжаю в Германию, а вы остаетесь здесь и чего доброго действительно отравитесь. Что же было делать? Я покорился судьбе»[43].

В последующие месяцы события развивались с катастрофической быстротой. И вот, наконец, второго мая советская армия, преодолев ожесточенное сопротивление немцев, завершила взятие Берлина штурмом Рейхстага, над которым взвилось красное знамя. Девятого мая наголову разбитая Германия наконец капитулировала. В ближайшие же дни в Праге стало известно, что американцы заняли Пльзень – всего в ста с небольшим километрах от Праги. Все ждали, что американские танки вскоре появятся на улицах города. В их ожидании собрались толпы пражан, вышедших встречать победителей. Люди стояли вдоль улиц, вероятно, несколько часов, но ни один американский танк так и не появился: «*К вечеру поползли слухи о том, что в город придут не союзники, а Красная Армия. Так ее называли по старинке. Уходить было некуда, да к тому же за последние недели я совершенно потерял чувство инициативы. По*

временам только открывал свой шкап, посматривал на пушкинские папки и мой скромный гардероб. Снова и снова задавал себе вопрос: «вариант А или Б?» На случай варианта «Б» я в тот день, когда докторша не принесла мне на вокзал яду, заготовил хорошую прочную веревку с соответствующей петлей, которая хранилась в моем чемодане. Под кроватью стоял предмет более интересный. Это была бутылка красного вина, подаренная мне доцентом Кафкой, для того чтобы отпраздновать освобождение Праги согласно варианту «А». Утром 9 мая моя хозяйка позвала меня к себе в столовую слушать радио. Диктор несколько раз повторил одно и то же сообщение: «Красная Армия входит в город». Пани Марышева спросила меня встревоженно:

– Что же вы думаете делать, доктор?

– Что я думаю делать? Ничего. Пойду сейчас смотреть, что делается на улице.

Поздравил хозяйку и ее дочь с окончанием войны, до которого они благополучно дожили. ‹… › о существовании веревки на предмет варианта «Б», который начал осуществляться, я совершенно забыл. Положил в портфель завернутую в газету бутылку варианта «А» и поскорее пошел навестить Олю. По дороге пришлось перелезть через несколько баррикад, но их уже никто не охранял. Никаких войск в городе еще не было. Полусонная Оля, открыв дверь, недовольным голосом спросила меня, отчего я так рано.

– Оленька, война кончилась! Красная Армия вступает в город. Она с криком бросилась мне на шею. Мы решили пройти к Гвоздиковым. Сидя на диване в их комнате, я через открытое окно увидел первый советский танк, который медленно шел где-то в конце улицы. Ни Олю, ни барышень Гвоздиковых я никогда не называл девушками, а тем более девочками. Но сейчас я внезапно вспомнил, что каждая из них вдвое моложе меня и сказал во всеуслышание:

– Девочки, вот ползет моя смерть. Это конец.

Меня обняли и Оля и Галя.

– Что вы, Николай Алексеевич, вы будете еще жить долго, хорошо жить.

Полуеврейка Нина сказала мне:

– Николай Алексеевич, это пришла наша армия, русская армия.

– Нет, девочки, конец, – повторил я с безнадежным спокойствием. Но затем постарался взять себя в руки и приободриться»[44].

Еще несколько выдержек из воспоминаний Николая Алексеевича очень точно передают атмосферу и общее настроение, царившее в те дни, а некоторые детали весьма

интересны и познавательны: *«Я забежал домой на насколько минут для того, чтобы сделать то, что согласно заранее обдуманному плану надо было исполнить еще утром. Я растопил печку и бросил в огонь Уставы Галлиполийского союза и газету новопоколенцев с призывом убить Кирова. О лежавшей в чемодане прочной веревке снова не вспомнил. Невозможно было думать о смерти в этот день всеобщего ликования, поцелуев, цветов и победных кликов. Потом я снова отправился к Оле. На Карловом намести недалеко от тюрьмы я увидел расходившуюся толпу людей, которые о чем-то оживленно говорили. Оказалось, что здесь совсем недавно какие-то парни раздели догола немецкую девушку, будто бы служившую в гестапо, и повесили ее за ногу на придорожном фонаре. Некоторые проходившие мимо мужчины тушили об ее тело свои сигареты. Подошел советский офицер, велел снять повешенную, которая уже потеряла сознание, вызвать скорую помощь и отправить ее в больницу. Приказание было исполнено. Немного дальше я встретил молодого русского хирурга, который ночью дежурил в своей клинике. Туда доставили двух совсем маленьких немецких мальчиков, у которых какие-то изверги вырезали языки. Молодому хирургу пришлось их зашивать.*

Когда мы встретились с Олей, я не рассказал ей об этих ужасах. Оля была охвачена победным угаром. Поведала мне, что день сегодня необыкновенный, замечательный. Она уже, оказывается, успела влезть на танк, протанцевала там чечетку, а потом читала солдатам стихи Есенина и свои собственные. Один молодой сержант, очень славный, сразу же в нее влюбился и, обращаясь на «ты», предложил ей сойтись с ним, а после ехать в Советский Союз: там хорошо, у них замечательный сад и мама такая хорошая. Все будет хорошо. Она со смехом ответила, что у нее муж и ребенок, а сержант настаивал на своем: «Так ты разведись с мужем, а дочку мы увезем к нам». Напористый был сержант, но славный, очень славный.

Пообедали мы в небольшом ресторане, причем хозяин ни с кого не брал денег. Это было уже совсем нечто необыкновенное. Мне он заявил:

– Русские нас спасли, и белые, и красные»[45].

На следующий день десятого мая Николай Алексеевич начал свои прощальные посещения оставшихся в Праге немногочисленных уже друзей… Двенадцатого утром он сделает в дневнике последнюю краткую запись: «*Пока что я не жалею о том, что не принял яда».*

А вечером, вернувшись домой, Николай Алексеевич застанет там двоих – молодого офицера в военной форме и второго, штатского человека в черной кожаной куртке. Все было предельно

ясно. Произведя тщательный обыск, Раевского увезли, сказав, что он задержан для проверки. После первого же допроса, на котором ему было предложено подробно рассказать, кто он, где служил в Гражданскую войну, что делал в Праге, почему не вернулся в Советский Союз и так далее, капитан, проводивший допрос, прочел постановление об его аресте. Через несколько дней Раевскому было объявлено постановление прокурора о привлечении к суду по целому ряду статей, по каждой из которых мог последовать смертный приговор. Например, статья «Участие в Гражданской войне» приравнивалась к вооруженному восстанию против советской власти.

«*Мы оставались на вилле Гайды*[46] *еще около недели. – вспоминает он позже. – Было время поразмышлять как следует, и я пришел к тому заключению, что мне, галлиполийцу, не подобает молча ждать решения своей участи. Я подал заявление на имя прокурора, суть которого заключалась в том, что, прекратив безнадежную борьбу против советской власти, я тем не менее остаюсь ее убежденным противником, так как личность в Советском Союзе не пользуется достаточной свободой. Все те же более осведомленные заключенные нашли мой поступок безумным*»[47]. Но, как выяснится впоследствии, этот поступок сыграл, возможно, решающую роль в дальнейшем ходе событий. К этому эпизоду мы еще вернемся.

«На вилле генерала Гайды мы пробыли еще около недели. Советская тюремная дисциплина, надо сказать, оказалась совсем не похожей на издевательскую немецкую. Физиономий не били, не заставляли передвигаться по зданию обязательно бегом, никто не стоял в ожидании допроса у стены, уткнувшись в нее носом, но только кончиком носа. Вначале я не знал, как, собственно, называется то учреждение, которое нас арестовало и держало на вилле. А учреждение оказалось самое страшное – Смерш – сокращение слов «смерть шпионам». Только этого еще не хватало в моей скромной биографии. Однажды после утреннего завтрака – кружки чая с хлебом – нам наконец приказали приготовиться к отъезду. Перед виллой стояло два грузовика и легковая машина. Вслед за нами из учреждения вышел начальник учреждения полковник и старший лейтенант, по всему судя, человек, несомненно, жестокий. Я попросил разрешения обратиться к полковнику. Он ответил вежливо:

– Говорите, что вам нужно.

Я доложил, что при обыске у меня изъяты папки с документами по Пушкину, а в них, мол, есть то-то и то-то. Полковник ответил успокоительно:

– Не беспокойтесь, все в порядке. Чемодан пойдет с вами.

Заговорил злобный помощник:

– Товарищ полковник, я у него там нашел список умерших членов организации.

– Это нам не нужно. Мы с мертвыми не воюем.

Старший лейтенант не унимался:

– Товарищ полковник, против фамилии капитана Трофимова отметка «пал смертью храбрых в Советском Союзе».

– Вечная память. Мы не воюем с мертвыми.

Старший лейтенант чуть заметно улыбнулся. Улыбнулся сдержанно, но весьма неодобрительно. Вероятно, он не в ладах со своим начальством»[48]. И вот грузовики с заключенными медленно двинулись в путь – сначала на север Чехии, где пересекли границу с Германией неподалеку от города Теплице. Из своего грузовика Раевский сможет в последний раз увидеть огромный замок и старинный парк, мимо которого очень тихим ходом шли машины. Здесь, в этом старинном замке, жила дочь графини Фикельмон, княгиня Кляри-и-Альдринген, и сюда же часто наезжала ее мать, графиня Долли Фикельмон… Легко можно представить, какие чувства испытывал тогда заключенный Раевский, проезжая совсем близко от ворот Теплицкого замка, так тесно связанного с именем горячо им любимого Пушкина… Затем грузовики проехали через разбомбленный Дрезден, где их задержали на несколько дней (для Раевского это обстоятельство так и осталось загадкой, поскольку в Дрездене совершенно ничего не происходило). Затем, проделав долгий и сложный путь назад, двигаясь теперь на юг, пересекли границу с Чехословакией еще два раза и оказались уже в Австрии, где под Веной, в маленьком курортном городке Бадене и состоялся суд.

Именно там, в Бадене, был расположен один из крупных военных штабов – штаб Центральной группы войск. При нем имелся военный суд, состоявший из квалифицированных юристов. В тюрьме знающие советские порядки люди объяснили остальным заключенным, что они много выиграли, попав в ведение этого суда.

«В этот же день дежурный солдат провел меня в комнату военного следователя, которому было поручено мое дело. Им оказался молодой еще капитан с академическим значком. Для первого, так сказать, знакомства он заявил мне:

– Имейте в виду, Раевский, что если вы попытаетесь доказывать мне, что вы только случайно приняли участие в Гражданской войне на стороне белых, то я вам не поверю. Я ответил, что такого намерения у меня вовсе нет. Я доброволец и принял участие в Гражданской войне на стороне белых совершенно сознательно. Капитан, видимо, остался доволен моим ответом и приступил к подробному допросу. Он вел его настойчиво, но вполне вежливо. Чувствовался опытный человек с основательной юридической подготовкой. Мне, сыну и внуку юристов, это сразу стало заметно»[49].

Николаю Алексеевичу было объявлено, что на днях состоится суд по его делу. Следователь вручил арестованному «Уголовный кодекс СССР» и приказал с ним ознакомиться. *«Перелистывая кодекс, я нашел те статьи, по которым мне было предъявлено обвинение в Кладно. Убедился в том, что по каждой из них возможна высшая мера наказания»*[50]. На следующее утро, около десяти часов, за арестантом Раевским пришел дежурный сержант и провел его в зал суда, где за столом, покрытым красным сукном, уже сидели трое судей и секретарь. Председательское место занимал полковник с юридическим значком на кителе. Он объявил заседание открытым, следом объявил, что в распорядительном заседании суд отменил все те статьи, по которым было ранее предъявлено обвинение, и теперь Раевский обвиняется только в том, что он содействовал международной буржуазии в ее борьбе с советской властью (статья 58, пункт 4 «Уложения о наказаниях»). Полковник прибавил еще, что в исключительно тяжелых случаях по этой статье также может быть применена высшая мера наказания. Далее начался допрос, но прежде чем перейти к делу, председатель вдруг заявил, что суд желает выслушать сначала рассказ о работах Николая Алексеевича по Пушкину, что для Раевского оказалось совершенно неожиданным. *«Я, конечно, обрадовался. Признак, несомненно, хороший. Из подсудимого я на время превращался в докладчика по пушкинским делам. Полковник к тому же приказал мне подать стул и, сидя на нем, я экспромтом сделал приблизительно полуторачасовой научный доклад о своих работах. Судьи и секретарша слушали его с несомненным интересом. Полковник задал мне ряд дополнительных вопросов, касавшихся различных фактов пушкинской биографии, и, судя по этим вопросам, я понял, что председатель военного суда недурно знаком*

с современным состоянием науки о Пушкине. Со стороны, вероятно, было бы несколько странно услышать, что подсудимому контрреволюционеру задается, например, такой вопрос: «Так вы утверждаете, что только Александре Николаевне Пушкин сказал о предстоящей дуэли?»

– Да, по-видимому, это прочно установленный факт.

Один из членов суда спросил меня, был ли я намерен ознакомить советских пушкинистов с результатами моих изысканий? Я сказал, что собирался послать несколько десятков экземпляров своей книги, если бы она вышла, в Советский Союз.

– Больше вопросов к подсудимому нет, – сказал председатель.

Я понял, что теперь мне следует встать. После полуторачасового пушкинского вступления деловая часть заседания продолжалась, вероятно, менее часа. Забыл сказать о том, что на суде этом не было ни прокурора, ни защитника. Защищаться было предоставлено по закону самому подсудимому, и я произнес свою защитительную речь примерно в течение двадцати минут. Когда я дошел до того места, что Союз Галлиполийцев в Праге постепенно обратился в своего рода клуб бывших участников Гражданской войны, спаянных своими воспоминаниями, председатель вставил: «Пиквикский клуб». Я воздержался от улыбки. Говорил я с подъемом, но достаточно спокойно и чувствовал, что взял, во всяком случае, правильный тон. Председатель суда, пушкинист-любитель, несомненно, отнесся к подсудимому с сочувствием, а остальные члены суда ему не перечат. По окончании допроса судьи приступили к совещанию, а меня на это время тот же сержант отвел в другую комнату. По пути он мне заявил:

– Вы хорошо защищались. Орел!

Оказалось, что он все время стоял у приоткрытой двери и слушал, что там, в зале, происходит»[51].

Ждать решения своей судьбы арестованному Раевскому пришлось не более получаса. Полковник стоя прочел приговор. В нем, между прочим, упоминалось о том, что суд считает смягчающими вину обстоятельствами тот факт, что Раевский добровольно поступил во время войны в Михайловское артиллерийское училище и получил три боевые награды. А также тот факт, что, проживая за границей, не принял иностранного подданства. Заключительные строки приговора звучали так: «Приговором военного трибунала Центральной группы войск от 16 июля 1945 г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 58-4 УК РСФСР, и приговорен к лишению свободы в ИТЛ сроком на 5 лет, с поражением в правах сроком на 3, без конфискации имущества»[52].

Через несколько дней приговор был утвержден официально и вступил в законную силу. Николаю Алексеевичу так же передали и то, что бывший его следователь был несколько удивлен относительной мягкостью приговора. Он ожидал как минимум десятки. Стоит отметить еще один очень значительный, можно сказать главный эпизод, – дело в том, что и этого срока Николай Алексеевич смог бы избежать, – судья предложил ему раскаяться и подать прошение о помиловании. Но раскаявшись, Раевский публично отрекся бы от своих убеждений. Казалось бы, чего стоит написать… и вот она, свобода. Но «Жизнь Родине – честь никому» этот завет русского офицера Николай Алексеевич пронес через всю свою жизнь, иначе Раевский не был бы Раевским! Прошения он писать не стал…

Уместно теперь будет вспомнить то, о чем было упомянуто в начале повествования – Пушкин стал для писателя Раевского не только главной темой его литературных трудов, но и своеобразным оберегом и, как уже говорилось, возможно, спас его от смерти… По крайней мере, сам Николай Алексеевич считал именно так. О том, что могло грозить бывшему белогвардейскому офицеру и ярому борцу с большевиками, догадаться несложно. Достаточно вспомнить, как казнили атамана Краснова с его подвижниками и ряд офицеров армии Колчака. *«В Баденские ночи я порой размышлял и о том, как счастливо, по существу, сложилась моя судьба. Не подай я в свое время в Кладно заявление прокурору о том, что я по-прежнему остаюсь принципиальным противником советской власти, заявление, которое многие считали роковой ошибкой, меня, почти наверное, судил бы дивизионный военный суд в Кладно, в котором, видимо, не было квалифицированных юристов. Но на заявление упорного белогвардейца, которое, видимо, было переслано дальше, обратили внимание и вызвали меня в Баден. Там военный суд штаба Центральной группы войск прежде всего отменил все статьи, по которым меня собирались судить в Кладно, а благодаря тому что председатель оказался пушкинистом-любителем, был вынесен приговор, против которого возражать было трудно: я не чувствовал себя неким невинным агнцем»*[53].

Из австрийского Бадена Раевского и других советских заключенных, перевезли в маленький венгерский город Шапрон, откуда специальный поезд должен был отправиться непосредственно в Советский Союз. *«Перед тем как подняться в предназначенную нам теплушку, я сказал вполголоса: «Прощай, Европа». Мой сосед на этот раз, все тот же офицер кубанец, о котором я не раз уже упоминал, прибавил, безнадежно махнув рукой:*

– *Прощай, жизнь*»[54].

6 сентября 1945 года поезд отошел от перрона и вскоре пересек границу с Советским Союзом.

И вот Николай Алексеевич возвращается на Родину, которую не надеялся увидеть когда-либо вновь. Вид родных пейзажей, столь любимых и близких сердцу, вызывает смешанные чувства – ведь теперь не остается сомнений, что с прошлой жизнью, с Прагой, с Белым движением покончено бесповоротно. Ему вновь предстоит познакомиться со страной, которую Раевский покинул уже как четверть века. Все было для него теперь новым, незнакомым… В нем снова просыпается исследователь. Со свойственной ему живой заинтересованностью Николай Алексеевич начинает узнавать эту, совершенно новую страну, новых ее жителей. Он складывает как мозаику свои наблюдения за людьми, событиями, деталями, постепенно рисует ее образ.

Нужно ли говорить о том, что условия содержания арестантов в пересыльной тюрьме Львова, куда попал Николай Алексеевич, были крайне тяжелыми – отопления в бараках не было, и заключенные жестоко мерзли. Для Раевского это было слишком тяжелым испытанием, он совершенно не переносил холода. Спали на матрасах, положенных прямо на пол. Лагерный паек был крайне скудным, самой распространенной причиной смерти в тюрьме были желудочно-кишечные заболевания и главным образом дистрофия. Умирали по преимуществу иностранцы и эмигранты.

Среди заключенных в тюрьме оказался знакомый по Праге молодой врач Борис Янда, он работал в морге патологоанатомом и, желая помочь Раевскому, попросил начальство назначить ему помощника, имея в виду Николая Алексеевича, а обосновал просьбу тем, что тот – биолог по образованию и имеет степень доктора естественных наук. Начальство пошло навстречу. Так Раевскому пришлось впервые в жизни присутствовать на вскрытии. *«Грустно было, когда приходилось присутствовать при вскрытии людей, которых я более-менее хорошо знал. Моя обязанность была несложной. Все делал, конечно, врач, он же диктовал мне протокол вскрытия и одновременно знакомил с некоторыми анатомическими особенностями данного случая»*[55].

Николай Алексеевич, при его счастливом таланте привлекать к себе людей, достаточно быстро смог завязать немало интересных знакомств. Разные это были знакомые: полковник Красной Армии – выпускник военной академии, доктор Марков – врач-венеролог, полковник медицинской службы, который спас Николая Алексеевича от опасности заболеть дистрофией, уступив ему свой паек (сам он получал продуктовые передачи от

львовских родственников). Был еще там пожилой заключенный – бывший председатель одной из столыпинских землеустроительных комиссий. Вскоре выяснилось, что он приходится двоюродным братом знаменитому антрепренеру Дягилеву, организатору «Русских Сезонов» в Париже. Дягилевский кузен, как и Николай Алексеевич, в то время сильно страдал от голода. «*В тюрьме мы втроем – землеустроитель, гастроном и я – занимались довольно невеселой и, пожалуй, несколько унизительной игрой. Усевшись где-нибудь в стороне, где никто нас не мог слышать, мы забавлялись тем, что изобретали меню тех обедов и завтраков, которые мы будем кушать после освобождения. Непременно будем кушать. Сначала землеустроитель относился к моим обеденным проектам будущего несколько свысока, но, когда оказалось, что я знаю французские названия многих блюд и произношу их не хуже, чем он, стал выслушивать мои проекты с некоторым вниманием. Раз только, помню, когда я включил в тонко обдуманный, по его мнению, обед в качестве закуски пражскую ветчину, он поморщился и сказал:*

– Ну, не портите вашего обеда. Это ведь очень сытное блюдо»[56].

В числе новых знакомых был и бывший комиссар одного из армейских корпусов, в то же время довольно видный советский поэт, убежденный коммунист ленинского толка. Николай Алексеевич рассказал ему о своих литературных поисках и находках, сделанных в Чехословакии, о новом письме Пушкина графине Фикельмон, о записи графини о дуэли и смерти Пушкина, наконец, о замке Бродяны и его неизвестных широкому кругу культурных сокровищах.

«*На этот раз мой собеседник разволновался:*

– Николай Алексеевич, да вы же нашли настоящий клад. Вы должны его использовать, во что бы то ни стало использовать. И ваша судьба изменится совершенно, если о ваших находках узнают»[57].

Через несколько дней после разговора заведующий культурно-воспитательной частью предложил Раевскому сделать доклад о своих находках. Пришлось Николаю Алексеевичу докладывать заключенным о Пушкине. Слушали его с очень большим интересом.

Раевский за полгода свыкся со своим положением, немного восстановил силы и чувствовал себя достаточно сносно, он продолжал свою работу в качестве помощника патологоанатома, но однажды он оказался замешанным в сложную и неприятную историю, которая послужила причиной для срочного его перевода в другой лагерь. Дело было связано с доктором Борисом Яндой,

человеком весьма энергичным и предприимчивым. Николаю Алексеевичу казалось немного странным поведение доктора, у того все время были какие-то таинственные дела. В один из дней, однако, тайна странного поведения доктора Янды раскрылась – он признался, что готовит побег. Доктор нашел нескольких сообщников, и они в удобные моменты проделывали проход из анатомического театра в одну из подземных галерей. Янда предложил Раевскому бежать вместе, но Николай Алексеевич категорически отказался, понимая всю абсурдность опасного предприятия.

«Все, казалось, было на мази, и мое беспокойство возрастало с каждым днем. Однажды Борис попросил меня задержаться после вскрытия в анатомическом театре и сам принялся что-то копать. А меня попросил не молчать – молчание подозрительно:

– Продекламируйте что-нибудь, Николай Алексеевич.

Ну что же. Я принялся декламировать по-латыни – подслушивающие ничего не поймут. Выбрал текст Вергилия:

> Omnia tune florent: tune est nova temporis actas
> Et nova de gravido palmite gemma tumet.
> Все здесь в цвету, и новые беременные почки
> Распускаются на отяжелевших ветвях.

– Еще, еще, Николай Алексеевич, могут услышать.
Я продолжал:

> Est viasi piris se roma neves to sereno
> Eacte onomen habet candore not tabelis ipiso.
> Есть горняя дорога, видная при ясном небе.
> Это путь к чертогам громовержца и царскому дому.

И так далее, и так далее. Мне до сих помнятся эти латинские тексты и единственная в своем роде обстановка, в которой я их декламировал»[58].

Как и предполагал Раевский, в один из дней все же случилась беда. Доктора задержали в момент попытки побега, а Николай Алексеевич сразу попал под подозрение. Несколько дней шло внутренне расследование. Раевскому теперь предстояло перейти на положение обыкновенного заключенного и немедленно отправиться в камеру. Но он решает подать рапорт о включении его в очередную партию, отправляемую в лагерь. Товарищи, с которыми он советовался, его поддержали:

«– Хорошо, если так сделаете. Уезжайте немедленно, чтобы о

вас забыли, во-первых, а во-вторых, вам пора кончать заведование трупами. Вы же совершенно изменились.

– Ну что вы, доктор. Я же остаюсь спокойным.

– Да это вам так кажется, а на самом деле эти трупные занятия очень для вас вредны. Прощайте, прощайте. Всего вам хорошего».

Рапорт был принят, и Раевскому сообщили, чтобы он готовился к отъезду, эшелон собран. *«И еще раз я успел сбегать проститься с моим дорогим Александром Карловичем. Порвалась последняя связь с галлиполийцами, с Галлиполи, моим прошлым, плохим или хорошим, но мне все же дорогим. Мы обнялись. Александр Карлович был взволнован, у меня потекли слезы. Все, все кончено. Я уезжаю в неизвестность. Часа три я побыл под символическим арестом в закрытой на замок камере, а потом в общей колонне зашагал на вокзал. Опять знакомые львовские улицы, опять лавки с русскими надписями, опять замковая гора, опять булыжная мостовая, по которой на этот раз я шел увереннее. Теперь была надежда, что меня действительно здесь не задержат, и вот застучали колеса поезда, который увозил нас куда-то в Донбасс»*[59].

Летом 1946 года Раевский вместе с остальными заключенными прибыл в лагерь у города Краснодона, где провел полгода перед очередным переводом. В военное время здесь был немецкий концлагерь, теперь переделанный под нужды советской власти. Рядом стоял стекольный завод, куда заключенные направлялись на отработки. По приезде Николай Алексеевич сразу отмечает либерализацию порядков по сравнению со Львовом – трудовой лагерь не тюрьма, здесь уже нет «камер», а есть «комнаты», нет запрета на перемещения, и заключенным, как мужчинам, так и женщинам, было позволено свободно общаться между собой. Жили в бараках по пятьдесят человек. Здесь же разместили и партию Николая Алексеевича. Именно тогда Раевский впервые столкнулся с уголовными преступниками: *«… в большинстве военная молодежь, попавшая сюда за разные неблаговидные деяния. Настоящих преступников в них все же не чувствовалось, таково было мое первое впечатление, и со временем оно укрепилось. Для них мы, немолодые уже бывшие белогвардейцы, об этом наши собеседники знали, представляли интересные объекты. Враждебности к нам не ощущалось. Для них Гражданская война была, по-видимому, далеким куском истории Советского государства, не более того».*

Партия, в которой прибыл Николай Алексеевич, была одной из первых, перевезенных в этот лагерь. Лагерь был на стадии становления, жизнь здесь еще не была как следует упорядочена –

отсутствовали бани, происходили регулярные перебои в питании, тяжело первое время было, тяжело и с санчастью. Заключенные страдали от вшей, недоедания и отсутствия медицинской помощи. Временным начальником санчасти была назначена приехавшая вместе с Николаем Алексеевичем из Львова опытная фельдшерица София Федоровна. По старому знакомству, она устроила Раевского к себе в лазарет, где условия проживания и питания были получше. Вновь Николаю Алексеевичу приходится заниматься патологической анатомией. Из-за этой работы, заразившись при очередном вскрытии, писатель тяжело заболел дизентерией, осложненной циститом, преследовавшим его на протяжении последующих двадцати лет, а позже к этому присоединилась еще и цинга.

К счастью, Николай Алексеевич пробыл там не очень долго, в один из зимних дней 1946 года заключенного Раевского решено было перевести в другой лагерь: *«Все та же Софья Федоровна, которая работала теперь в качестве фельдшерицы, сказала мне, что меня намереваются перевести в другой, лучший лагерь, где даже имеется центральное отопление. По ее словам, это единственный лагерь такого типа во всей области»*[60]. Хочется добавить одну маленькую, но весьма показательную деталь. Вот характеристика, которая была дана Раевскому в первый год пребывания в лагере одним из его работников: *«Что сказать о Раевском? Работает отлично, дисциплинирован, очень вежлив, а все-таки его следовало бы расстрелять. Он был и остается врагом Советской власти, врагом убежденным и честным. Не могу этого отрицать. Но, товарищи, честный враг гораздо опаснее бесчестного».* Вот так-то.

Прибыв на новое место, Николай Алексеевич первым делом отправился в санчасть и предложил свою кандидатуру. Во всю многообразную палитру приобретенных Николаем Алексеевичем в заключении профессий можно, даже с улыбкой, занести профессию банщика. Именно эта должность была ему предложена начальником санчасти: *«Врач спросил, какая моя специальность. Я ответил:*

– Доктор естественных наук Пражского университета.

Начальник оживился и внимательно на меня посмотрел. Я продолжал:

– Знаком с нормальной патологической анатомией, работал в качестве помощника прозектора лагеря, хорошо знаю латинский язык.

Начальник санчасти меня перебил:

– Доктор Раевский, а вы можете прочесть лекцию на тему «Что такое жизнь?» Только имейте в виду, что никаких

руководств на этот счет у нас нет.

– Могу, гражданин начальник.

Внутреннее чувство подсказало мне, что обращение «доктор Раевский» уже было многообещающим.

– А сколько вам понадобится времени, чтобы эту лекцию написать?

– Дней пять.

– Ну, отлично. На пробу я вас приму и зачислю на работу в нашу баню»[61].

Вся пикантность этой работы заключалось в том, что интеллигентному Николаю Алексеевичу было поручено выдавать мыло в лагерной бане. Все бы ничего, но два раза в неделю на помывку приводили женщин, а мыло приходилось выдавать непосредственно перед помывочной: *«В предбанник из раздевалки стали входить обнаженные женщины. Их, видимо, нисколько не смущало появление тут незнакомого мужчины в больничном халате. Зато сам незнакомый мужчина с непривычки был несколько смущен. Одна, другая женщина, пятая, десятая – все почти молодые, здоровые украинки, довольно бесцеремонные и все совершенно голые. Непривычно все-таки. Потом подошла ко мне и получила свою порцию мыла пожилая и на вид, несомненно, интеллигентная дама. Мне стало совсем неприятно. Тоже идея – иметь сотрудником мужчину в женской бане!»*[62]

К постоянным встречам с обнаженными женщинами Николай Алексеевич, к своему удивлению, привык довольно быстро. Но вот одно дело, когда перед тобой раскрепощенные девицы, воровки, проститутки или аферистки, и совсем другое – интеллигентные дамы-политзаключенные, точно такие самые, которые составляли основной круг общения Раевского всю долагерную жизнь.

«На простых женщин я не обращал внимания, а вот раздача мыла интеллигенткам у меня не ладилась. Вид, наверное, был несколько смущенный и испуганный. В конце концов интеллигентки прислали ко мне для переговоров пожилую учительницу, которая сказала:

– Послушайте, Раевский, мы попали в плен к дикарям, ну, и будем себя вести по-дикарски»[63].

Пока одни мылись, другие стояли в очереди, и, чтобы как-то сгладить неловкий момент, Раевский нередко проводил в предбаннике литературные занятия, рассказывая дамам небольшие новеллы: *«Помню, особый успех имела новелла Эдгара По «Золотой жук». Голые женщины слушали ее, затаив дыхание, а одна молодая воровка лет восемнадцати легла у моих ног и смотрела мне прямо в рот, чтобы не пропустить ни слова»*[64].

Когда же новый начальник тюрьмы собирался заменить «заграничного доктора» (так называли Раевского в лагерях) другим работником, к нему явилась целая делегация женщин, которые просили оставить полюбившегося рассказчика: *«Доктор не крадет мыло, совсем не крадет, а другой начнет, наверное, красть»*[65]. Начальник рассмеялся и оставил Раевского на банной службе.

Лекция на тему «Что такое жизнь», которую подготовил Николай Алексеевич по поручению начальника санчасти, прошла с успехом и даже основательно упрочила его положение в медсанчасти – ему была выделена для работы отдельная комнатка.

В течение последующих трех лет, Раевский фактически был секретарем начальника санчасти, совмещая эту работу с обязанностями фельдшера, принимал участие во вскрытиях, ему даже доверили подписывать медицинские протоколы, хотя официально он не имел на это права. Раевский сумел заслужить репутацию прекрасно разбирающегося в медицине человека, что, впрочем, соответствовало действительности – те знания, которые он получил в университете, его внутреннее чутье, аналитический ум и умение правильно сделать выводы позволяли ему порой лучше профессиональных медиков ставить диагнозы. Начальник медсанчасти иной раз, в самых тяжелых и запутанных случаях, доверял мнению именно Раевского. На него также были возложены и обязанности лектора – Николаю Алексеевичу пришлось не менее двадцати раз читать заключенным лекции на тему заразных болезней и их профилактики.

Занимаясь медицинскими делами, Николай Алексеевич не мог забыть и главной своей страсти – Пушкина. По его предложению был организован пушкинский вечер: литературный доклад о находках пушкинских материалов в Чехословакии и театральное представление – сцена из «Бориса Годунова», к которой он сам сочинил стихи для кантаты на музыку Глинки. К огорчению Раевского, литературный вечер не совсем удался: *«И вот эта-то затянувшаяся часть моего доклада и не понравилась блатным. Они начали прерывать меня криками: «Довольно, довольно, хватит! Постановку! А то времени не будет»*[66]. Но более всего он переживает за судьбу своих пушкинских исследований, поэтому решает отправить письмо в «Пушкинский Дом» Академии наук, где подробно описывает неизвестные письма Пушкина. Эта информация вызвала чрезвычайный интерес «Пушкинского Дома» и Президиума Академии наук. И вот оттуда непосредственно в МГБ была направлена просьба отыскать материалы, принадлежащие заключенному контрреволюционеру

Раевскому. Документы были найдены и отправлены в «Пушкинский Дом», где впоследствии был составлен фонд Н. Раевского под № 374.

«*Если бы я верил в сверхъестественный потусторонний мир, то я бы, пожалуй, сказал, что загробное покровительство Пушкина сыграло в моей жизни очень крупную роль. (…) после того как в «Пушкинском Доме» было получено письмо о моих изысканиях и находках в Чехословакии, «Пушкинский Дом» обратился к соответствующим властям с извещением о том, что материалы заключенного Раевского имеют не только огромное литературное значение, но и представляют и общегосударственную ценность. В официальном письме «Пушкинского Дома» содержалась также просьба запросить у заключенного Раевского некоторые дополнительные сведения. Это участие учреждения Академии наук в судьбе ЗК Раевского, несомненно, сильнейшим образом повлияло на отношение местных властей к означенному заключенному. Начальник санчасти как-то сказал мне откровенно:*

– Нам приказано выпустить вас живым и здоровым.

Я стал, таким образом, не просто заключенным, а заключенным пушкинистом, а это далеко не одно и то же»[67].

Здесь же, в лагере, он пишет работу «Новое о Пушкине», которую не успевает закончить. Впоследствии начальник санчасти переслал Раевскому этот труд в Минусинск, в настоящее время он также находится в «Пушкинском Доме».

Пушкин Пушкиным, но он-то как раз меньше всего интересовал лагерное начальство, а вот когда вдруг выяснилось, что Николай Алексеевич в студенческие годы проводил научные исследования, связанные с кровообращением клопов, оно теперь же решило, что Раевский незамедлительно должен эти научные знания использовать с практической пользой, и его назначили «заведующим клопоистреблением». Было дано нешуточное задание извести кровососущих насекомых в лагерном быту. Николай Алексеевич прекрасно понимал, что полностью от постельных клопов в условиях лагерной жизни избавиться невозможно. «*Специалистом по клопам я, конечно, не был, хотя довольно основательно изучил их анатомию, но дело ведь шло не об анатомии клопов, а об истреблении оных. А я до сих пор истреблял клопов только вручную в своей студенческой кабинке в пражском общежитии, куда клопы были завезены студентами, приезжавшими с Балкан, и в теплом помещении размножились чрезвычайно. А тут масштаб – три корпуса заключенных. Что же делать? Приказ есть приказ. Я в течение трех дней обдумал свою задачу и доложил начальнику лагеря, как, по моему мнению, можно ее организовать*»[68]. Раевский предложил очень, надо сказать,

сложный с точки зрения исполнения, но единственно возможный способ, в котором были задействованы и пары цианида, и известка, и заделывание щелей, а также прожарка всех кроватей, постели и одежды. Оба начальника, и лагеря, и санчасти, согласились с этими предложениями, и результат оказался определенно положительный.

К работе этой Раевский, как он признается в своих дневниках, в конце концов привык, втянулся, и в какой-то мере она его удовлетворяла. В лагерях, согласно инструкциям, КР-заключенных (контрреволюционеров) не полагалось назначать на какие-то хотя бы относительно «начальственные» места, но обойтись без них администрация лагерей не могла, поэтому фактически все ответственные должности были заняты именно КР-заключенными. Но высшему руководству это очень не нравилось, и так называемых контриков постепенно стали отсылать в Сибирь.

Но пока в лагере на Раевского смотрели как на человека, который в недалеком будущем выйдет на свободу. *«Один из офицеров охраны, довольно симпатичный старший лейтенант лет тридцати, сказал мне, что будет рад, если после освобождения поселюсь в его доме месяца на два.*

– Вы мне очень пригодитесь, Раевский.

– А для чего, гражданин начальник?

– Вы поучите меня светскому обхождению. Как надо сидеть за столом, держать нож и вилку, как надо снимать шляпу. Вы так хорошо кланяетесь, а я совсем не умею. Нас ведь ничему этому не учили. Только козырять умею.

В другой раз тот же самый старший лейтенант завел со мной с глазу на глаз серьезный разговор.

– Какие мы офицеры, Раевский, одно слово что офицеры. Совсем не то что господа офицеры старой армии.

Я возражал вполне убежденно:

– Нет, гражданин начальник. Зря вы так говорите. Вы отличные боевые офицеры, вы одержали победу над немцами, правда, вы – не господа, и это ваше большое преимущество. Вы, по крайней мере, спокойно доживете до конца жизни, не так, как мы»[69].

Вопреки надеждам на освобождение из лагеря неожиданно было принято решение отправить Раевского в Сибирь.

«*Вечером, окончив очередной деловой разговор, я спросил:*

– Гражданин начальник, кажется, на этот раз мне не удастся избежать далекого путешествия?

– Да, Раевский, к сожалению, не удастся. Высшее начальство решило, что остаток срока вы должны провести в Сибири. Это

распоряжение из Москвы, и мы уже ничего поделать не можем. ‹…› Грузовик тронулся. Я не без грусти смотрел на удалявшиеся три белых корпуса. Целых три года провел я здесь и провел, в общем, неплохо. Расставался с лагерем без недоброго чувства. Началось мое долгое двухмесячное путешествие в Сибирь»[70].

К новому месту заключения Раевский отбывает 1 сентября 1949 года. До него он будет этапом добираться целых два месяца. Сначала попадает в пересылочную Харьковскую тюрьму, где его задержат на несколько недель. Затем новый этап. По временам заключенных высаживали, направляли в очередную переполненную пересылочную тюрьму, и опять дорога. В одной из тюрем Николай Алексеевич в который раз читает лекцию. Во время одной из пересылок, в переполненном вагоне, где все жестоко скучали от гнетущего безделья, Николай Алексеевич за несколько вечеров сымпровизировал свою повесть-сказку «Джафар и Джан», вызвав неподдельный интерес слушателей.

Наконец 1 ноября 1949 года контрреволюционер Раевский прибыл на станцию Решоты, к месту своего последнего заключения. «*Мы разминали ноги и поглядывали, что кругом делается. Любопытные молодые глаза заметили на расстоянии почерневший крестьянский домик, ничем не примечательный, но на его крыльце происходило странное действо. Старая женщина, видимо бабушка, поливала из большой лейки на голову внучке, молоденькой девушке. На морозе никто еще из наблюдателей такого зрелища не видел, и начался разговор о том, какое же сегодня число, до каких же пор эти сибиряки обливаются. Затем нас повели в лагерь*»[71].

Как уже повелось, на новом месте Раевский вновь поступает в распоряжение медицинской службы. На этот раз его определяют в лабораторию, где он после месяца учебы, приобретя новую специальность, приступает к работе лаборанта.

О том, что в двух предыдущих лагерях он участвовал во вскрытиях, Раевский предпочел в Решотах умолчать. Но, к его огорчению, начальству об этом стало известно, и Раевского вновь привлекают к этому неприятному делу.

Срок заключения подходил к концу, и вот наступил заветный май 1950 года, а с ним и долгожданное освобождение. Администрация лагеря предлагает Николаю Алексеевичу выбрать один из городов Красноярского края на поселение. После недолгих размышлений писатель выбирает Минусинск – небольшой симпатичный городок недалеко от Красноярска, руководствуясь тем, что в Минусинске находится знаменитый в свое время краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова, при котором имеется самая богатая в Сибири, после Томского

университета, библиотека. В музее он и надеялся поработать. Поселиться в Минусинске Раевскому было разрешено.

«Наконец сержант-освободитель пришел. Я поцеловал латышке на прощанье по-европейски руку, пожелал всего хорошего и прошел последние «заключенные» шаги от лаборатории до проходной. Там сержант позвонил еще в управление и спросил, можно ли выдать мне документы. Последовал утвердительный ответ, и я получил бумагу на руки. Оставалось попрощаться. На этот счет в лагере существовала традиция. Если заключенный не имел претензий к администрации, он пожимал руку сержанту-освободителю и говорил несколько прощальных слов. Так же поступил и я. Подал сержанту руку и сказал, что в его лице я благодарю администрацию лагеря за корректное обращение. Через минуту-другую сержант, пожелав мне всего хорошего, вывел меня за проволоку. Николай Раевский больше не был заключенным. Он оказался на свободе. Великолепное чувство возвращенной свободы – светлое, радостное, хочется сделать что-то большое, хочется куда-то ехать, куда-то лететь»[72].

По прибытии в Минусинск Николай Алексеевич отправляется в горздравотдел подавать прошение на назначение в клиническую лабораторию. В высокообразованных и умных людях везде была нужда, тем более в таких далеких, Богом забытых местечках огромной страны, как маленький, тихий, одноэтажный Минусинск. Его беспрепятственно назначают фельдшером в городскую больницу. Оклад дают небольшой, но стабильный, и Николай Алексеевич вновь погружается в медицину.

Работал Николай Алексеевич в больничной лаборатории, и в его обязанности поначалу входил забор крови для анализов. «Я единственный лаборант с ученой степенью в районной лаборатории, на всем огромном пространстве от Ледовитого океана до Монголии», – напишет он позже сестре.

Однако впоследствии медицинская деятельность Раевского далеко не ограничивалась работой в больничной лаборатории и разборами анализов. Скорее эта деятельность стала трамплином для новых научных изысканий – Николай Алексеевич, как и везде, проявил большую ответственность и талант ученого, применив к исследованию анализа крови знания по теории вероятности, с которой познакомился еще в артиллерийском училище. Довольно быстро он снискал уважение в среде коллег. И вот уже лаборант Раевский принимает активное участие в медицинских конференциях, выступает с научными докладами, диагностирует редкие и необычные случаи заболевания крови. В частности, Николай Алексеевич смог сказать свое слово в вопросе о лейкемоидных реакциях и лейкозах, в то время совершенно

неизвестных большинству врачей. За одиннадцать лет работы в Минусинске он выявил сорок случаев лейкоза крови, практически не поддающегося клиническому диагностированию, в том числе восемь – в острой фазе. *«Лишний раз думаю о том, как все же изменчива моя судьба. Лет десять тому назад я об этих предметах не имел ни малейшего понятия, а теперь, вот, меня как-никак привлекают для составления научного доклада, рассчитанного на врачей»*[73].

Очень показателен случай, после которого авторитет Николая Алексеевича вырос в глазах не только его коллег, но и жителей Минусинска – ведь в маленьких городках слухи расходятся очень быстро. А тут такая история – Раевский спасает единственную дочь первого секретаря горисполкома. У девушки было подозрение на брюшной тиф, но соответствующие анализы неизменно давали отрицательный результат. Лучшие терапевты города пришли к печальному заключению, что у больной так называемый милиарный туберкулез – заболевание неизлечимое и смертельное. Николай Алексеевич все же упорно настаивал на правильности первоначального диагноза – брюшной тиф. Из-за спорного диагноза лечение не начинали…

«Кроме меня, диагноз брюшного тифа поддерживала только одна фельдшерица, правда весьма эрудированная. Она была студенткой одного из старших курсов медицинского института и по семейным обстоятельствам ушла, не окончив учебы. Я не сказал еще о том, что у больной девушки я констатировал именно эти своеобразные камертонные формы ядра лейкоцитов и упорно отстаивал свое мнение.

Евгений Николаевич Мартьянов относился к моим утверждениям со вниманием, но все же считал, что раз нет положительного результата анализов, значит, нет и брюшного тифа. Однако в какой-то день заболевания он, пожимая мне руку, сказал просто:

– Колонии выросли.

Случай закончился благополучно. Постепенно мои анализы приобрели в Минусинске довольно широкую известность. Даже на базаре, который являлся в то же время в своем роде народным клубом, там обсуждались всякие новости, не только городские, но и государственные и совсем личные, мне пришлось услышать, что торгующие женщины сообщали самую последнюю новость: в больнице, вот, появился теперь новый заграничный врач. Так тот как посмотрит в трубку, так сразу и говорит, выздоровеет больной или умрет»[74].

Однако Николай Алексеевич все же оставался медиком поневоле, и, несмотря на заслуги и продвижение по научной

стезе, он чувствовал, что начинает охладевать к врачебной практике, которая приносила средства к существованию и определенное моральное удовлетворение, но так и не стала настоящим призванием.

Мечты о Пушкине по-прежнему владеют им всецело. Но, к сожалению, пушкиноведческие материалы здесь совершенно недоступны, поэтому возобновить прерванную работу нет возможности. И тогда Раевский решает реализовать свою нерастраченную творческую энергию, погружается в мир историй выдуманных. Вспомнив импровизацию, которая когда-то имела успех у скучающим в тесном пересыльном вагоне арестантов – он принимается записывать восточную повесть-сказку «Джафар и Джан». Пишет с большим увлечением долгими вечерами, возвратясь домой после трудной работы. Пишет на длинных обрезках бумаги, добытых по случаю в типографии – другой не было, простым карандашом – «*чернил-то достать было нельзя, потому что все леденело от стужи*». Он сочиняет чудесные теплые картины фантастической истории любви между арабской красавицей принцессой и бедным пастухом-музыкантом, красивую сказку со счастливым концом. Едва закончив восточную сказку, он сразу же принимается за повесть, посвященную древнегреческому поэту Феокриту. Еще в Праге, всерьез занимаясь философией Древней Греции, он увлекся его поэзией. Николай Алексеевич отправляет запрос в библиотеку им. Ленина и вскоре получает не только единственный полный русский перевод стихов Феокрита, но ещё и английский, причём с обширными комментариями.

В то же время Раевский-литератор переводит с французского, пробует себя в качестве либретиста, пишет большое исследование на тему «Шатобриан как ботаник»…

С головой погружаясь в литературную работу, Николай Алексеевич находит наконец успокоение, он словно греется в ласковых лучах греческого солнышка, в то время как за окном завывают холодные сибирские метели.

Но все же первое, что сделал Раевский, приехав в Минусинск, – тотчас же начал активные поиски родных. К его неописуемой радости, в начале 1951 года наконец удалось разыскать сестру Соню. Маму, Зинаиду Герасимовну, он уже, к сожалению, не увидит… *«Снова написал в адресный стол, и это учреждение, вероятно устыдившись за свою ошибку, ответило мне немедленно. К моей великой радости и изумлению, в нем сообщалось, что Зинаида Герасимовна и София Алексеевна Раевские проживают там-то и там-то. Мама жива! Бурная радость, бурное изумление, а затем сразу жестокое сомнение: а не ошибка*

ли это все-таки? Пожалуй, ошибка. Я немедленно начал письмо маме, но не решился его опустить в ящик. Невероятное счастье, но пусть сестра его подтвердит, и я отправил Соне телеграмму. Все же я принялся заканчивать оставшееся незапечатанным письмо маме, вернее, сделал к нему приписку. Это было 19 марта пятьдесят первого года. Письмо осталось неотправленным. В конце дня я получил телеграмму Сони: «Коля нашелся, мамочка скончалась в прошлом году». Я не уничтожил письма, адресованного покойнице, но я никогда его не перечитал. Не хватало сил. Вот и сейчас, через много лет, не пытаюсь его разыскать, а где-то в моем архиве оно лежит. Пускай лежит»[75].

С сестрой у него завязывается большая переписка, ему это было крайне необходимо. В своих письмах Николай Алексеевич с большим чувством рассказывает сестре о том, чем жил он все предыдущие годы, открывает душу, делится размышлениями, ищет ее советов, а из ответных писем узнает подробности ее жизни и жизни дорогих ему людей. Оказалось, что живы близкие родные со стороны матушки Зинаиды Герасимовны – Пресняковы, два дяди – Леонид Герасимович и Евгений Герасимович, тетушки и любимая двоюродная сестра Ольга Леонидовна Преснякова. Для Раевского это была огромная, ни с чем не сравнимая радость – ведь так мало осталось ниточек, связывающих его с таким далеким и счастливым прошлым, и вот они снова начинают восстанавливаться. Для него это было жизненно важно, как воздух, – у него опять есть его близкие, родные, его Семья, которая будет поддерживать его в самые сложные времена, оказывая и духовную, и материальную помощь.

Работе Николая Алексеевича в музее можно смело уделить особое внимание, ведь она была основным смыслом его приезда сюда. Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова – один из первых в Сибири и старейший в Красноярском крае. Со времен становления в городе советской власти и до середины тридцатых годов, музей организовывал и проводил научные экспедиции по сбору уникальных коллекций по этнографии, археологии, биологии (в основном, энтомологические). К концу тридцатых и в военные годы музей был почти полностью обескровлен в кадровом плане, и его научная жизнь остановилась, хотя все коллекции были сохранены. Николай Алексеевич, можно сказать, оказался первым квалифицированным сотрудником музея за прошедшее к тому времени десятилетие.

«Главным его помещением был огромный двухсветный зал, в котором были размещены коллекции чучел крупных животных и птиц, расположенных в природной обстановке. Они весьма живо и

наглядно иллюстрировали жизнь и леса, сибирской тайги, и здешних степей. Надо сказать, что новая экспозиция привлекала и привлекает большое внимание и местных жителей, и приезжающих посетителей. В этом отношении, я повторяю, надо сказать правду, музей даже выиграл в результате появления новых хозяев. Но вот кадры своих научных сотрудников им создать не удалось. Приглашенные в музей лица честно работали, но, не обладая соответственной подготовкой, научной работы прошлого времени продолжать не могли. Она замерла»[76].

Одна из лучших энтомологических коллекций во всей Сибири, собранная до революции и в первые годы Советской власти, очень заинтересовала бывшего «бабочника». Но директор музея в силу известных причин – музей в те годы состоял на балансе Министерства государственной безопасности – отнесся к Раевскому с недоверием, и допускать до фондов бывшего контрреволюционера осторожный директор счел делом рискованным. Однако постепенно, не столько своими научными познаниями, сколько умением быть интересным собеседником, с помощью сотрудников музея – людей не очень грамотных, но любящих свое дело, Николай Алексеевич все-таки сумел найти подход к руководству и получил разрешение поработать нештатным сотрудником. Не откладывая, он начинает знакомиться с фондами.

«Заведующая библиотекой допустила меня без всяких осложнений к каталогам библиотеки, в свое время хорошо составленными ее предшественниками. Я посвятил просмотру этих ящиков несколько часов и в этот день, и в несколько последующих. Перебирая карточки, я убедился в том, что рассказы о богатстве библиотеки Минусинского музея нисколько не преувеличены. Меня особенно обрадовало наличие здесь всех почти известных мне русских сочинений по систематической энтомологии, а также обширной коллекции старых журналов. ‹…› Совсем не провинциальная библиотека, совершенно не провинциальная. Библиотекарша мне сказала, кроме того, что есть еще большие не разобранные фонды, главным образом на польском языке. Впоследствии, когда я стал нештатным сотрудником музея и получил доступ к архиву Мартьянова, который, надо сказать, он оставил в превосходном порядке, это впечатление не провинциальности еще более усилилось»[77].

Для начала Раевский составил подробный проект возобновления работы музея, список необходимого оборудования, настаивая на приобретении достаточно дорогих приборов для исследования водной фауны близ Минусинска. Как ни странно, материальное обеспечение знаменитого в прошлом музея было

хорошим. Раевский проделывает грандиозную работу по восстановлению энтомологических и орнитологических фондов, приводя в порядок коллекции и каталоги, переводит ряд документации с латыни – сотрудников со знанием латинского языка не было здесь вот уже более тридцати лет. Он бродит по окрестностям Минусинска и даже отправляется в отдаленные экспедиции для восстановления музейного гербария и коллекции насекомых.

«…Болота осушены, но осталось больше десятка небольших озерков, и я решил, что надо их заснять при помощи артиллерийской полевой буссоли, которая, к счастью, нашлась в музее, и изучить озерную флору и фауну. Предварительным экскурсиям, которые я подробно описал в ряде писем сестре, я посвятил свой второй отпуск, отпуск пятьдесят второго года ‹…› Результаты получились немалые и, во всяком случае, интересные. Я знал, что в двадцати пяти – тридцати километрах от города находятся так называемые Инские озера, Большой и Малый Кызык-куль, живописные места, почти не тронутые культурой. В отпуск пятьдесят первого года мне было не до них, а в пятьдесят втором я совершил несколько поездок в эти действительно очаровательные места. ‹…›. Свободно делал пешком по двадцать пять – тридцать километров. В одном из писем я сообщаю о первой, радостно взволновавшей меня находке. В великолепном, совсем не тронутом культурой березовом влажном лесу я впервые в жизни нашел самую крупную из встречавшихся в Советском Союзе орхидей – башмачок, который носит латинское название Cypripedium Macranthum. Это великолепный малиновый цветок, ничуть не уступающий по красоте магазинным тропическим формам»[78].

Своими впечатлениями от работы Николай Алексеевич постоянно делится в письмах с сестрой Соней, и в одном из ответных писем писатель узнает новость, несказанно его обрадовавшую. 27 марта 1953 года принят закон об амнистии преступникам, осужденным по контрреволюционным статьям! И вот уже затеплилась надежда после многих десятилетий разлуки вновь увидеться с сестрой – бывший контрреволюционер имеет право теперь более свободно, хотя и с некоторыми ограничениями, передвигаться по стране. Запись в дневнике: «… *телеграмма Сони: «Поздравляю праздником снятием ограничений получением паспорта». Хорошо помню, что, вручая мне документ, начальник милиции счел нужным сказать вопросительно-наставительным тоном:*

– Вы нас не подведете, Раевский?

Капитан пожал мне руку, а я ответил по возможности

спокойно:

– Я никого и никогда не подводил.

Я положил заветную книжечку в боковой карман и вышел из управления милиции уже в качестве своего советского человека.

Настроение было смешанное. Исполнилось то, на что я решился только после восьми лет сложных и тяжелых размышлений. Потом еще ровно год тянулась изрядно меня утомившая процедура по оформлению гражданства. Теперь все кончено. Получил все права и преимущества, присвоенные советским людям. Но в то же время книжечка, которая сейчас у меня в кармане, накладывает и ряд нелегких, прежде мне чуждых обязанностей. На мгновенье мелькнула тревожная и обидная мысль: а не скажут ли все-таки обо мне когда-нибудь, что Раевский – изменник белому делу. Мелькнула и погасла. Нет, внутренний голос говорит, что я не изменник. Был верен белому делу до конца, до последнего предела, но ведь его больше нет, оно умерло, ушло в историю, а я хочу еще пожить, хочу творить, на что я, кажется, способен. Реминисценции прошлого потом иногда все же давали о себе знать, и мне становилось больно на душе»[79].

В 1954 году Н. А. Раевский едет в Караганду к сестре – долгожданная встреча наконец-то состоялась!.. Теперь не только тетрадные листочки, исписанные мелким почерком, соединяют их – теперь можно говорить, глядя в глаза, держа за руку самого родного, самого близкого человека. Говорили долго, взахлеб и никак не могли наговориться… Николай Алексеевич напишет сестре уже из Минусинска: «*Пятнадцать дней, проведенных у тебя, были чудесной моральной ванной из ободряющей воды. Только выходить из нее было грустно. Да и сейчас грустно, что мы снова расстались. Но теперь я вижу перед собой не воображаемую Соню, а тебя настоящую, живую с милыми твоими морщинками и усталым лицом*»[80]. После свидания с сестрой он едет в Алма-Ату, где ему удалось за очень короткий срок получить предварительное согласие на работу. Он пробыл там всего несколько дней, но успел полюбить этот город всем сердцем: «*Чем ближе к Тянь-Шаню, тем живее становится природа, а у самой Алма-Аты – великолепие южной Украины, богатейшие поля, колонны пирамидальных тополей и все это на фоне чудесных гор с заснеженными вершинами. Очарованье, да и только… Ночи в Алма-Ате мне напомнили Грецию – такая же ласковая теплынь, какую я описываю в «Днях Феокрита». Город совершенно удивительный – сплошной старинный парк – гигантские пирамидальные тополя, дубы, лет по восемьдесят – девяносто, акации и разные другие деревья, которые я уже не надеялся когда-либо увидеть. Здания невысокие из-за землетрясений – всего два-три этажа, так что их*

порой не видно в этом удивительном парке. Дождей не было давным-давно, листва, к сожалению, пыльная, но растет все буйно, роскошно, стремительно, потому что воды сколько угодно. Вдоль улиц бегут арыки – поливай сколько хочешь. Ты знаешь, я помню цветники царских резиденций, видел цветы Версаля, Праги, разных чешских магнатов, но Алма-Ату в этом отношении можно сравнить с чем угодно. Площадь цветов в центре города и главный цветник городского парка совершенно изумительны. Сверху вечное солнце, снизу – все время вода – вот и получается почти что тропическое великолепие…»[81]

В 1961 году, после одиннадцати лет, проведенных в холодном и суровом Минусинске, Николай Алексеевич перебирается наконец в солнечную и теплую Алма-Ату. Столь желанный переезд этот стал возможным благодаря счастливому знакомству. Как-то еще в Минусинске на одной из конференций он был представлен академику Александру Николаевичу Сызганову, директору алма-атинского Института клинической и экспериментальной хирургии. Знакомство оказалось судьбоносным. Сызганов сразу смог разглядеть в Николае Алексеевиче незаурядную личность и понял, что в лице доктора Раевского институт имеет возможность приобрести весьма ценного работника. Александр Николаевич приглашает его в институт. Надо воздать директору должное – его не испугало прошлое белогвардейского офицера, недавнего политического заключенного. Заметим, что в то время человека с подобной биографией взять на работу было небезопасно…

В институте Николая Алексеевича сразу привлекают к научной работе, ему предстоит составить обширную библиографию работ по щитовидной железе. Вся сложность этой работы заключалось в необходимости одновременно и обладать профессиональными биологическими знаниями, и владеть многими иностранными языками. Тут уж Раевскому не было равных! Николаю Алексеевичу приходилось переводить сложные медицинские статьи с семи языков: *«Переводы очень трудные, и, кроме меня, мало кто за них взялся бы ‹…› Очень много работаю сейчас. До четырех, как всегда, щитовидная железа. Составление карточек я считаю законченным, так как объять необъятное нельзя. И так у меня их собрано девять тысяч. На днях приехавшая к нам из Одессы ученая докторша, была и обрадована моей библиографией, и удивлена, как вообще мне удалось ее составить. Ну, как известно, ежели зайца долго бить, то он и библиографом станет…»* По поручению Александра Николаевича Сызганова Николай Алексеевич также активно занимается созданием музея по истории хирургии Казахстана, и впоследствии, он даже какое-

то время будет заведовать им.

Стоит ли упоминать о том, что, работая в институте хирургии, Раевский по-прежнему продолжает увлеченно и самоотверженно заниматься своим самым любимым делом – пушкинистикой? В 1964 году Николай Алексеевич едет в Москву, где встречается с ведущими в стране специалистами по Пушкину – Т. Г. Цявловской и Н. А. Тарховой. С этими «пушкинскими дамами», как он любя их называл, Николай Алексеевич имел очень обширную переписку, начавшуюся еще в Минусинске. Поездка эта вышла весьма плодотворной – были собраны нужные материалы по Пушкину и получены консультации от ведущих специалистов в области пушкиноведения. Надо сказать, что эти деловые знакомства вскоре переросли в большую хорошую дружбу, которую Николай Алексеевич высоко ценил. В Москве ему даже пришлось неожиданно поучаствовать в литературной жизни столицы: *«Еще одно «Пушкинское дело». Т. Г. Цявловская переговорила с Пушкинским музеем в Москве, и мне предлагают там выступить с докладом на какую-либо тему по моему выбору. Просят только заранее условиться, чтобы они могли внести доклад в свой план, заготовить повестки и т. д. Я думал было отказаться, потому что слишком занят, но, как следует подумав, решил, что следует согласиться. Я думаю предложить свой доклад «Пушкин и война», который ты немного знаешь. Придется, конечно, несколько его модернизировать, опять-таки приспособить к обстоятельствам места и времени, но это займет всего несколько вечеров»*[82].

Институт хирургии не единожды командировал научного сотрудника Раевского в Ленинград, где наряду с той работой, которая ему был поручена (собрать медицинские материалы и провести работы по изучению дореволюционных источников развития хирургии в Казахстане), он выкраивал время для посещения «Пушкинского Дома»: *«…Своим месячным пребыванием в Ленинграде я доволен, но только с деловой стороны. Собрал довольно много материала для «Очерков по истории хирургии в Казахстане», которые я, считается, редактирую, а фактически сильно дополняю и перерабатываю, так как товарищи, главные хирурги областей, несомненно, хорошо оперируют, но, к сожалению, за малыми исключениями, очень плохо пишут и, кроме того, имеют очень слабое представление о дореволюционном состоянии отечественной медицины. Большую вступительную статью мне было поручено написать самостоятельно. Собственно говоря, довольно необычное поручение, но к необычным поручениям я в жизни привык… ‹…› Наряду со сбором исторических материалов я много работал в «Пушкинском Доме», так как подготовляю*

расширенное и дополненное издание моей пушкинской книжки, которое, быть может, состоится. Благодаря ряду счастливых обстоятельств мне удалось получить немало новых, частично весьма интересных материалов, в том числе неизвестный портрет Долли Фикельмон того времени, когда она встретилась с Пушкиным (1833 г.)»[83].

И вот в пору, когда Николаю Алексеевичу исполнилось семьдесят лет, в 1965 году, наконец издается его первая небольшая книга «Если заговорят портреты», которая как бы стала предварительным заявлением о себе, сообщением о поисках и находках писателя в Чехословакии. Именно эта книжка и положила начало ряду других блестящих работ Николая Алексеевича Раевского.

В 1974 году выходит в свет вторая книга о Пушкине – «Портреты заговорили», ставшая для него счастливой. Над ней Николай Алексеевич трудился почти десять лет. Книга за короткий срок, вызвав небывалый интерес у широкого круга читателей, стала буквально интеллектуальным бестселлером, ее переиздавали несколько раз, и, хотя общий тираж достиг более полутора миллионов экземпляров, читательский спрос так и не был удовлетворен. На адрес писателя полетели сотни писем от благодарных читателей из разных концов страны и не только. Одно из них пришло от родной внучки Павла Воиновича Нащокина – Веры Андреевны, которая прислала Николаю Алексеевичу ранее не опубликованные материалы о своем дедушке. Это чрезвычайно вдохновило писателя, и вот уже в 1977 году в свет выходит новая книга – «Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин». Эти работы смогли всколыхнуть интерес к Пушкину у так называемого широкого читателя – советской интеллигенции, отчаянно страдавшей от отсутствия добротной, увлекательной, доступно и красиво написанной научно-популярной литературы. Кроме того, и в среде специалистов-пушкинистов они также вызвали большой резонанс. Его книги выходят огромными тиражами, переводятся на иностранные языки и издаются за рубежом. Но это не только работы на пушкинскую тему. Вышли в свет и его романы, написанные в Минусинске – «Последняя любовь поэта» и «Джафар и Джан». Но впереди у писателя еще творческие планы – ведь Николай Алексеевич не оставляет надежды закончить свою самую первую и, пожалуй, самую сложную тему – «Пушкин и война». В течение ряда лет эта работа издавалась отдельными главами в казахстанском журнале «Простор» с новым названием «Жизнь за Отечество». К большому сожалению, это исследование писатель так и не успел завершить, и последняя публикация появились в

журнале, когда Николая Алексеевича уже не стало[84].

Государство все же сумело по достоинству оценить труды писателя, хотя, надо заметить, не без содействия друга Раевского Олега Ивановича Карпухина. Он занимал довольно большую должность в отделе культуры ЦК КП Казахстана. Прочитав книгу «Портреты заговорили» и познакомившись с Николаем Алексеевичем лично, Карпухин принимает в его жизни горячее участие. Олег Иванович посчитал несправедливым, что при столь широком признании и любви, писатель все еще не имеет признания, так сказать, официального, государственного. Считая своим долгом восстановить справедливость, он начинает ходатайствовать о присвоении Николаю Алексеевичу звания заслуженного работника культуры. Интересно рассказывает об этой истории сам Олег Иванович – не успел он начать хлопотать о Раевском, ему тут же поступил звонок из КГБ, без лишних намеков, прямым текстом было сказано:

– Ты не понимаешь, за кого ты хлопочешь – за капитана врангелевской армии! У тебя что, два партбилета?!

– Нейтрализовать эту недвусмысленную угрозу удалось с помощью прямого обращения к первому секретарю ЦК компартии Казахстана Д. А. Кунаеву, который отреагировал вполне адекватно. С присущей этому интеллигентному человеку прямотой он сказал:

– Как, этот старик еще жив?! Немедленно поезжай и узнай чем можно помочь этому удивительному человеку!

Таким образом, руки у Олега Ивановича были развязаны. В 1984 году писателю было присуждено звание заслуженного работника культуры КазССР и вручена медаль «Ветеран труда». Николай Алексеевич в тесном кругу говорил по этому поводу: «Кто бы мог подумать! Если бы мне в молодости кто-нибудь сказал, что я, белогвардейский офицер, контрреволюционер, непримиримый борец с советской властью, получу от Советского государства эти награды, я бы рассмеялся ему в лицо».

О Раевском были сняты документальные фильмы известными режиссерами-документалистами Владимиром Татенко и Александром Головинским (он снял два фильма: «Письма живого человека» и «Жизнь за Отечество»). Фильмы прошли по центральным каналам телевидения – в то время это был знак официального признания заслуг Раевского. Сценарии к фильмам Головинского писал Олег Карпухин, он же был ведущим. Замысел фильма «Жизнь за Отечество» состоял не только в том, чтобы рассказать о Николае Алексеевиче как о замечательном писателе, существовала и тайная цель – получить разрешение на выезд съемочной группы с Раевским в Прагу и попытаться разыскать

пропавший после войны личный архив писателя, который оставил на хранение друзьям, связь с которыми была потеряна. О чудо! В 1986 году поездка состоялась (Раевскому 92 года!). Николай Алексеевич через 40 с лишним лет смог снова побывать в своей Золотой Праге – любимом городе, где он пережил когда-то радостные и трагические годы, где произошло столько важного, значительного, дорогого сердцу… Об этой поездке Николай Алексеевич даже не смел мечтать… К сожалению, рукописи тогда отыскать не удалось. Их, а вернее только часть из них, Олег Иванович сумел найти уже после кончины Николая Алексеевича, в закрытых тогда еще архивах.

В 2010 году Карпухин издал большую книгу «Неизвестный Раевский». В орбиту читательского внимания вошли произведения, доныне никогда не издававшиеся, и теперь у читателя появилась возможность познакомиться с неизвестным Раевским – писателем Русского Зарубежья, и открыть для себя новую, доселе неведомую грань его удивительного таланта. Некоторые даже не могли поверить, что Раевский-пушкинист и Раевский-белогвардеец – одно и то же лицо… Поиски трудов писателя еще не завершены. И мы верим, что новые литературные открытия вполне возможны.

О Владимире Пантелеевиче Татенко – режиссере, снявшем о Раевском документальный фильм «Портрет с кометой и Пушкиным», нужно сказать отдельно. Он был большим другом семьи писателя и внес неоценимый вклад, помогая формировать его домашний архив. Дело в том, что свои воспоминания Николай Алексеевич, по большей части, диктовал на магнитофон, (тогда еще были большие катушечные аппараты) и немалая часть пленок, которую еще не успели обработать, требовала срочного перевода на бумагу. Труд, надо сказать, колоссальный и весьма кропотливый. В этом непростом деле Владимиру Пантелеевичу помогал Александр Иванович Соколов, преданный почитатель творчества Николая Алексеевича и большой энтузиаст. Ночами (днем он был на службе) он переписывал воспоминания, слушая голос писателя с магнитофонной ленты. Пленки были старые, многие уже рассыпались в руках, и Александр Иванович порой буквально восстанавливал их из праха, склеивая по крохотным кусочкам. Приходилось перепечатывать на машинке непростой рукописный текст, а что-то и переписывать вручную. Одна только переписка Николая Алексеевича с сестрой – это сотни писем, написанных сложным, трудно читаемым почерком. Их расшифровка требовала немалых усилий. Татенко с Соколовым, проделав колоссальную работу, подготовили к печати одно из произведений Раевского – повесть-воспоминание «Возвращение»,

которая была опубликована в казахстанском журнале «Простор». В России эта работа еще не издавалась, но надеемся, что она увидит свет и в нашей стране.

Невозможно также обойти вниманием и историю выхода в свет книги «Портреты заговорили», поскольку с этим связано то новое, что произошло в личной жизни писателя и чего он сам уже не ожидал…

В издательстве его рукопись была передана на рецензию литературному редактору Надежде Михайловне Бабусенковой. *«Когда на редактуру мне попала рукопись книги «Портреты заговорили», мы с ним* (Раевским. – *Ред.*) *только-только познакомились. Оторваться от написанного было невозможно. Я много читала исторических вещей, но ничего подобного не встречала. Реальные, ощутимые, в письмах, воспоминаниях, документах были тут, сам Александр Сергеевич и жена его, красавица Натали с многочисленным семейством Гончаровых, дочь фельдмаршала Кутузова, она же друг поэта, Елизавета Михайловна Хитрово, князь Вяземский…‹…› А язык! А стиль, а необычный исследовательский метод! Пять раз перечитывала я как редактор рукопись, и все с удовольствием… Я забывала, что я редактор. Иногда, спохватившись, начинала опять перечитывать – может, найду огрех какой. Но ничего! Запятую – и то не переставить. Правда, сам Николай Алексеевич не верил, что книгу смогут принять. Уж больно все у нас было заидеологизировано, и изображение высшего света, а тем более царского двора, в нормальных, человеческих тонах считалось едва ли не крамолой. Но я поставила перед собой задачу – во что бы то ни стало добиться выхода книги и успокоила Николая Алексеевича, что все будет хорошо»*[85], – вспоминала свое знакомство с рукописью Надежда Михайловна.

Раевский не зря волновался за судьбу своего детища. По тем временам это была весьма смелая вещь. Хотя она и не имела отношения к политике, но зато переворачивала представления читателей о дореволюционной России. Против выхода книги восстали многие. Мотивация: какое отношение имеет Пушкин к Казахстану? Это не пройдет, слишком положительно выставлен высший свет царской России и т. п. Директор издательства вроде бы и не против, но все равно боится – его пугают возможным нежелательным резонансом. Опасения эти были понятны: «оттепель» завершилась, и печатать книгу белого офицера, хотя и бывшего, было небезопасно… Теперь, в сегодняшнее время, нам сложно это понять.

Два с лишним года длилась борьба за книгу. Надежда Михайловна смогла подключить тогда все свои связи и связи

Николая Алексеевича (очень помог директор института хирургии А. Н. Сызганов). Наконец «сверху» – лично от главы Казахстана Динмухаммеда Ахметовича Кунаева – спускается указание: книгу напечатать.

Все тяготы этой «войны» Николай Алексеевич, как ни старалась редактор оградить его от волнений, все же переносит довольно тяжело. Здоровье сильно сдает и, что самое неприятное, резко падает зрение. Писатель уже не может самостоятельно ни читать, ни писать, и вот, после выхода в свет книги, он предлагает Надежде Михайловне работать его литературным секретарем (она к тому времени была вынуждена уволиться из издательства). Так Надежда Михайловна становится «его глазами», по собственному выражению Николая Алексеевича, а позже и его супругой. Вот отрывок из письма Раевского, написанный еще в 1973 году, в самый разгар битвы за книгу, из больницы:

«Дорогой друг Надя!

Вы не любите громких слов, я их тоже не люблю, но все же сейчас, когда Вы прочно отрезаны от меня карантинным барьером, я особенно остро чувствую, что после сестры Вы самый дорогой для меня человек на этой планете. Вы спросите – а друзья-женщины былых десятилетий? Да, и они дороги, но я чувствую, что [неразборчиво] женщины – и та, которая в Праге, и та, которая в Америке, становятся понемногу милыми бледнеющими тенями… Словом, Наденька, благословен и день, и час, когда я встретился с Вами. Только жаль в глубине души, что судьба вырыла между нами непреодолимый сорокатрехлетний ров, хотя отлично понимаю, что эта жалость бессмысленна…

Планирую на землю, к которой, кстати сказать, всегда приятно [неразборчиво] приближаться, хотя мысли у меня, Наденька, очень грустные. Боюсь, что Вы поссорились со своей [неразборчиво] начальницей в конечном счете из-за моей книги, точнее из-за посылки корректуры в Ленинград[86]*, а это очень меня удручает. Рад буду, если ошибаюсь, но, думаю, что нет… Всей душой хочу, чтобы Вы не ушли из издательства, иначе я никогда себе этого не прощу…*

‹…› Как бы я хотел, чтобы Вы познакомились с сестрой. 2 слова о лечении. С давлением врачи справились (до первой встряски). Но с глазами результат слабый и меня удручает.

Целую Вас и желаю всего хорошего. Ваш Раевский»[87].

С появлением в жизни писателя Надежды Михайловны быт Николая Алексеевича изменился (он долгое время ютился в крохотной съемной комнатушке, не имея собственного жилья). Супруга заботилась о нем, но, что самое главное, была его верной

литературной помощницей. *«Теперь кроме меня больше нет в живых никого из нашей семьи, но я не один, у меня есть дорогая моя супруга Надежда Михайловна, урожденная Бабусенкова. Дорогая моя Наденька, по домашнему имени Совушка, сорокасемилетняя женщина, полная сил и энергии, которая самоотверженно соединила свою судьбу с глубоким стариком. Через полгода мне исполнится девяносто лет, но я очень надеюсь додиктовать эти свои воспоминания»,* – поведал он как-то магнитофонной ленте…

Галина Августовна Коренчук, дружившая с семьей Раевских, вспоминала: *«Надя часто возила Папу Ники – так шутливо-любя звали Николая Алексеевича в семье, на дачу, где он очень любил бывать. Их участок находился в горах у самой речки. Из всех времен года он больше всего жаловал весну, ласковое весеннее солнышко – оно вселяло в него надежду. Однажды весной, во время нашей прогулки вокруг дома, Николай Алексеевич вдруг сказал мне: «Если доживу до апреля, то летом я никогда не умру». Его не стало морозной декабрьской ночью… Последняя наша встреча была очень теплой и немного грустной. А последней книгой, которую я ему читала, была – «Воспоминания о Пушкине» А. П. Керн»…*[88]

11 декабря 1988 года, на девяносто пятом году жизни Николая Алексеевича не стало… До самого конца он сохранил хорошее здоровье и, что самое главное, необыкновенно живой, ясный и пытливый ум. Работал писатель до последнего дня – диктовал свои воспоминания и продолжал трудиться над Пушкиным… Ушел он очень тихо, во сне – сердце просто перестало биться. И в отношении Николая Алексеевича эта деталь кажется особенно важной и необыкновенной. Пройдя через три войны, две революции, через тюрьмы и лагеря, он столько раз был на волосок от смерти – но судьба была к нему милосердна, и он заслужил «кончину мирную и непостыдную».

Николая Алексеевича похоронили на маленьком кладбище недалеко от Алма-Аты. На склоне живописного горного ущелья, среди старой урюковой рощи стоит скромный памятник. И, хотя мало кто знает дорогу в это укромное место, на его могиле нередко появляются цветы от верных почитателей его необыкновенного творчества. На памятнике, как он и просил, выбита надпись: «Раевский Николай Алексеевич. Артиллерист. Биолог. Писатель».

Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто помогал мне в составлении биографии Николая Алексеевича, кто подбирал материалы, перелопачивал кипы архивных рукописей и писем, помогал отыскать нужные исторические справки, редактировал текст, исправляя огрехи и ошибки. Это мои

хорошие друзья: историк Белого движения Дарья Болотина – особая благодарность, Алексей Акимов – внучатый племянник Николая Алексеевича Раевского, Анастасия Кондратьева, Владимир Грицай, Дмитрий Толмачев, Ольга Леонидовна Коробова – мой строгий и справедливый корректор, Воробьев Андрей – придирался к каждой букве и все по существу. Также выражаю свою признательность руководству и сотрудникам ГАРФа, которые старались идти нам навстречу и всячески содействовали в розыске и копировании нужных материалов. Без их помощи я бы не справилась. Спасибо всем!

Елена Ивановна Беликова.

О. И. Карпухин

«Люди без настоящего и будущего»

Кто-то сказал: во дни благополучия пользуйся благом, а вот когда придут несчастья и страдания, старайся больше размышлять.

Как мы уже убедились, в жизни Н. А. Раевского было значительно больше дней для размышлений, чем для блага и радости. И в этом он сполна разделил судьбу своего поколения – вчерашних студентов, офицеров царской и белой армий, наконец, эмигрантов. Уж в чем-чем, но в умении размышлять и облекать свою мысль в отменную литературную форму им не откажешь.

«Тысяча девятьсот восемнадцатый год» – воспоминания бывшего офицера-врангелевца Н. А. Раевского относятся именно к такой литературе. В то время он еще не был писателем-профессионалом (в Союз писателей его примут почти через полвека в Алма-Ате), но написанное им в эмиграции словно специально ждало своего часа, чтобы прийти к нам в самый необходимый для нас момент, ибо воспоминания эти, как всякая настоящая литература, представляют сегодня для нас интерес не только мемуарно-исторического свойства…

Еще Ключевский отмечал чрезвычайную повторяемость русской истории. XX век вошел в летопись России как время невиданных по своим последствиям потрясений, сравнимых лишь с теми, что пришлось испытать народу тремя столетиями раньше. Но тогда, в XVII веке, на смену Смуте и великим страданиям пришел относительный покой, и народ вновь обрел духовную крепость, а правители его – силу и уверенность в делах государственных. Завершился этот тяжелый для России век началом Петровских реформ.

С самого начала XX столетия народ не переставал надеяться на лучшее будущее, но, ослепленный революционными иллюзиями, к сожалению, не смог оценить ростки этого будущего в настоящем. Именно подобным, невоплощенным надеждам и посвящены ранние произведения Н. А. Раевского, написанные им в эмиграции. И кто знает, может быть, в наши дни, когда Россия вновь обрела свою государственность и революция, как в феврале 1917 года, произошла под трехцветным флагом, наконец дано претворить то, к чему стремился народ многонациональной державы.

Извлеченные совсем недавно из архивного забвения произведения Н. А. Раевского приобретают в связи с этим неожиданную актуальность.

«Тысяча девятьсот восемнадцатый год» написан в конце 30-х

годов прошлого столетия. Определив жанр записок как воспоминания, Н. Раевский тут же предупреждает о серьезном, аналитическом характере своего замысла. Да и адресует произведение не просто широкому читателю, а вдумчивому исследователю, хотя с некоторыми опасениями, что последний может местами заподозрить автора в сочинительстве.

«Уже и сейчас, всего через 20 лет после описываемых событий, мне самому некоторые детали кажутся чьей-то затейливой фантазией, – словно оправдывается Н. Раевский. – Между тем я передаю, как могу, точно и беспристрастно то, что видел. Не моя вина, если в то время невозможное действительно стало возможным, и обычно тусклая жизнь расцветилась порой совсем фантастическими узорами. ‹…› Некоторые интересные исторические детали могут быть сохранены только одним образом. Документы в большинстве случаев погибли. Когда это возможно, я указываю путь, пользуясь которым исследователь мог бы произвести соответствующую проверку». Более того, автор специально, очевидно, из соображений вящей объективности очень часто прибегает к цитированию собственных дневников, документов и даже статистических выкладок, но уровень и масштаб исторического обобщения в публикуемых воспоминаниях, несомненно, соответствует более позднему времени, что позволило дать цельную, не побоюсь сказать, эпическую картину событий, происходивших на юге России в 1918 году.

«В тот вечер 18 марта восемнадцатого года, – цитирует он дневник, – на берегу Сулы при свете костров среди молодежи, только что прошедшей 60 верст с боем, очень и очень чувствовалась история».

Это чувство историзма, присущее Н. Раевскому, аналитический характер хроники выгодно отличают его воспоминания от аналогичных публикаций о Гражданской войне, написанных в русском зарубежье.

Далеко не случайно и то, что для своего строго документального и в то же время художественного исследования автор избрал именно 1918-й, а не какой-либо другой год Гражданской войны – чутье историка не подвело его и в этом.

Поистине переломным, рубежным был 1918 год в судьбе страны, армии, революции, кстати, и в собственной судьбе автора и его близких.

«Армия умирала. Россия разваливалась. Впоследствии пришлось пережить много печальных дней, но никогда не было так тяжело, как зимой 1917–1918 года», – напишет он спустя много лет.

Незадолго до своей кончины, в ноябре 1988 года, Н. А. Раевский рассказывал автору этих строк о том, что политическое противостояние в 1918-м было явным не только на уровне общества. Как и во многих семьях либерально настроенной русской интеллигенции, в его собственном доме расстановка политических сил была довольно пестрой. Это показали выборы в Учредительное собрание. Глава семьи и сам Николай Алексеевич, в то время только вернувшийся с фронта, голосовали за кадетов, мать – за эсеров (вот где сказалось запоздалое влияние знаменитого брата-народовольца)[89], а брат и сестра голосовали за большевиков.

В 1918 году Россия подошла к своему историческому рубежу. Хотя и говорят, что социальные потрясения так же по своим последствиям мало предсказуемы, как и природные, но для многих россиян уже события начала века таили в себе предвестие грядущего противостояния. Н. Раевский исследует причинно-следственные связи этого явления, выстраивает свою историческую концепцию предреволюционного десятилетия.

Особое внимание уделяет он анализу настроений студенческой молодежи накануне революции – самой отзывчивой части общества. Имея возможность наблюдать студенчество изнутри, поскольку сам был в то время студентом Петербургского университета, автор отмечает, что к началу Первой мировой войны, или, как ее называли современники, Великой войны, огромное большинство студентов, отнюдь не восхищаясь «существующим строем», хотело не революции, а реформ и, безусловно, отрицательно относилось к социализму, в особенности в его интернациональном аспекте. У этой наибольшей группы был очень силен здоровый патриотизм, проявление которого было совершенно очевидно уже в самом начале войны.

«Мои товарищи студенты разбились на три группы, – пишет Раевский, – первая, самая большая – приемлющие войну без всяких оговорок. Здесь не было речи о том, народна ли она или не народна, нужна ли полная победа или достаточно отбросить противника с русской территории ‹…›. Вторую категорию составляли колеблющиеся студенты, которые были слишком штатские по духу, чтобы добровольно стать военными ‹…›. Третья группа была чисто политической».

Первые дни войны 1914 года советские идеологи много лет упорно связывали с шовинистическим угаром, якобы охватившим все слои населения. Благодаря Раевскому мы имеем возможность увидеть подлинный характер этих дней – такими, какими его переживали очевидцы. Николай Алексеевич (как, впрочем, и

многие его современники в русском зарубежье) описывает массовые патриотические настроения народа как нормальное, вполне естественное проявление здорового чувства национального самосознания.

В целом же оценка предреволюционного десятилетия у Н. Раевского во многом иная, нежели та, что привычно легла в наше сознание с незапамятных лет «Краткого курса». Помните? «Наступление реакции», «столыпинщина», «агония российской государственности», «распутинщина» и т. д. За подобными стереотипами, может быть, в чем-то и правильно характеризующими своеобразие эпохи, стоит жесткая идеологическая схема, ставящая знак равенства между исторически обреченной монархией и теми прогрессивными государственными, демократическими институтами, которые не могли не возникнуть в России после предреволюционных потрясений начала века.

Н. Раевский последовательно проводит тезис о жизнеспособности тех общественно-государственных мероприятий, которые были осуществлены в России за период с 1907 по 1917 год. Энергично проводимая П. А. Столыпиным аграрная реформа, существование оппозиционной прессы, легальных и полулегальных партий – все это не могло не приобщить значительные группы интеллигенции к положительной государственной работе. Огромный сдвиг в этом направлении, по мнению Н. Раевского, произошел в убеждениях студенческой и учащейся молодежи. Молодой интеллигенции не были свойственны монархические настроения, ей был ближе и понятнее путь демократических реформ, который привел в конечном итоге страну к Февральской революции. И даже военная интеллигенция, как вспоминал впоследствии А. И. Деникин, в массе своей Февральскую революцию приняла и о восстановлении монархии не думала.

По мнению современных историков, утрата прежней лояльности офицерского корпуса к существующему режиму вызвана тем, что наряду с кадровыми офицерами в армию было призвано значительное количество интеллигенции. Возросло число офицеров недворянского происхождения. Наблюдатели отмечали, что офицерский корпус был настроен «в высшей степени враждебно» к правительству. Николай II посчитал невозможным оставить в тылу гвардию, являющуюся наиболее верной опорой режима. Гвардейские части почти полностью погибли в тяжелых боях.

Поручик Н. Раевский не относил себя ни к категории кадрового офицерства, ни к гвардии, хотя и мечтал на фронте о

будущей военной карьере. Он был из тех молодых интеллигентов, экстерном прошедших курс обучения в военных училищах, которых становилось в армии к 1917 году все больше и больше. Их либеральные взгляды не могли не повлиять на нижних чинов. На фронтах нарастали антивоенные и революционные настроения. «Но всем хотелось, – подчеркивает Н. Раевский, – революции под трехцветным знаменем, а не под красным».

Вскоре, в феврале 1917 года, так и случилось. Армия и офицерский корпус в целом с энтузиазмом приняли революцию. Н. Раевский и многие его товарищи по окружению видели в падении монархии логическое продолжение дела, начатого еще П. А. Столыпиным. Он вспоминает, как еще в гимназии, после трагической смерти Столыпина, для него и его товарищей этот человек стал мучеником за русскую государственность. Благодаря его сподвижникам, перешедшим от слов к конструктивной государственной деятельности, для большинства молодежи за это десятилетие Российское государство из чего-то чуждого и враждебного стало своим и дорогим. «Мне кажется, – пишет Н. Раевский, – не учтя этого сдвига, невозможно понять истории русской гражданской войны». Вот к какому неожиданному выводу подводит нас автор.

Правда, переход от ниспровергательных идей к положительным устремлениям прошел для молодой интеллигенции не без внутренней борьбы. «Мне еще было в этом отношении легче, – пишет Николай Алексеевич, – чем многим моим товарищам, так как по рождению я принадлежал к той среде – «петровскому дворянству», как любил говорить отец, которая из поколения в поколение принимала самое непосредственное участие в государственной работе. Семейная традиция, тот духовный воздух, которым дышишь в детстве, очень и очень много значит. Много тяжелее приходилось сыновьям маленьких провинциальных чиновников, мещан, сельских батюшек». Любопытное совпадение: по наблюдениям современного историка профессора А. Г. Кавтарадзе, представители именно этих сословий стали впоследствии ядром офицерского корпуса Добровольческой армии. Историк проанализировал послужной список семидесяти одного генерала и офицера Добровольческой армии, участников Первого Кубанского «Ледяного похода», и выяснилась следующая статистическая картина: из 71 человека только каждый пятый был из потомственных дворян, 39 процентов составляли представители служилого дворянства, а остальные происходили из мещан и крестьян или были сыновьями мелких чиновников и солдат.

Таким образом, основную часть офицерского корпуса Добровольческой армии составило именно служилое «петровское» дворянство, в среде которого по сложившейся традиции менее всего почитались чины и звания, а более всего – бескорыстное и честное служение Отечеству. Представления о благородстве и чести передавались от отца к сыну из поколения в поколение. После Октябрьского переворота эта исконно российская сословная традиция оборвалась, поскольку не могла быть востребована новым режимом. Потомки служилых дворян подверглись либо уничтожению, либо были рассеяны по всему свету. Стране был нанесен, по существу, невосполнимый социально-генетический урон, так заметно повлиявший, по мнению специалистов, на качество нации.

Но самой неизбывной и неискупимой жертвой революции и Гражданской войны в России стала ее молодежь.

«Все кончено, все надежды разбиты, – вспоминает о своих ощущениях тех лет Раевский, – и мы, молодые здоровые люди, чувствовали себя живыми покойниками. Ничего не хотелось делать… Стыдно было чувствовать себя русскими».

Активное участие молодежи в Гражданской войне на стороне белых для Н. Раевского было своего рода моральным оправданием борьбы против большевизма. Другим таким фактором для него было, несомненно, то, что «наша борьба – есть ставка на героизм сознательного меньшинства». Н. Раевский с большой любовью пишет о молодых воинах, вчерашних гимназистах, для которых подобный героизм совершенно естественен во многом потому, что они были значительно менее политизированы, чем их отцы и старшие братья, и действовали исключительно по своему душевному порыву.

Впрочем, и сам автор к моменту описываемых событий был еще очень молод и романтичен, несмотря на уже значительный жизненный и боевой опыт, приобретенный на полях Великой войны.

В его записках у поколения воевавшей молодежи есть свое прошлое, о котором не стыдно вспоминать, но, вот беда, нет у этой молодости не только лучшего будущего, самое страшное – нет настоящего.

«Сейчас мы – люди без настоящего», – не без горечи повторяет автор, и в этой фразе ни грамма литературной позы, а точное определение той духовной омертвелости, к которой приводит братоубийственная война даже самые безгрешные души. Почему же в самом начале Гражданской войны офицерский корпус оказался настолько пассивен? По мнению Н. Раевского, была парализована воля к борьбе: офицеры, вчерашние герои

Великой войны, предпочитали оставаться по городам, прятаться, нередко и гибнуть. «Чтобы бороться, надо верить. В тот момент веры у нас не было и бороться мы не могли», – горько констатирует он. Бунт на Руси, как и в пугачевские времена, все так же бессмыслен и кровав. Гражданская война взбурлила в обществе самые косные и разрушительные силы, превратив кроткого в своем смирении мужика Марея в погромщика и грабителя. Подтвердились истины, гениально подмеченные Пушкиным и Достоевским: бесовские стихийно-разрушительные начала в народе-богоносце оказались намного сильнее революционно-созидательных. Политиканы, порой не из самых ловких, легко манипулировали сознанием масс, делая их заложниками утопических и кровавых экспериментов.

Вот в этих-то условиях и пошатнулась вера интеллигенции в народ, его духовную цельность и непоколебимость общинно-православных устоев!

Как полагает Н. Раевский, это произошло во многом из-за того, что война уничтожила лучшие силы нации. Он пишет: «Когда кадровых солдат выбили, вместо нации в деревне оказалась налицо этнографическая масса, которой до интересов Российского государства, по существу, не было никакого дела. Защищать родину она не пожелала». Увидеть в народе этнографическую массу может лишь человек, полностью разуверившийся в тех демократических, народолюбимых представлениях, в рамках которых в приличных интеллигентных семьях традиционно в России воспитывались дети. Впрочем, будем объективны: «Можно любить народ как некую генетическую тебе этнографическую общность, но при этом оставлять за собой право на отличную от общепринятой оценку его достоинств и недостатков». Может быть, поэтому спустя уже много лет после Гражданской войны Н. Раевский так и остается верен своим убеждениям, выстраданным в годы революции.

«Я лично принадлежал (и поныне принадлежу) к тому меньшинству белых офицеров, которое, твердо веря в Россию, в то же время потеряло веру в государственный разум русских масс или, точнее, русских крестьян. По крайней мере при всем желании усмотреть разумность в действиях крестьянских масс в 1917-20 гг. мы его обнаружить не можем». Читая воспоминания, не надо забывать, что перед нами записки строевого офицера, убежденного противника большевизма. «Иначе вообще, – делает он вывод, – ни о какой борьбе говорить нечего. Деревня подчинится только силе. Успокоение наступит тогда, когда в деревне поймут, “что бороться с властью безнадежно”».

И в то же время автор всячески оправдывается перед самим

собой за свой альянс с немцами, проводит в связи с этим исторические параллели, например, с настроениями русских людей XVII века, бившихся против «воров» бок о бок с пришельцами шведами под водительством Скопина-Шуйского и Делагарди. Но все это слабое оправдание. Что ни говори, но немецко-украинские экспедиции по усмирению мужиков носили откровенно карательный характер. Не случайно описание одного из таких походов автор заканчивает словами: «Все-таки на душе был разлад».

Главный же вывод, к которому пришел Н. Раевский, пройдя через горнило Гражданской войны, состоит в следующем: дело не в национальности или классовой принадлежности ее участников, а в силе зверского начала в человеческой природе вообще. Гражданская война с ее ужасами, бесконечно более страшными, чем ужасы обычной войны, совершенно не по плечу обыкновенным людям. Н. Раевский честно пишет о судьбе своего поколения, мужественно защищавшего родину на фронтах Великой войны, которую десятилетиями мы по-школярски называли империалистической, ликуя при этом, что она превратилась вскоре в гражданскую. Он педантично, со скрупулезностью ученого-естественника исследует исторические и иные обстоятельства, приведшие к «разладу» народной жизни, к самоистреблению лучших, наиболее деятельных и молодых ее сил, оказавшихся в непримиримо враждебном противостоянии. Такова логика всех революционных войн и их неизбежный национально-исторический исход: вначале кризис государственности, паралич властных структур, «смута» и страшная Гражданская война, где не может быть победителей и побежденных. Народ выходит из этой войны обессиленным и ожесточенным, в этом состоянии он готов себя отдать в руки любому диктатору, лишь бы тот мог обеспечить относительный порядок в стране, и снова становится жертвой политической борьбы и различных исторических экспериментов.

«Народ не с нами» – к этому горькому выводу пришли герои М. Булгакова, и в этом видят они основную причину обреченности Белого движения. Падение гетманщины на Украине не дает оснований так думать Н. Раевскому и его товарищам, а потому они решают «уехать в Южную армию и увезти туда своих людей». Хотя так же, как и на героев Булгакова, «генеральские свары, интриганство, бестолочь, хлеборобская темнота, непонимание грозящей всем нам опасности, – пишет Н. Раевский, – производили на меня тяжелое впечатление».

Вспоминая осень 1918 года, когда уезжали «сотоварищи» в Южную армию, он цитирует Ремарка: «Дни стояли, как золотые

ангелы…» Золотой элегический отсвет этой фразы трагически оттеняет простые и мужественные слова следующей: «Хорошо, и совсем не хочется умирать, не хочется и все-таки надо…»

Пройдет совсем немного лет, и каким же далеким и наивным временем покажется Н. Раевскому восемнадцатый год. «Увы, колесо вертится только в одну сторону к России новой, России неведомого будущего, – запишет он в дневнике, – а старой, милой России никакая сила не вернет». Эта запись сделана им в 1922 году во время болгарского стояния остатков врангелевской армии. Вот когда наконец пришло прозрение, а тогда, в 1918 году, еще казалось возможным повернуть колесо истории вспять и вернуть, пусть даже ценою собственной жизни, милую довоенную жизнь.

1918 год

Предисловие

Настоящая работа посвящена главным образом моей военной службе в конце существования старой армии и затем в Украинской Народной Республике и Украинской Державе при гетмане Скоропадском. Она заканчивается отъездом в Южную Армию, откуда я впоследствии перешел в Добровольческую.

Под красное знамя революции я, как и большинство офицеров, попал не по своей воле. Мотивы, по которым я считал возможным служить у украинцев, оставаясь русским, я излагаю в тексте моей работы. Не мне судить, правильно ли я поступал. Во всяком случае, на украинскую службу я пошел вполне сознательно и добровольно. Большая часть записок посвящена именно тому, что я наблюдал и пережил на Украине в 1918 г. Мне пришлось участвовать в некоторых интересных и пока мало освещенных в печати событиях. Удалось также близко видеть и лично знать ряд людей, игравших значительную роль в делах того времени. Ближе чем большинство офицеров, живших на Украине, я имел случай наблюдать германскую оккупационную (официально союзную) армию. Думаю поэтому, что мои записки могут представить некоторый интерес для исследователя, который занялся бы впоследствии событиями, разыгравшимися на Юге России в 1918 г.

Боюсь, однако, что исследователь местами заподозрит автора в сочинительстве. Уже и сейчас, всего через 20 лет после описываемых событий, мне самому некоторые детали кажутся чьей-то затейливой фантазией. Между тем я передаю как могу точно и беспристрастно то, что видел и слышал. Не моя вина, если в то время невозможное действительно стало возможным и обычно тусклая жизнь расцветилась порой совсем фантастическими узорами.

В отношении чужих рассказов, которые я излагаю, иногда у меня нет уверенности в том, что они соответствуют истине. В таких случаях я всегда делаю соответствующую оговорку. Я считал тем не менее необходимым, поскольку позволяет память, точно воспроизвести эти рассказы. Некоторые интересные исторические детали могут быть сохранены только таким образом. Документы в большинстве случаев погибли. Когда это возможно, я указываю путь, пользуясь которым исследователь мог бы произвести соответствующую проверку.

Очень много внимания я уделяю быту воинских частей описываемого времени. Обычно в мемуарных работах его касаются мало, между тем, как мне кажется, бытовые

подробности также представляют немалый интерес.

Три главы моих воспоминаний я посвятил очерку политических настроений русской учащейся молодежи в период от 1905 до 1915 г. Мне казалось, что хоть сколько-нибудь приблизиться к пониманию русской Гражданской войны невозможно без учета коренного изменения настроений русской молодой интеллигенции, постепенно происходившего в течение этого десятилетия. Эти главы являются вместе с тем введением к другим моим работам, приобретенным Русским заграничным историческим архивом.

В 1921–1922 гг., вскоре после эвакуации, я записал в сыром виде свои, еще очень свежие тогда, воспоминания об учащейся молодежи на Гражданской войне. Попутно с главной темой эта запись содержала немало других наблюдений политического и бытового характера. Я предполагал, однако, сначала обработать свою рукопись в беллетристической форме и поэтому внес в нее целый ряд мест, которые в работе исторического характера были бы неуместны. В настоящих воспоминаниях я неоднократно цитирую первоначальную запись, но исключаю из нее беллетристические отступления[90].

Все без исключения лица, упоминаемые в настоящих воспоминаниях, действительно существовали и названы своими настоящими именами.

Я считаю своей приятной обязанностью поблагодарить мою всегдашнюю помощницу Ирину Дмитриевну Вергун, переписавшую и прокорректировавшую настоящую работу.

Глава I

А сейчас… жуткий липкий позор. Каждый день по грязному, избитому бесчисленными обозами шоссе мимо домика, в котором мы живем, десятками, сотнями тянутся в тыл беспогонные, нестриженые злобные фигуры. Бросают опаршивевших, дохнущих от голода лошадей и бегут, бегут, бегут.

Государственный разум великого народа русского… Свободная воля свободных граждан… И глухая, темная злоба закипает в груди – и к тем, которые развратили и предали, и к тем, которые развратились и предали.

Как-то рано утром пришли проститься с нами, офицерами, несколько старых солдат, проделавших всю войну и теперь уезжавших домой. До конца они держались, до конца не были большевиками. На прощание расплакались. У командира[91] тоже текли слезы.

А я смог только сказать:

– Видно, не судьба… Поезжайте домой, делайте, что хотите – вы свой долг исполнили… Только не поступайте в красную гвардию – иначе придется нам драться, а я больше всего этого не хочу…

Эта запись сделана еще по свежей памяти – осенью 1921 г. и относится к последним месяцам существования 3-й батареи 1-го Финляндского горного артиллерийского дивизиона, в которой я имел честь служить в Великую войну.

Большевистский переворот застал нас на Румынском фронте. Последняя позиция была недалеко от местечка Фрасин в Северной Буковине. Как и в большинстве артиллерийских частей, расформирование батареи проходило спокойно. Никаким оскорблениям мы, офицеры, не подвергались, но тем не менее моральное наше состояние было ужасное. Армия умирала. Россия разваливалась. Впоследствии пришлось пережить много печальных дней, но никогда не было так тяжело, как зимой 1917/18 гг.

После Рождества дивизион отошел в Бессарабию. Новый, 1918 г. встретили в глухой румынской деревне. Поздно вечером пришли в нетопленую хату. Вестовые долго не могли растопить печки. За десять минут до полуночи проснулись от криков хозяйки: «Роса! Роса! (огонь! огонь!)» От сильного жара разгорелась стена. Кто-то сказал: «Господа, значит, весь год будет в огне».

Стали по квартирам в деревнях недалеко от станции Рыбница. Расформирование продолжалось.

Проданы с аукциона крестьянам лошади. Хорошо хоть, что не пришлось бросать их на голодную смерть – слишком тяжело видеть умирающих от голода животных со страдальческими глазами и неверными, беспомощными движениями.

Люди по крайней мере жаловаться могут, а эти бродят стадами по обледеневшим полям, пока не свалятся где-нибудь у дороги. Лежит такой живой труп, из последних сил поднимает голову при стуке едущей мимо повозки. Косит на людей завалившиеся глаза. Лежит, пока они не остекленеют и не осклабятся желтые длинные зубы.

Кто видел прифронтовые лошадиные кладбища, у того они, наверное, никогда не изгладятся из памяти.

Когда Бессарабию начали занимать румыны, дивизион перешел в Подольскую губернию. Мы уже, собственно, перестали быть артиллерийской частью. Солдаты решили, что с пушками больше не стоит возиться. Все равно расформировываемся. Пришлось сдать под расписку сельскому совету. Кому-то нужно было сдать.

Восемь горных скорострелок, прослуживших всю войну, остались на деревенском дворе. Было мучительно проезжать мимо. Кажется, даже некоторым из солдат было не по себе.

В Подолии продолжали возраст за возрастом отпускать людей. Многие, не дождавшись очереди, уходили сами. Батарея продавала последних лошадей (деньги были потом внесены в Государственный банк). Дольше всего оставались офицерские. Отпустили уборщиков, ухаживали сами. Жалко было расставаться. Кто был на войне, знает, как люди привыкают к животным. Я проездил на моем Зефире двадцать один месяц. Побывали за это время на трех фронтах – от Стохода до Марешешти. Всюду, во всех боях, всегда гнедой Зефир. Очень любил сахар и ходил за мной, как собака, тыкаясь мордой в карман френча.

Продавать крестьянам не хотелось. Я и мой товарищ штабс-капитан барон Е. В. Шиллинг решили отдать коней офицерам польского полка, стоявшего поблизости. Приехал пожилой капитан с ординарцем. Последний раз накормили Зефира и рыжую Игрушку сахаром. Вежливый, хорошо одетый солдат с белым орлом на фуражке взял лошадей. С места тронул рысью. Мы с товарищем не расплакались только потому, что было стыдно друг друга.

Когда остались одни писаря и вестовые (они по собственному желанию уехали последними), мы для окончания канцелярской отчетности и журнала военных действий отправились в город Ольвиополь. Выбрали его по собственной инициативе, так как

приказаний уже получать было неоткуда. Рассчитывали, что в маленьком городке будет спокойнее и безопаснее, чем в деревне, и не ошиблись. Советская власть была в Ольвиополе совсем мирным совдепом, состоявшим, насколько можно было судить, из местных людей. Для меня лично это было первое и последнее советское учреждение, с которым пришлось иметь дело. Совет помещался в зале городской управы. В канцелярии стояла пирамида с винтовками и один явно испорченный пулемет, но никаких вооруженных сил, к счастью, не было. К нам отнеслись внимательно. Отвели помещение в отличном здании мужской гимназии. Уговаривали даже после окончания работы остаться в Ольвиополе и организовать городскую милицию. Мы заявили, что вернемся по домам, и совет оставил нас в покое.

Штат горных батарей очень большой. У нас было восемь офицеров – четверо кадровых, остальные военного времени, все прошедшие артиллерийские училища. Кроме того, артиллерийский техник (военный чиновник) и два врача – медицинский и ветеринарный. Никому из нас не было сорока лет (командиру и 1-му старшему офицеру 36–37, двум другим кадровым 25–26, мне 23, остальным 20–22). Стоит еще отметить, что все мы, четверо офицеров военного времени, до войны были студентами или учениками средних школ. Поступили в училища добровольно. Как и в большинстве батарей, жили дружной семьей. Ни до, ни после революции никакой розни между кадровыми и некадровиками не было.

На наших настроениях в период начала Гражданской войны стоит остановиться подробнее. Как я потом не раз имел случай убедиться из разговоров, они далеко не были исключением. То же самое переживали очень и очень многие русские офицеры, имевшие несчастье видеть смерть армии.

Все кончено, все надежды разбиты. Темная ночь впереди. И мы, молодые здоровые люди, чувствовали себя живыми покойниками. Ничего не хотелось делать. Руки опустились. Физически мы не пострадали от большевизма, не было личных счетов с солдатами, но никогда не было такого глухого, беспросветного отчаяния, как в то время. Бесцельно бродили по глухим городским улицам, часами слонялись по длинным светлым коридорам… И та тёмная, давящая злоба, которая появилась в дни развала фронта, росла и крепла. Один вид серых шинелей вызывал слепую болезненную ненависть. Стыдно было чувствовать себя русским. Стыдно было сознавать, что в твоих жилах течет та же кровь и ты говоришь на том же языке, что и те, которые братались с врагом, бросили фронт и разбежались по домам, грабя и разрушая все на своем пути.

Тогда еще нельзя было утешать себя мыслью о том, что и враги заболели той же позорной болезнью.

И пусть поймут те, которые остались в стороне от борьбы, отчего первые добровольцы поголовно истребляли попадавшихся к ним в руки солдат – товарищей. Не за себя мстили они и даже не за своих близких. Мстили страшной местью за поруганную мечту о Великой и Свободной Родине…

Часто по вечерам, когда полная луна бросала яркие решетчатые пятна на паркет коридора, мы усаживались на широкие мраморные подоконники и говорили вполголоса… Говорили без конца. Проклинали всех и все.

Почему мы не уехали за Дон? Об отряде полковника Дроздовского мы не слышали ничего, несмотря на то, что были на Румынском фронте. Но газеты, хоть неясно, туманно, но все-таки упоминали о «корниловских бандах». Почему же мы не поехали туда? Иногда кто-нибудь из нашей маленькой группы подымал об этом разговор и все, не сговариваясь, махали на него руками.

– Довольно!.. К черту… Опять с этой сволочью возиться…

– Противно…

– Все равно ничего не выйдет!

Да, было противно. Было страшное, непобедимое отвращение к русской массе. Не хотелось «путаться».

Будущий исследователь, пожалуй, усомнится в том, что офицерам развалившейся армии могло быть стыдно чувствовать себя русскими. Я, однако, готов утверждать, что это чувство шевелилось в душе у многих. Некоторые говорили вслух – отлично это помню:

– Повезло же родиться русским… ведь, возьмите, – французы, немцы, китайцы – ведь люди как люди, одни мы какая-то дрянь…

Завидовали уехавшим в заграничные командировки. В очень откровенные и горькие минуты, случалось, завидовали и мертвым.

При всем этом, может быть, за очень редкими исключениями, мы (я имею в виду не только моих товарищей по батарее и дивизиону, но и всех вообще офицеров, с которыми приходилось встречаться в период развала), тосковали по умирающей России, а не по умершей, как казалось, навсегда, монархии. В офицерской среде того времени было чрезвычайно сильно убеждение в моральной ответственности императорского правительства за события, последовавшие за его падением. Часто приходилось слышать: Вот до чего довели…» Впоследствии взгляды на вещи очень изменились, и сейчас (1932 г.), как мне кажется, большинство бывших военных, вспоминая прошлое, либо неискренни, либо основательно забыли свои подлинные слова и

мысли 1917–1918 гг. Генерал Деникин глубоко прав, утверждая, что офицеры в массе февральскую революцию приняли и о восстановлении монархии не думали. Сначала искренне уверовали в национальный характер переворота. Тогда слово «народ» еще имело и для правых и для левых некую магическую силу, и мы все враз решили, что «народ» сверг бесталанное правительство и заставил отречься неудачного царя, чтобы «взять власть в свои руки» и «довести войну до победного конца». Могут возразить, что таково было настроение офицеров из студентов и гимназистов (генерал Краснов, как известно, видит в них один из корней зла), а не кадровых военных. Готов утверждать противное. Количество кадровых офицеров, не принявших нового строя и не считавших возможным при нем служить, было ничтожно. Перевороту сочувствовали и – надо называть вещи своими именами – ему обрадовались.

Как сейчас помню тот мартовский день, когда на батарее было получено известие о революции. Стояли высоко в горах (высота 1526, недалеко от Дорна-Ватры). Внизу, в долине речки Пыреу-урсулуй («Медвежий поток»), был построен для офицеров и денщиков маленький дом. На позиции, в землянке, постоянно жили первый старший офицер (капитан А. А. Ауэ) и двое младших (поручик А. В. Черняк и я). От нечего делать (в заваленных снегом лесистых Карпатах боевые действия были почти невозможными) часто сидели у полевого телефона, слушая разговоры-на участке. Даже маленькие фронтальные новости помогали убивать время.

На этот раз капитан Ауэ, едва взяв трубку, махнул на нас рукой:

– Молодые, тише! Передается очень интересная телефонограмма…

Мы замолчали и ждали. У капитана было сияющее лицо. Через несколько минут он сказал нам, в чем дело. Старая власть пала. Образовано Временное правительство. Ночью телефон опять запищал. Передавали манифест об отречении государя. Я сказал:

– Все-таки жаль…

Старший офицер не соглашался.

– Николай II хорошо сделал, что отрекся. России будет лучше.

Слов не помню, но смысл этот. Капитан Ауэ был немолодой (лет сорок) кадровый офицер очень консервативных взглядов, иногда грешивший к тому же мордобойством, которое, вообще говоря, в артиллерии к началу Великой войны было выведено».

Через несколько дней я спустился в долину «Медвежьего потока». Наш дорогой командир И. И. Зубовский поздравил меня

с новым строем и сказал:

– Как я вам завидую…

– Почему?

– Дожили до русской свободы в двадцать два года, а мне скоро сорок…

Он пал смертью храбрых в бою под Каховкой осенью 1920 г. На Гражданской войне командовал одной из батарей 34-й артиллерийской бригады.

Тогда же, в один из первых дней революции, телефонист на наблюдательном пункте протянул мне трубку.

– Господин поручик, хотите послушать?

– Что там?

– Начальник дивизии разговаривает с командиром полка об устройстве государства. Уже три часа разговаривает…

Это напоминало мне текст из Цицерона. «Придя к нему в гости, в продолжение трех дней рассуждал о государстве».

С командиром я много раз говорил по душе. Оказалось, Иннокентий Иннокентьевич еще с кадетских лет мечтал о Российской республике. Став офицером, взглядов своих не изменил, но, связанный долгом присяги, не считал себя вправе участвовать в каких-либо антиправительственных организациях. К красным флагам он, как и мы все, относился с отвращением. Хотел революции под трехцветным знаменем (тоже очень распространенная среди офицеров в 1917 г. и в начале 1918 г. идея). Мне было тяжело видеть, как страдал этот навсегда мне дорогой человек в месяцы распада. Постепенно терял, как и мы, младшие, веру в русского солдата, в русского мужика, наконец, в самую Россию. Было от чего.

Я подробно останавливаюсь на состоянии духа средних офицеров, какими мы все были в конце Великой и в начале Гражданской войны, так как, с одной стороны, оно, как мне кажется, сыграло первостепенную роль, по крайней мере, в первый год борьбы, а с другой – в богатой уже мемуарной литературе, касающейся 1917–1918 гг., на этот счет есть только очень скудные указания. Между тем будущие исследователи несомненно зададутся вопросом – почему в начале Гражданской войны офицеры в общем были так пассивны?

Хорошо известно, что с генералом Корниловым в 1-й Кубанский поход вышло из Ростова лишь незначительное меньшинство оказавшихся там офицеров, несмотря на то, что приход большевиков грозил им гибелью. Точно так же отряд полковника Дроздовского, составившийся главным образом из офицеров Румынского фронта и проделавший поход Яссы – Дон, но по условиям своего формирования несомненно мог быть

гораздо более многочисленным. Кроме того, во время пути через Украину отряд хотя и увеличился, но это увеличение происходило за счет учащихся высших и средних школ. Офицеры предпочитали оставаться по городам, прятаться, нередко и гибнуть у себя по домам. Воли к борьбе у большинства не было.

Я уже изложил, как и почему ее потеряла та маленькая ячейка, к которой я принадлежал. Чтобы бороться, надо верить. В тот момент веры у нас не было, и бороться мы не могли. То же самое, насколько я мог видеть, было и в других частях. Тем больше, конечно, чести тем немногим, которые сразу нашли в себе силы справиться с апатией и взяться за оружие. Постепенно она прошла и у нас, офицеров третьей батареи 1-го Финляндского горного артиллерийского дивизиона. У одних раньше, у других позже. Во всяком случае, из шести оставшихся после расформирования на юге двое погибли в боях с красными (капитан, впоследствии полковник Зубовский и шт. капитан Михальчук – последний под Ставрополем осенью 1918 г.), один умер от сыпняка, трое (полковник Ауэ, подполковник барон Шиллинг и я) встретились в Галлиполи. Все поступили в армию до издания приказа о мобилизации офицеров. Судьба вернувшихся на север неизвестна.

Любопытно отметить, что в 1919 г. вера в «народ» (в народническом смысле слова) воскресла у большинства офицеров Добровольческой армии с чрезвычайной силой. Ее, судя по всему, разделял и генерал Деникин – иначе организация воинских частей получила бы другой характер, да, вероятно, и стратегические задачи иначе бы ставились.

Я лично принадлежал (и поныне принадлежу) к тому меньшинству белых офицеров, которые, твердо веря в Россию, в то же время потеряли веру в государственный разум русских масс или, точнее, русских крестьян. По крайней мере, при всем желании усмотреть разумность в действиях крестьянских масс в 1917–1920 гг. мы ее обнаружить не можем. Исторические процессы, понятно, не останавливаются. Мужики 1932 г. не те, что были в первые годы революции, через десять – пятнадцать лет разница будет еще больше, но это не изменяет моего основного впечатления от событий 1917–1918 гг. Когда кадровых солдат выбили, вместо нации в деревне оказалась налицо этнографическая масса, которой до интересов Российского государства, по существу, не было никакого дела. Защищать родину она не пожелала.

Я не могу забыть, как в день заключения перемирия фейерверкер нашей батареи, как оказалось после революции, давнишний член партии с. р., говорил мне со слезами на глазах:

– Господин поручик, разве же это народ? – Приходится повторить еще раз – было от чего прийти в отчаянье…

Итак, настроение «средних» офицеров в период начала Гражданской войны можно, как мне кажется, охарактеризовать следующим образом:

1) сильнейшее разочарование;

2) ненависть к солдатам-большевикам, бросившим фронт и погубившим Россию;

3) душевная усталость и апатия;

4) у некоторых – потеря веры в Россию;

5) как следствие – непринятие участия в вооруженной борьбе даже когда к этому предоставлялась возможность;

6) отсутствие у огромного большинства монархических устремлений.

Глава II

В последних числах февраля командир подписал последний приказ – о расформировании батареи. Она была сформирована в царствование императора Павла I (под другим названием), участвовала в Отечественной войне. Если память не обманывает, за битву под Лейпцигом получила серебряные трубы. Кончила свое больше чем столетнее существование в Ольвиополё. Все бумаги, в том числе журнал военных действий, мы сдали городской управе. Батарейный образ, найденный в Восточной Пруссии на поле сражения, командир оставил у себя.

Наступил день прощания. Разъезжались по домам. Я прослужил в батарее почти два года. Когда приехал в начале мая 1916 г. на фронт, застал дружную, издавна сложившуюся семью и быстро в нее вошел. Кто был на войне, знает, что такое боевое братство. Расставаясь, мы ясно чувствовали, что батарейная семья распадается навсегда. Было такое чувство, что кого-то хороним.

Мои близкие жили в это время в Лубнах. Когда садился на поезд, совсем не был уверен, что доеду. Офицеров, возвращавшихся по домам, часто грабили и убивали. Я решил рискнуть – уселся в теплушку, прицепленную к эшелону красной гвардии. Рассчитывал, что «своих» пассажиров, вероятно, не тронут. Для большей верности нанял унтер-офицера драгуна, ехавшего в том же вагоне, следить за моими вещами. Обошлось благополучно, хотя охранитель слушал ночью разговор соседей – демобилизованных солдат – насчет того, что мои вещи следовало бы поделить. Удалось даже провезти оружие – наган, браунинг, два карабина и винчестер. На станции Лубны красноармеец-караульный хотел было отобрать, но я ему показал разрешение на право ношения оружия, выданное мирным ольвиопольским советом, с аккуратной описью всего моего арсенала. Парень прочел и заявил:

– Правильное удостоверение. Проходите, товарищ.

Ольвиопольский совет был неосторожен – оружие я потом увез в Южную Армию.

По дороге из Ольвиополя в Лубны я с интересом присматривался к эшелонам красногвардейцев, отходившим на восток. Революционные месяцы я почти целиком провел за границей. Красную гвардию видел впервые. В большинстве это были подростки или очень молодые парни, не служившие раньше в армии. С одним я разговорился. Узнал, что службой доволен, потому что, мол, платят очень хорошо и харч тоже хороший.

На одной из станций красноармейцы грузили лошадей. Это

было очень комичное зрелище. 17-18-летние парнишки в парадных гусарских мундирах, взятых, очевидно, из разграбленного цейхгауза, тянули под уздцы кровных жеребцов, захваченных на каком-то заводе, и трусливо озирались на горячившихся великолепных животных, совершенно не привыкших к вагонам. Распоряжался погрузкой штатский с большим револьвером у пояса, по всему судя, не имевший понятия об обращении с лошадьми. Фронтовиков среди красноармейцев почти не было, и получилось впечатление, что боевой силы это воинство не имеет.

На той же станции я увидел первый «бронепоезд». На обыкновенной платформе стояло полевое орудие наподобие деревянного станка. Было, однако, ясно, что от первого же выстрела пушка сорвется с этого сооружения и перекалечит прислугу. Зато вагоны были великолепны – спальные пульманы первого класса с грозно торчавшими из окон пулеметами. На площадке одного из вагонов стоял пьяный молодой человек в офицерской шинели и новеньком снаряжении. По-видимому, это был пехотный прапорщик, поступивший к большевикам – в то время явление чрезвычайно редкое.

Первое, что бросилось в глаза, когда ехал с Лубенского вокзала домой, были огромные белые афиши «Всем, всем, всем». Велел извозчику остановиться. Предупреждение «наемникам англо-французского капитала», которые «покушались лишить рабочих и крестьян завоеванной ими свободы», что от суда трудового народа они не уйдут. Всем защитникам революции предлагалось истребить белогвардейскую змею. Понять, о чем идет речь, все-таки было трудно. Дома мне объяснили. У брата-семиклассника сидел товарищ гимназист с перевязанной рукой. На бинте виднелись коричневые пятна просочившейся крови.

Оказывается, ночью группа офицеров и учащихся старших классов – все больше офицерских братьев – развинтила рельсы на спуске к Суле, недалеко от моста. Рассчитывали, что очередной красноармейский эшелон слетит в реку, или, по крайней мере, сойдет с рельс и затормозит все движение. В Лубнах знали, что с востока идут украинцы и германцы. В городе то и дело появлялись новые и новые красные отряды, отходившие по железной дороге на Полтаву.

План не удался – машинист как-то догадался об опасности и успел вовремя затормозить. Красногвардейцы стали выскакивать из теплушек. Повстанцы, рассыпавшиеся в цепь поблизости от полотна, открыли огонь. Темный силуэт поезда с несколькими огоньками фонарей был еле виден, но все-таки потеряли несколько человек убитыми и ранеными. Офицерам и учащимся,

отстреливаясь на ходу, удалось благополучно уйти. Винтовки они закопали, обернув промасленными тряпками. На следующий день военные как ни в чем не бывало гуляли по главной улице, а гимназисты мирно сидели на партах. Тот, которому пуля оцарапала руку, заявил, что обрезался кухонным ножом.

Участники покушения так и не были пойманы, хотя все остались в Лубнах. Большевистская разведка работала еще очень неумело. Больше всего приходилось опасаться домашней прислуги. В 1918 г. во всех мало-мальски зажиточных семьях еще были кухарки и горничные, сплошь да рядом симпатизировавшие если не большевизму, то большевикам. Родители легко раненного гимназиста хотя и были уверены в своих девушках, но все-таки очень волновались. Предупредили их прямо – помните, расскажете кому-нибудь – панича сейчас же расстреляют…

Те немногие дни (не больше двух недель), которые я провел под красной властью, я почти все время сидел дома. Террора в Лубнах не было. Перед моим приездом, правда, было два-три самочинных убийства да случайная пуля во время салюта на похоронах какой-то жертвы революции пробила череп любопытному гимназисту, взобравшемуся на забор. Комендантом города состоял бывший товарищ брата по Каменец-Подольской гимназии Л. Филиппский. В гимназические годы мы, правда, жестоко бранились из-за «политики», но, надо отдать ему справедливость, этот молодой комиссар, очутившись у власти, вел себя вполне прилично и офицеров не преследовал. Через несколько дней после оставления красными Лубен его, как стало впоследствии известно, за что-то убили красногвардейцы. (Старший брат Филиппского – Иван был офицером Добровольческой армии, потерял на войне ногу и потом, оставшись против своей воли на советской территории, застрелился с тоски где-то на Кавказе.) Таким образом, сложившаяся в Лубнах обстановка была сравнительно сносной. Ходить по улицам все-таки не хотелось. По слухам, большевики собирались провести регистрацию всех бывших офицеров, и я старался поменьше попадаться на глаза «властям». Кроме того, просто было противно смотреть на распущенных, сплошь да рядом выпивших красногвардейцев, толпами шатавшихся по городу.

Мы жили недалеко от «Видов» – молодого парка, разбитого на высоком берегу Сулы, с которого видно было в хорошую погоду верст на тридцать. Иногда я ходил туда рано утром, пока на улицах никого нет, а большую часть дня обыкновенно лежал на кушетке и читал курс древней философии. После долгих военных месяцев и почти что в плену у врагов было приятно

следить за мыслями, ничего общего не имеющими с настоящим. Впрочем, настоящее, хочешь не хочешь, давало себя знать день ото дня сильнее и сильнее.

Всюду шли разговоры об украинцах и германцах. «Господа» старались не радоваться опять-таки, чтобы не заметила прислуга. Городские мещане дипломатично молчали. Мужики боялись немцев. В деревню никто в эти дни не ездил, но в Лубнах о деревенских настроениях было легко судить (как и во всех почти южнорусских городах, не исключая губернаторских) по тому, что говорилось на базаре. Базар имел, насколько можно судить, очень темное представление о приближающихся украинцах, но германцев в деревнях боялись сильно.

Лично у меня, как и у очень многих русских офицеров того времени, была большая душевная сумятица. К украинцам, несамостийникам, я никогда враждебно не относился, но, по правде сказать, раньше не принимал их всерьез. С детства привык, что в Каменец-Подольске от времени до времени устраиваются украинские концерты, гуляния по городскому саду, иногда выставки картин. Дома во мне воспитывали русский имперский патриотизм, но не великорусский шовинизм. Отец не раз брал меня с собой на эти украинские увеселения. Очень добродушно относился к приглашениям, подписанным обычно «Кость Солуха и Олекса Билорус». В обыкновенной жизни «Кость Солуха» был Константином Петровичем, отличным врачом, лечившим в течение ряда лет всю нашу семью. Мы были знакомы и домами, и я с детства привык к портретам Шевченко, вышитым полотенцам и ко всему, чему в украинских семьях быть полагается. Странно было слышать, что доктор говорил со своими детьми «на мове», но это почиталось безобидной блажью милого Константина Петровича. Язык я, кстати сказать, понимал отлично, с удовольствием прочел и перечел Шевченко, но говорить не умел совершенно: не к чему было.

В более серьезном аспекте я встретился с украинским движением во время распада фронта и, должен сказать, у меня, как и у моих товарищей по батарее, впечатление было положительное.

На пополнение корпуса осенью 1917 г. во Фрасин прислали украинскую маршевую роту (по всей вероятности, в составе имелись украинизированные части). В это время пополнения являлись обычно в разболтанно-революционном виде. Украинцы приехали в отличном порядке. На площади выстроились подтянутые вымуштрованные солдаты, отлично исполнявшие команды и отвечавшие на приветствия. Их желто-голубое знамя и крики «слава, слава, слава!» никакого враждебного чувства у нас

не вызывали. Мы видели надежный, или казавшийся надежным, островок среди анархической стихии.

Помню, что к формированию украинских частей Центральной Радой мы, офицеры, отнеслись сочувственно, солдаты наоборот. Они считали, что «Украина это контрреволюция». В этот момент они отчасти были правы. Если между антибольшевиками и контрреволюционерами ставить знак равенства, то совершенно несомненно, что после октябрьского переворота в ряды украинцев влилось очень много «контрреволюционеров». Насколько скромны были в то время наши желания, показывает разговор, который мне очень запомнился. В офицерской землянке читали вслух только что полученную газету. Между прочим, в ней было сообщение о том, что в украинской армии начальники, начиная с командиров батальонов, будут назначаться, а не выбираться, как у большевиков. Офицеры сразу оживились.

– Молодчина Петлюра!

– Башковитый парень…

Радовались всякому проблеску государственного чутья, и казалось, что у украинцев этого чутья немало. Эти будут сопротивляться большевикам… Помню мы, офицеры, заявили батарейному комитету перед отходом из Румынии на расформирование в Россию, что в украинцев ни в коем случае стрелять не будем. Необходимо подчеркнуть теперь же с полной ясностью, что в украинцах мы видели прежде всего силу, способную сопротивляться большевикам. Вопрос о самостийности как-то всерьез не ставился. Нам казалось, что отделение Украины от России есть просто нелепость и мыслящие иначе рано или поздно в этом сами убедятся. Отделение же Украины от большевиков надо всячески приветствовать, так как Север без Юга не продержится.

При всем этом в Лубнах, как я ни ждал изгнания большевиков, мысль о приходе украинцев не очень меня радовала. Все-таки самостийники и, Бог его знает, на сколько это времени…

Еще сложнее были чувства, связанные с ожиданием немцев. Я считал, что хотим мы этого или не хотим, но внешняя война бесповоротно кончилась, восстановление русского фронта абсолютно невозможно. Надо бороться с большевиками или, по крайней мере, не мешать тем, кто с ними борется. Все это так… Но как встретимся мы, побежденные и униженные, с победителями? Какими глазами будем смотреть на тех, в кого привыкли стрелять? Что, наконец, будет делать германское командование с русскими офицерами на оккупированной территории?

Сомнений было много. Одна только теоретически возможная мысль никогда не приходила в голову – а не следует ли при таких условиях уехать с красными. Я не уехал и никогда после об этом не жалел. Насколько я мог судить, все вообще противники большевиков оставались на очищаемой от них территории.

Глава III

Почти каждый день к брату приходили его товарищи гимназисты. Я с интересом их наблюдал. Сам кончал среднюю школу за год до Великой войны, но, присматриваясь к приятелям брата, чувствовал, что за пять лет учащаяся молодежь очень сильно изменилась. Теперь, когда в большом ходу термин «поколение», сказали бы, пожалуй, «во время войны выросло новое поколение». Мне, правда, было двадцать три, а «новым людям» лет по 17–18. Все больше сыновья маленьких чиновников, сельских батюшек, хуторян побогаче. Мало у кого из них были чисто личные причины ненавидеть большевиков. Еще кой-кого из хуторян успели пограбить свои же односельчане. Горожане в этой сравнительно тихой провинции пострадали сравнительно мало.

Однако у лубенских семиклассников была огромная и очень активная ненависть к большевикам, врагам России. С нетерпением ждали прихода украинцев и германцев. Читали ежедневные советские сводки, где описывались фантастические победы над Белой гвардией и «изменническими бандами гайдамаков». Не раз спрашивали меня с тревогой: «А не могут красные на самом деле отбить?»

Я успокаивал – не надо было большой военной опытности, чтобы понимать, что красная гвардия со своими самодельными бронепоездами и пьяными мальчишками под командой штатских людей германской армии не задержит. Что из себя представляют в данный момент украинские части, никто из нас, офицеров, живших в Лубнах, не знал. У учащихся не было и следов той депрессии, которая несомненно существовала в первое время после развала армии едва ли не у большинства офицеров. Гимназисты, которых я видел, психологически были готовы к тому, чтобы принять участие в вооруженной борьбе против большевиков. Я должен теперь же подчеркнуть очень характерное для всего восемнадцатого года настроение, существовавшее не у одной только учащейся молодежи. «Против кого» интересовало всех гораздо больше, чем «за кого». Молодые украинские националисты (в большинстве, правда, не сепаратисты) в Лубнах были главным образом среди учеников семинарии и земледельческого училища. Эти вполне сознательно хотели драться за Украину против большевиков. Преобладающее же большинство к украинскому движению относилось более или менее равнодушно (изредка – резко враждебно). Мечтали об освобождении, по крайней мере, Юга России от красных, а под каким флагом и какими силами, безразлично.

Во всяком случае, официальная украинская концепция (в те времена, правда, не выдвигавшаяся) о том, что идет война не с большевиками, а с «русскими», показалась бы в Лубнах, например, чудовищной нелепостью. Думаю, что весной 1918 г. ответственные украинские деятели сами отлично это понимали. По крайней мере, все воззвания, расклеенные сейчас же после взятия города, призывали бороться именно с большевиками.

Кроме моего брата, ушедшего с шестого класса в ударный батальон и успевшего получить два ранения, никто из молодой компании, собравшейся у нас дома, на войне не был. И все-таки эти юноши в черных куртках, галифе и высоких сапогах (гимназическая мода на западе и на юге России после отмены обязательной формы), психологически уже были солдатами антибольшевистской армии, готовыми сбросить ученическую шкурку. Не побывав на фронте, они привыкли с детских лет к мысли о войне и об опасности. Переход из мирной, школьной жизни, в совершенно иной воинский мир, который очень нелегко давался моим ровесникам, даже и добровольцам, от «нового поколения» требовал гораздо меньше внутренних усилий.

Весь душевный склад молодежи, выросшей во время войны, был цельнее и проще. В 1914–1915 гг. многие из студентов-добровольцев прежде чем подавать прошение в военное училище или зачислиться вольноопределяющимися в часть, не раз спрашивали свою совесть, следует или не следует, можно или нельзя. Является ли нравственно допустимым убивать людей, защищая родину? Что выше – человечество или нация? «Левые» думали о том, можно ли идти на перемирие с царским правительством. Всех почти мучила мысль об огорчении, причиняемом близким… В той или иной мере уход на войну был сложной внутренней драмой и требовал переоценки многих и многих привычных понятий.

Мне лично переход от мирной штатской жизни к участию в войне тоже дался нелегко, хотя антиимпериалистом я никогда не был. При всем своем преклонении перед гением Толстого-писателя я уже в гимназические годы считал изрядной нелепостью проповедуемое им непротивление злу насилием.

Мой, покойный ныне, отец уже во времена большевистского владычества стал смотреть на войну как на явление имманентное человеческой природе, отвергать которое бесполезно и безнадежно. С юношеских лет и почти до смерти он, как и его братья, был убежденным пацифистом.

«Матери ненавидят войну… «Bella matribus detestate». Моя мама не была исключением, но у нее глубокий, почти религиозный, всепроникающий патриотизм был сильнее

отвращения к войне и страха за детей. Впрочем, на одно мгновение и отец, казалось, переменил свои взгляды. В нем, горячем, впечатлительном человеке, заговорили другие чувства. Уже почти двадцать лет прошло с того вечера, а помню его до мелочей. Отец разбудил меня и сказал взволнованным и торжественным голосом:

– Ну, Коля, событие. Германия объявила нам войну.

Помолчал, посмотрел на меня и сказал то, чего я совсем не ожидал: – Тебе двадцать лет… Не поступишь ли ты добровольцем?

Потом улыбнулся и припомнил стих Горация:

– Dulace et decorum est pro patria mori… (Счастлива и благородна смерть за родину).

Скажи я в тот момент, что хочу, я бы уже, вероятно, недель через шесть попал бы в бой. Но восемнадцатого июля 1914 г. я ничего не сказал. Очень интересовался событиями, но, казалось, что война сама по себе, а я, студент первого курса Естественного факультета и автор статейки «К фауне Macrolepidoptera Подолии», сам по себе. И совсем не хотелось mori даже pro patria.

Через полтора месяца мы, пожив в Виннице, куда был эвакуирован окружной суд, – отец был членом суда, – опять вернулись в Каменец-Подольск. Прежде всего пошел смотреть «следы боев». В городе их было немного. Несколько легких шрапнелей попали в здание мужской гимназии. Поцарапали штукатурку. Выбили несколько стекол. Сторожа показали мне подобранные во дворе стаканы с медными поясками, круглые, черные пули. Я представил себе, как летают в воздухе эти тяжелые стальные штуки, как они визжат и убивают людей. Еще раз подумал про себя: «Нет, я не способен… Надо быть героем…»

Потом, много позже, оказалось, что привыкнуть совсем нетрудно… и не только к трехдюймовкам.

Осенние и зимние месяцы 1914–1915 гг. вспоминаю, как время непрерывной внутренней борьбы. С одной стороны, я все сильнее и сильнее чувствовал, что ходить на лекции, работать в лабораториях, определять бабочек в музее Академии наук я не могу. Все мысли были на войне. А вместе с тем я сознавал, что к этой привычной, милой жизни крепко привязан и очень тяжело от нее оторваться. И потом ежедневные списки убитых и раненых, траур в знакомых семьях и мысль о тяжелых стальных стаканах в воздухе…

Около Рождества тяжело заболел отец. Пришлось бросить все и ехать в Каменец. Несколько недель казалось, что конец неизбежен. Я не мог поступить в военное училище, о чем уже заговаривал было с родными в Петрограде. Потом отцу стало

лучше. Я вернулся в Петроград и началось прежнее. С одной стороны, с другой стороны… Решил дело случай. В первый год войны было принято перед началом представлений в театрах играть гимны союзных держав. Кусочек «Марсельезы», кусочек «God save the king», потом «Brabancoone» и тягучая Японская мелодия. Кусевицкий отступил от традиции. В начале концерта исполнял только один какой-нибудь гимн. Я попал на «Марсельезу». Много раз с тех пор слышал боевую песню Руже-де-Лилля и в России, и во Франции, и в других странах, но нигде и никогда с таким огнем и каким-то восторженным самоотвержением не пели скрипки, как в тот вечер в белом зале Дворянского собрания. Я чувствовал, как с эстрады бегут радостные и гневные, настойчиво зовущие волны:

– Oux armes cityoynes!..

Горло сжимало. И еще не кончилась «Марсельеза», я решил – завтра напишу в Каменец, что больше не могу. Так и сделал.

Но когда с университетом было покончено и я, юнкер Михайловского артиллерийского училища, упаковывал студенческий костюм, чтобы отослать его домой, опять почувствовал в сердце острую резь. Подумал: «Точно похороны…»

Не мог привыкнуть к черным мраморным плитам на стенах училищной церкви: поручик… капитан… полковник… подпоручик… подпоручик… смертью храбрых, смертью храбрых… смертью храбрых… Жутко становилось от гравюр в «бесконечном» коридоре училища. Трупы, трупы… смерть, смерть… Одна особенно волновала. Полковник-гусар за столом. Наклонил голову. От свечи светлые блики на лице. Рядом на кровати труп молодого офицера с перевязанной головой, «Der Sohn».

Я пробыл на Великой и Гражданской войнах сорок четыре месяца. На «беззаветную храбрость» не претендую. Но среднее мужество, необходимое для войны, у меня было. По крайней мере, через три недели после первого боя (я получил боевое крещение во время Брусиловского прорыва) меня по инициативе пехотного начальства представили к высшей (кроме статутных) награде, которую может получить младший офицер – ордену Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. Командир полка считал, что следует представить к Георгиевскому оружию, но командир батареи решил, что оружие по молодости лет и чину прапорщика не пройдет (не прошел, правда, и Владимир). Во всяком случае, попав в бой, я почувствовал, что для своей роли младшего офицера и морально и технически я подготовлен.

Так же было и со многими из моих товарищей – сначала колебания, мысль о стальных стаканах, мраморные страшные доски, «Der Sohn»… Потом работа над собой и служба наравне с

теми, кто с детства готовился к военной карьере.

Но переход, повторяю, длинный и очень нелегкий.

Еще одно обстоятельство должен отметить. На фронте, подавая команду «огонь», я никогда не чувствовал уколов совести. В самых откровенных разговорах не слышал об этом и от других офицеров. Когда стреляешь и в особенности когда стреляешь удачно, появляется чувство, весьма близкое к спортивному увлечению. Отлично сознаю, что культурному человеку, не бывшему в бою, это должно казаться невероятным, но тем не менее, каждый почти офицер, задумывавшийся над своими переживаниями, скажет то же самое. Угрызения совести по поводу убитых врагов, насколько я мог убедиться на двух войнах, существуют только в воображении невоевавших.

Тем не менее, я – опять приходится повторить, – как и многие мои товарищи, пока был юнкером, порядком боялся именно этих угрызений совести. Для студента четырнадцатого-пятнадцатого года очень нелегко было готовиться убивать людей.

Для огромного большинства юношей, выросших в военные годы, этих сложных и нередко мучительных вопросов просто не существовало. По крайней мере, во время Гражданской войны я один только раз встретил студента, принципиально отрицавшего вооруженную борьбу. Его товарищи по батарее смотрели на него, как на славного, но немного блаженного чудака, с которым безнадежно спорить.

Что с большевиками нужно драться и нужно их победить, для моих лубенских знакомых – учащихся было самоочевидной истиной. Об этом не спорили. Впоследствии начали спорить, но не о моральной допустимости вооруженной борьбы, ее смысле и других отвлеченных материалах, а лишь о том, в какую армию записываться.

Надо еще отметить, что немалую роль в смысле и физической и психологической подготовки учащейся молодежи к войне сыграло допризывное обучение, введенное во многих средних школах во время Великой войны. Несмотря на то, что в большинстве случаев дело ограничивалось обучением пешему строю и ружейным приемам (иногда также стрельбе), впоследствии, во время Гражданской войны, вновь поступившие добровольцы, прошедшие допризывную подготовку, сразу выделялись среди своих вполне штатских товарищей и внешним видом и дисциплинированностью. Нет никакого сомнения в том, что с государственной точки зрения введение допризывного обучения в средних школах было очень удачным мероприятием императорского правительства.

О поголовно антибольшевистском настроении учащихся

средних школ и их готовности взяться за оружие, очевидно, знали и красные. В Лубнах они молодежи не трогали, не до того было. В других местах, случалось, истребляли целыми классами. Об этом ходили слухи, впоследствии получившие подтверждение. В официальном сообщении украинского Генерального штаба от 4 апреля 1918 г. сказано: «У Глухозі большевики перерезали 400 чоловік, між иншими 2 класи учнів місцевої гимназіі» (Повідомлення украінского Генерального штаба, официально 4-го квітня)[92].

Глава IV

Пятнадцатый год я почти целиком провел в Михайловском артиллерийском училище и в запасной части.

В шестнадцатом и семнадцатом дрался. В отпуску был только два месяца. Не было времени как следует подумать и «подвести итоги» (поскольку в 23 года их вообще можно подводить). В Лубнах впервые оказалось, что у меня пока что нет никаких обязанностей, а времени сколько угодно. Историю древней философии читал довольно лениво, но думал много. Вспоминал свои тогда еще недавние гимназические годы и два университетских. Старался понять, каким образом случилось так, что интеллигентная молодежь недавно, в годы моего детства, умиравшая под красным флагом, теперь готова умирать в борьбе против этого же самого флага. Думал и о «новом поколении», которое война застала в младших классах, и своих ровесниках.

Я поступил в Каменец-Подольскую гимназию в год первой революции. 17 октября вечером мой одноклассник граф Старжинский прислал с лакеем записку; что-то насчет уроков, подпись и затем пост-скриптум: «говорят, нам дали конституцию». Я, одиннадцатилетний мальчик, не понял незнакомого слова. Понес показать записку отцу и матери. Они были поражены. Велели не болтать – могут быть неприятности. На следующий день был получен манифест. Отец объяснил мне, что значит свобода слова, собраний, союзов – в те дни только и разговоров было, что о конституции. Даже в первом классе гимназии.

Революция мне сначала не понравилась. Беспорядок, крик, евреи с красными флагами. В гимназии старшеклассники все время бастуют. Одному из учителей дали пощечину, и он, говорят, целый день проплакал. Потом в ноябре или в начале декабря, во время уроков русского языка, в нижнем коридоре, где помещались старшие классы, раздался громкий удар, от которого зазвенели стекла. Оказалось, у дверей учительской комнаты была положена бомба. Приготовили ее неумело. Взорвался только взрыватель, но, по заключению комиссии, заряд был настолько силен, что мог наделать много бед. Гимназию закрыли недель на шесть. Я возненавидел революционеров за то, что мешают учиться. Потом, когда занятия возобновились, сам понемногу попал под влияние своих революционных одноклассников, главным образом евреев, которых в тот год приняли без процентной нормы. Вместо обычных двух-трех у нас было, если не ошибаюсь, двенадцать или тринадцать евреев в одном отделении.

Эти мальчики, политически гораздо развитее нас, русских, почти все увлекались революцией.

Во время восстания Черноморского флота мой отец, человек либеральных взглядов, но совершенно не революционер, с огорчением услышал, что я сочувствую восставшим и очень огорчен неудачей «Потемкина». Моими лучшими друзьями были в то время два еврея – Бройтман и Шаргей (сейчас, в 1932 г., оба занимают видные посты в Украинской Советской Республике) и поляк граф Павел Старжинский, впоследствии погибший в Великой войне. Старжинский мечтал об автономии Польши, но ясно представлял себе, что красные флаги – это прежде всего угроза полутора тысячам десятин его родителей. Он был решительно против «беспорядков»; зато с Бройтманом и Шаргеем мы во время перемен с большим азартом говорили о том, кого из царских министров нужно было бы убить в первую очередь.

Мои «революционные увлечения» продолжались года полтора. Понемногу мальчишеский красный пыл проходил. Никаких восстаний больше не было. Дома отец старался привить мне уважение к закону и законности. В гимназии я продолжал дружить с присмиревшими, правда, «революционерами», но вне школы знакомства были совсем другого характера. Часто бывал в губернаторском доме, занимался с увлечением французским языком, учился танцевать. Постепенно портились отношения с моими приятелями евреями. Дома никто меня против них не настраивал. Наоборот, с самых ранних детских лет внушалось, что все люди равны и ко всем нужно относиться одинаково. Должно быть, я, помимо своих детских мыслей, сводившихся к тому, что «евреи устроили революцию», подпал под влияние сплошь юдофобской помещичьей и чиновничьей среды, в которой по преимуществу бывал. В начале третьего класса произошел разрыв. Не помню уже по какому поводу я заметил, что мой приятель Шаргей оскорбляет Россию и русских. Обругал евреев вообще, а на Шаргея перед всем классом пожаловался классному наставнику. Конечно, поступил гадко, но я был искренне обижен за Россию. Шаргея едва не исключили из гимназии. Пришлось мне же просить (причем взвинченные нервы не выдержали, и я расплакался), чтобы этого не делали. Кончилось, что все евреи в классе объявили мне бойкот. С большинством отношения быстро восстановились, в старших классах мы уже не вспоминали детской ссоры, но трое из бойкотировавших – в том числе теперешние комиссары Шаргей и Бройтман, не разговаривали со мной до самого конца гимназии. При всем этом по своим взглядам не только союзником[93], но и вообще правым я, как и большинство моих товарищей, в гимназические годы не был.

Чтобы охарактеризовать наши гимназические настроения, воспользуюсь записями, сделанными в 1922 г.

Несмотря на очень умеренные взгляды большинства молодежи, официальная государственность вообще была не в чести. Теперь, когда тысячи и десятки тысяч учащихся умерли под трехцветным флагом и с трехцветным шевроном на рукаве, как-то странно вспоминать тогдашнее отношение к национальным цветам. Их отождествляли с «истинно русским духом» и на человека с трехцветным бантиком смотрели с брезгливостью. Некоторые из гимназистов, вернувшихся с московских торжеств 1912 г., попробовали было в торжественных случаях надевать пожалованные им юбилейные медали, но принуждены были отказаться от этого, т. к. товарищи принялись изводить «юбиляров».

Но наряду с большей или меньшей враждебностью к официальной государственности (впрочем, надо сказать, что о республике думали только единицы), росло и крепло другое чувство. Вспоминая свои недавние еще гимназические годы, я все больше и больше убеждаюсь в том, что Государственная дума была едва ли не важнейшим фактором политического воспитания.

Предыдущее поколение в свои юношеские годы, так же, как и мы, попадало под влияние идеи отрицания «существующего строя». Но в те времена, благодаря отсутствию в стране нормальной политической жизни, отрицанием все дело в большинстве случаев и ограничивалось. За деревьями зачастую не видели леса. За несовершенством форм русской государственной и общественной жизни не видели, да и не могли видеть самой России. Плохо представляли себе интересы родины, отождествляя их с интересами правительства[94].

В то же время, благодаря цензуре, крайняя левая через посредство нелегальной литературы почти что монопольно воздействовала на выработку политических взглядов молодежи. Результаты получались как раз обратные тому, чего добивались сверху.

Не то было в наше недавнее время. Как-никак при нас, «слава Богу, был парламент». И то, что говорилось в Белом зале Таврического дворца, относительно свободной печатью разносилось по всей стране. Молодежь жадно прислушивалась к этим речам и понемногу училась понимать, что форма и содержание не одно и то же. Понемногу за отживающими формами начинали видеть свою великую родину. Учились любить ее и понимать ее интересы…

…Читая газеты разных направлений, прислушиваясь к тому,

что говорят старшие, споря в своей среде, учащиеся становились политически грамотными. Благодаря этому антигосударственные и антинациональные тенденции проявлялись все меньше. Создавалась возможность критического отношения к той или иной проповеди. Появилось то, что считалось почти неприличным немного лет тому назад, – здоровое национальное самосознание.

Да, Государственная дума делала самим фактом своего существования великое дело. Она психологически подготовила тот огромный подъем во всей стране и, в частности, у молодежи, который обнаружился с началом войны и для многих был совершенно неожиданным.

Через несколько лет, когда я уже был в Михайловском артиллерийском училище, мой отделенный офицер, штабс-капитан В. З. Попов как-то в частной беседе, улыбаясь, сказал мне:

– Знаете, мы боялись нашествия в училище студентов… Думали, что придется обращаться с ними, как с канонирами. К счастью, мы ошибались…

А покойный генерал Карачан[95] уже в официальной речи к юнкерам сказал:

– Мое положение как начальника училища исключительно благоприятное. Захочу – будут только студенты и притом брюнеты, захочу – приму только кадет и блондинов. В одном только я уверен – и из тех, и из других выработаются хорошие офицеры.

Для меня нет никакого сомнения в том, что в послереволюционные и предвоенные годы, все усиливаясь и усиливаясь, шел процесс огосударствления настроений интеллигентной молодежи. Было бы, однако, ошибкой думать, что этот процесс захватил всех бывших одиннадцати-двенадцатилетних революционеров пятого года. Разница взглядов в особенности сказывалась в отношении к войне.

В гимназии воинственное настроение появилось на моей памяти во время Балканской войны. Как это ни странно[96], но политические взгляды, притом довольно твердые и определенные, закладываются очень рано. Вспоминаю тогдашние горячие споры между моими товарищами, разговоры еще более юных – 14-15-летних мальчиков. Будущие «белогвардейцы» определились еще тогда, так же, как и будущие большевики. Каждая победа славян вызывала взрыв радости у части гимназистов. Другие упорно твердили о шовинизме, империализме, капиталистической войне…

В двенадцатом году последний раз собрались в гимназии после летних каникул. Пахло порохом. Мы были почти на самой

границе Австрии. О войне говорили всюду.

Большая перемена. Через кроны густых каштанов, что растут под нашими окнами, солнце бросает блики на паркет. В классе зеленый полусвет. Горячий спор и, конечно, о войне. Будущие офицеры Великой войны и 2–3 будущих комиссара. В следующих выпусках они были совсем редким исключением, но у нас еще были. Злобно разочарованные, хмурые юноши.

Не приемлют ни родины, ни войны. Болезненно ежатся при разговорах о тяжелых пушках и броненосцах. Мы кажемся им изменниками. Чему? Сами хорошенько не знают, но ненавидят. Несомненные идеалисты и пойдут на муку и смерть за свою идею[97]. Такими, вероятно, и держится большевизм.

Изменниками мы не были, но, действительно, многие из нас в большинстве случаев бессознательно изменяли традиции хотя не всей, но очень незначительной части интеллигенции. Вместо пафоса отрицания у нас укреплялся пафос утверждения[98], пафос государственности. Как впоследствии переход от штатского бытия к военному, так и этот переход от ниспровергательных идей детства к положительным устремлениям в юности давался нам без особой внутренней борьбы. Мне еще было в этом отношении легче, чем многим моим товарищам, т. к. по рождению я принадлежал к той среде – «петровскому дворянству», как любил говорить отец, которая из поколения в поколение принимала самое непосредственное участие в государственной работе. Семейная традиция, тот духовный воздух, которым дышишь с детства, очень и очень много значит.

Много тяжелее приходилось сыновьям маленьких провинциальных чиновников, мещан, сельских батюшек. Достаточно сказать, что некоторые из них до поступления в высшую школу ни разу не ездили по железной дороге – до 1914 г. в Каменец-Подольске ее не было.

Трудно в таких условиях образоваться сколько-нибудь широкому духовному горизонту[99]. Для голого «отрицания существующего строя» достаточно быть и полуинтеллигентным человеком (я не хочу, конечно, этим сказать, что пафос отрицания – даже интегрального отрицания государства вообще – несовместим с подлинной духовной культурой). То же самое можно сказать (и опять с той же оговоркой) относительно всякого рода самостийностей – легче уразуметь узкие интересы какой-либо области Украины, например, чем проникнуться имперским патриотизмом, или, говоря языком сегодняшнего дня, почувствовать жажду имперского «строительства».

Кроме того, нам, провинциальным гимназистам, приходилось продираться через такой идеологический терновник, который в

крупных центрах, вероятно, давно уже был вырублен. Делаю эту оговорку, т. к. довольно плохо знаю духовную жизнь петербургских или московских учеников средних школ в предвоенные годы – мало приходилось об этом говорить, а воспоминаний людей моего возраста почти не опубликовано. Во всяком случае, в Каменец-Подольске года 9-10 (V–VI класс для меня) в среде молодежи в какой-то мере еще продолжались даже не позитивистские 80-е годы (молодость наших отцов), а наивно-материалистическая базаровщина 60-х.

В том возрасте, когда подростки начинают читать «умные» книги, мы прежде всего хватались за Писарева (некоторые, я в том числе, прочли его от доски до доски, даже диссертацию об Аполлонии Тианском) и надолго портили себе литературный вкус. Во власти философии нашими первыми учителями были переизданные после первой революции Молешотт и Бюхнер.

«Сила и материя» казались многим из нас, 15-16-летним, едва ли не венцом человеческой мысли. Как-то уже классе в 7-м пробовали было прочесть чудесный платоновский «Пир», но ничего не поняли, кроме того, что речь Горгия очень неприлична и местами как-то непонятно-неприлична. Некоторые много и усердно читали книги по естествознанию (тоже, кажется, наследие шестидесятников). Я лично в 17 лет внимательно проштудировал классическое «Происхождение видов», но опять-таки очень бы удивился, если бы мне в то время сказали, что чистый дарвинизм – это пройденный и притом давно пройденный этап в истории развития биологической науки.

Думали и спорили мы много. Но тот идейный мир, в котором большинство из нас жило, отстоял лет по крайней мере на сорок от современной нашей юности философии и естествознания. Некоторые так и остались – похоже, что на всю жизнь, – при Писареве, Молешотте и других столь же глубоких авторитетах. Большинство все-таки их переварило уже к концу средней школы. Думаю, что в этом отношении очень помог нам Толстой. Мне лично нравственный субъективизм был так же чужд в гимназии, как и теперь, 19 лет спустя, «Толстовцев» вообще у нас было мало, но споры о философии Толстого велись постоянно, каждый «развитой» гимназист считал своим долгом читать брошюры «Посредника»[100].

Увлекались толстовскими идеями, повторяю, очень и очень немногие, но зато многие невольно входили в круг понятий идеалистической философии и благодаря этому навсегда расставались с «Силой и материей».

В 1910 г. Толстой скончался. Мы все – и сторонники, и противники были потрясены. Много дней не могли ни о чем ином

думать. Чувствовали, что ушел из мира огромный человек, даже и своими заблуждениями прославивший Россию.

В следующем, 1911 г. опять волнующая смерть. Богров убил Столыпина. На этот раз единодушия не было. Часть наших товарищей-евреев, по-видимому, искренне осуждала убийство, но не хотела говорить об убитом. Другие вообще молчали. Обо всем этом я узнал позже. Телеграмма о смерти Столыпина застала меня в постели. Во время научной экскурсии заразился брюшным тифом. От слез еле дочитал листок. К вечеру невысокая до того температура вздулась. Доктор запретил давать газеты.

Личность Столыпина увлекала меня своим размахом и государственным пафосом. Он, несомненно, был у этого большого человека. Несмотря на все, что я читал о министре в радикальных газетах, Столыпин мне и многим моим товарищам не казался реакционером. В нашей семье, исстари западнической, старшие – особенно отец и дед – считали, что земельная реформа Столыпина – большой шаг вперед. И вот пуля в печень, и душе до всего дела нет… Я был в числе тех гимназистов, которые искренне видели в убитом мученика за русскую государственность.

Осенью 1912 года четырех делегатов от гимназии, меня в том числе, командировали на московские торжества. По дороге остановились в Киеве. Туда съезжались делегаты от всего учебного округа[101]. Побывали, конечно, и в Киево-Печерской лавре.

Там же, в Киеве, мы увидели то, чего, кажется, совсем не было в Каменце – учащихся «союзников», желавших разгона Государственной думы и восстановления самодержавия. Они нам казались подозрительными и по части наклонности к еврейским погромам, особенно некоторые ученики Императорской Александровской гимназии, но, может быть, это была подозрительность только либеральных провинциалов.

Москву мы почти все увидели впервые. Ликующую, ревущую «ура!», трепещущую флагами, по вечерам горящую огнями иллюминаций. Насколько помню, одно городское самоуправление ассигновало на торжества полмиллиона рублей.

Но как ни увлекательны были прогулки по Москве, все-таки самое большое впечатление произвело другое. Мы в ослепительном не только для восемнадцатилетних глаз – блеске увидели Российскую империю. Морис Палеолог в «La Russie des Tzars» дает великолепное описание Высочайшего выхода на Красную площадь по случаю объявления войны. Нам довелось увидеть еще большее грандиозное торжество. Больше сорока минут под гул колоколов малиновой лентой шло московское

духовенство. Блестели митры, наперстные кареты, золото бесчисленных хоругвей. Потом по помосту, устланному красным сукном, потянулись сверкающие золотом камер– и гоф-курьеры, придворные арапы, скороходы, за ними «первые и вторые чины двора» и наконец царская семья, сопровождаемая по бокам помоста камер-пажами и стариками дворцовыми гренадерами в громадных медвежьих шапках. Помню, я оглянулся на своего товарища Г. Р., стоявшего в задней шеренге. Сын бедного чиновника, нервный, впечатлительный, он долго колебался между «утверждением» и «отрицанием». Если память не обманывает, даже сомневался, стоит ли ехать в Москву. В то утро на Красной площади он как-то исступленно, отчаянно кричал «ура» и вряд ли хорошо понимал, что делается вокруг. Вся площадь ревела, над головами черным дождем летели шапки, барабаны били гвардейский поход. По высокому помосту, кланяясь народу, медленно шел царь Всея Руси.

На Бородинском поле, стоя возле решетки царского шатра, на батарее Раевского, мы увидели военную империю. Те полки, которые многие из нас знали только по названию. Шли гиганты кавалергарды, Петровская бригада, павловцы, взяв ружья «на руку», казаки-старики и казаки-малолетки, юнкера, роты всех полков, участвовавших в бою. Совсем близко от нас, на скамейке внутри ограды, сидели старики и старухи, современники Отечественной войны. Самый древний из них – 118-летний был ранен на этом самом кургане ровно лет сто тому назад…

Наши гимназические годы были подлинным путем от «красного знамени к двуглавому орлу». Но надо быть точным. Духовно признав Российскую империю и монархию, казавшуюся, особенно в те московские дни, чем-то вовеки неразрушимым, мы, в большинстве по крайней мере, отнюдь не идеализировали ни «существующий строй», ни лиц, вершивших судьбы российского государства. Столыпин некоторым из нас казался героем и мучеником. Кассо мы дружно ненавидели.

«Перед приездом государя[102] к выстроенным гимназистам подошел министр, поздоровался по-военному и встал в стороне, разговаривая с кем-то из сановников. Вряд ли он чувствовал, с какой жгучей неприязнью смотрела на него молодежь. В Москву гимназисты были посланы с большим выбором, подозрительных в политическом смысле не пускали, и тем не менее по возвращении с парада все разговоры вертелись вокруг «врага».

Глава V

«Война, которую ожидали зимой 1912/13 гг., не разразилась… Мы много и серьезно работали, в июне кончили гимназию и разъехались по большим городам. Я поступил на естественный факультет С. – Петербургского университета. Началась новая жизнь. С гимназистами встречался мало, но сейчас (1922 г.), вспоминая эту последнюю довоенную зиму, убеждаюсь в том, что и в столице в настроениях гимназической молодежи произошел сдвиг в ту же сторону, что и в провинции[103].

Может быть, здесь этот сдвиг был еще ярче. В особенности бросалась в глаза разница между традиционным холодком интеллигентских кружков «отцов» с их довольно индифферентным отношением к национальным задачам России, и молодым, порой необдуманным, но всегда искренним задором «детей»…

В эту зиму были в моде карпатороссы, притесняемые австрийским правительством. Некоторые делали на них свою карьеру. Говорилось много громких и необдуманных речей. Помню одно такое заседание в зале Дворянского собрания. Волны электрического света, море гвардейских мундиров[104] в первых рядах и сплошная стена гимназических курток на хорах. Студентов было немного.

Настроение повышалось. Один весьма поверхностный политический деятель (член Гос. совета от Подольской губернии Ракович, впоследствии расстрелянный большевиками; умер доблестно) брал в своей речи все более и более высокие ноты. Мои соседи-гимназисты слушали, буквально затаив дыхание. Наконец оратор выпалил совсем неосторожную фразу: «… и скоро над вершинами Карпат высоко взовьется двуглавый русский орел». Председатель граф Бобринский бросился к столу корреспондентов. В зале, и в особенности на хорах, поднялась форменная буря… Гимназисты неистовствовали.

В целом же это заседание было в конце концов довольно неуместной бравадой. Но если бы можно было проследить судьбу тех мальчиков в черных куртках, которые бурно аплодировали словам «русский орел над Карпатами», то, вероятно, оказалось бы, что многие из них умерли в этих самых горах…»

В университете относились к событиям более сдержанно. Кроме того, в последний довоенный год там господствовало чисто деловое настроение. «Академистов» студенческая масса терпеть не могла. Считалось, что их организация связана с

Департаментом полиции… Однако «академические» настроения были сильны. Очень значительные группы студентов, ничего общего не имевшие с официальными «академистами», всячески противились попыткам революционных организаций руководить жизнью университета.

Это тоже были совершенно новые для русской высшей школы влияния.

Судя по рассказам, еще 5–6 лет тому назад считалось невозможным и неприличным не участвовать в забастовках, которые объявлялись крайней левой по всякому удобному случаю. Тогда это называлось «изменой славным традициям русского студенчества». Зимой 1913 г. «измена» широко практиковалась.

Как-то в хмурый, типично петербургский день, большая группа студентов работала в гистологической лаборатории профессора Догаля… Быстрые шаги за дверью, она распахивается, и в лаборатории появляется возбужденная жестикулирующая группа. Впереди немолодой уже юрист. Окладистая борода, длинные живописные волосы чуть не до плеч. Серый пиджак, красная косоворотка, высокие сапоги. Своего рода форма студентов-народников. Перед войной в коридорах петербургского университета такие костюмы были уже редкостью.

– Товарищи! Вы же знаете, что сегодня забастовка протеста. Почему же вы работаете?

Молчание. Зоологи бросили свои микроскопы и, не поднимаясь с мест, смотрят на возмущенного юриста. Приват-доцент, руководящий занятиями, собирается вмешаться, но один из работающих уже басит:

– Товарищи, не мешайте нам заниматься. Уходите…

Юрист вспыхивает:

– Это позор…

Зоолог хватает со стола банку гематоксилина Бемера[105]:

– Если вы не уйдете вон, я на вас всю банку вылью…

Уходя, кричат:

– Академисты, хулиганы, а не студенты…

Работа продолжается, но в нашей группе что-то вроде раскаяния.

– Господа, а все-таки нехорошо… Не те студенты стали. Ведь сейчас бы не пошли под казачьи пули, как в 5-м году…

Он оказался неправ. Правда, не под казачьи, а под германские, а потом под большевистские пули пошли многие из сидевших в лаборатории, и не по набору пошли.

…Ослабление революционных и в особенности интернационалистических течений становилось с каждым днем

очевиднее. На этой почве в высших учебных заведениях иногда разыгрывались тяжелые драмы.

Как-то в вагоне скорого поезда Одесса – Петербург я познакомился с веселой, жизнерадостной курсисткой-медичкой… В Петербурге раза два навестил мою новую знакомую. Она занимала вдвоем с сестрой прекрасно обставленную комнату на Петербургской стороне. Помню, на этажерке стоял (дело было зимой) огромный куст белой сирени. Обе барышни оказались ярыми социалистками и искренне возмущались переменой студенческих настроений. Потом, в течение нескольких месяцев, мы больше не встречались… Раз утром я прочел в отделе происшествий, что слушательница Женского мед. института К. Т. отравилась цианистым калием. Оказалось, она по какому-то случаю обратилась к своим товаркам с речью, призывая их к политической забастовке. В ответ послышались насмешки. Самолюбивая К. Т. вернулась домой, приняла яд и через несколько минут умерла. На похороны явилась депутация от рабочих и возложила венок с красными лентами. На улице полиция их сняла.

Иногда у нас, нереволюционного большинства, появлялось что-то вроде политического атавизма. Революции не сочувствовали, но деньги на ссыльных частенько давали. Помню, я сам, после удачно прошедшего маскарада Подольского землячества, предложил ассигновать некоторую сумму в пользу пострадавших коллег. Передали ее, как водится, без расписки, но, вероятно, деньги пошли по назначению. Времена были очень отличные от послевоенных. Потом мне было очень неприятно вспоминать об этом эпизоде, но я утешал себя мыслью, что деньги нужны не на революцию, а как-никак в пользу людей, угодивших в Сибирь.

Приближалась Великая война. По старой памяти в военных, особенно в гвардейских кругах, на студентов смотрели как на «врагов внутренних», готовых поднять в любую минуту красные флаги.

В Владимирском военном училище накануне присяги по старому обычаю справили «похороны шпака». С утра соорудили чучело, одетое в студенческую форму, и водрузили его в курилке, рядом с ватерклозетом. По традиции в классах преподаватели не замечали отсутствия юнкеров, несших почетный караул у «фоба шпака». Вечером, после переклички, чучело перенесли в зал, отпели по специальному шуточному чину, а затем была подана команда «в штыки». «Шпак» кончил свое существование на штыках, «прикомандированных к училищу», которые на следующий день, принеся присягу, стали юнкерами. Шуточный

обряд знаменовал прекращение штатского состояния, но все же юнкера, идущие в штыки на чучело студента, символизировали такой строй мысли, который уже совершенно не соответствовал действительности.

К началу Великой войны огромное большинство студентов, отнюдь не восхищаясь «существующим строем», хотело не революции, а реформ и безусловно отрицательно относилось к социализму, особенно в его интернациональном аспекте. У этой, наибольшей по численности группы был очень силен здоровый патриотизм. Крайне левые частью искренне, частью в силу установившегося умственного трафарета считали ее «обывательской», «беспринципной», «изменниками славным традициям студенчества…» – арсенал эпитетов был немалый. Последующие события показали, насколько они были справедливы.

Вправо от патриотически настроенного, но критиковавшего существующий порядок вещей большинства стояло меньшинство, никакой критики не допускавшее – студенты – члены «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела», несколько более уверенные «академисты» и т. д. По отношению к ним имелся также свой трафарет. Мы, либеральное большинство, искренне считали всех крайне правых если не прямыми агентами Департамента полиции, то, во всяком случае, людьми, эксплуатирующими патриотизм в личных целях. (Почему-то считалось, что среди академистов есть только один идейный человек – сын генерала Куропаткина.)

Налево стояли «хранители славных традиций», бородатые народники в косоворотках, небольшая группа социал-демократов, большевиков и меньшевиков и строго законспирированные эсеры, дававшие о себе знать только прокламациями, от времени до времени разбрасываемыми в длиннейшем коридоре университета.

О падении влияния крайней левой я уже говорил. Надо еще отметить, что и правое меньшинство, и умеренное большинство считали социалистов огулом интернационалистами и (впоследствии) пораженцами. Это было справедливо в отношении большевиков и части меньшевиков, но в применении к большинству офицеров было неверно. Идея революционного патриотизма была совершенно чужда огромному большинству студентов.

Последние дни мира. Живем на даче в селе Исаковцах у самой австрийской границы. Она еще открыта. По-прежнему около моста с полосатым шлагбаумом толкутся гладко выбритые любезные чиновники в высоких кепи. Иногда по пыльному шоссе

промелькнет автомобиль. Как будто все, как прежде. Купаемся, ездим на лодке на бессарабскую сторону Днестра, рвем там лесные орехи. Хохот, крик. Веселая молодая компания… Но говорим и думаем об одном – будет или не будет? И многим, очень многим втайне хочется, чтобы было. Сами не знают почему, но крепко уверены – если будет, победим.

Не можем не победить…

…В один душный тихий вечер по шоссе из местечка Жванца проскакал всадник. Как сейчас вижу. Гаснущая полоска зари, темные тополя и громкий стук копыт по щебню. Через полчаса все узнали. «Мы, Божьей помощью Николай Вторый… Мобилизация.

На следующее утро отец отправил маме в Кисловодск, где она лечилась, телеграмму: «Сегодня переезжаем в Каменец». Мама сохранила врученный ей бланк: «Сегодня переезжаем конец».

Потом мы не раз вспоминали не совсем случайную ошибку переутомленного телеграфиста. В те апокалиптические дни должно быть было трудно выстукивать обыкновенные слова.:

…Вернулись в город. Там все кипело. Таборы мужицких телег, плачущие бабы, речи, овации офицерам. В несколько дней армия стала[106] своей, близкой, родной.

Я был два года на Великой войне. В Гражданской так или иначе участвовал с марта восемнадцатого. Пришлось пережить много светлых минут и не меньше горьких. Но два момента великого подъема ярче всего врезались в память. Первые дни Великой войны и взятие Харькова добровольцами.

Манифестации. Первый раз[107] молодежь пошла по своей воле за трехцветными знаменами.

Гимназисты бросились сразу, пели гимн, кричали до хрипоты, неистовствовали. Студенты сначала стеснялись. И на улицу тянет, и Бог его знает, что еще скажут… Все-таки неудобно же вместе с губернатором «ура» кричать. Но через день, два и они кричали. Сначала уверяли друг друга, что пойдут «посмотрят на манифестации». Потом здоровое чувство взяло свое. Крайняя левая молчала. Они были какие-то совсем жалкие, точно раздавленные в эти дни. Говорить против не могли, да и безнадежно бы было».

Опять Петербург-Петроград. Дома бабушка и дедушка, тетя, дядя – все не признают переименования «Царствующего Града Святого Петра».

– Получается что-то сербское…

Мне «Петроград» нравится. Ничего не поделать – вырос в провинции.

В подавляюще длинном коридоре университета в перерывах

между лекциями точно улей гудел. Война, война… Ни о чем другом не говорят. Трудно думать о зоологии, трудно работать.

Мои товарищи студенты разбились на три группы. Первая, самая большая – приемлющие войну без всяких оговорок. Здесь не было речи о том, народна она или не народна, нужна ли полная победа или достаточно отбросить противника с русской территории. Если применяться к формулам, изобретенным позже, то мир представляли себе не иначе как «с аннексиями и контрибуциями».

Человек 800 сразу поступило в военные училища и вольноопределяющимися в части. Через этих новых юнкеров установилась непосредственная связь с армией. Знакомились с порядками в училищах. Появился интерес к военным знаниям. На лабораторных столах можно было видеть учебники военных наук и черные книжечки уставов. Постепенно юнкера притягивали к себе все новых и новых друзей. Было бы ошибкой считать, что студенты шли в военные училища, боясь мобилизации. О ней в начале войны не было и речи. Первый приказ о призыве студентов был издан около Рождества. Фактически он был осуществлен гораздо позже. Во всяком случае, в течение 1914–1915 г. ни один студент призван не был. Кроме того, в училища поступало много и тех, кто по действовавшим законам не подлежал призыву.

…Добровольцы так или иначе шли на войну. Их давала первая, наиболее активная группа. Вторую категорию составляли колеблющиеся студенты, которые были слишком штатскими по духу, чтобы добровольно стать военными. Они ни в малой степени не были пораженцами. Искренне хотели победы, но в то же время боялись ее. Не могли порвать со старыми интеллигентскими навыками мысли, с расплывчатостью, туманностью, с традиционными ее[108] колебаниями. Инстинктивно хотели победы, но в то же время боялись, что она усилит существующий строй[109]. Не могли добровольно поставить крест над обыкновенной человеческой жизнью[110].

Тяжело подойти к последней черте; в особенности тяжело тем, у кого юность прошла… Колеблющиеся в массе были старше, чем первая группа. Позже, когда начались призывы студентов, они шли в армию, учились военному делу, но как раз настолько, насколько требовалось. Подвертывался случай – охотно оставались в тылу. Если его не было – отправлялись на фронт без огня, без веры, с молчаливой покорностью мобилизованных…

Принадлежность к «первой» или «второй» группе только до известной степени обуславливалась политическими убеждениями. Они определяли то или иное отношение к идее

отечества, к войне, победе, но самый важный и самый тяжелый вопрос – идти или не идти – решался, главным образом, в зависимости от душевного строя человека. Зато третья группа была чисто политической.

Те, которые затихли в первые дни войны, оглушенные и подавленные, потом снова заговорили или пытались заговорить. Говорить было трудно, не слушали и не хотели слушать. Тщетно бросались в главном коридоре прокламации с призывом «Прекратить истребительскую войну, затеянную капиталистическими правительствами» и вспомнить о главном и единственном враге – русском царизме. Тщетно серые листки прокламаций напоминали о «традициях студенчества». Одно из воззваний, начавшееся комической фразой: «Товарищи, нам плюют в тарелку!» – и не помню уж о чем там говорилось – доставило студентам несколько веселых минут.

Решено было уничтожить листки. Их сорвали со стен и торжественно водрузили в надлежащем месте в качестве туалетной бумаги.

В университете особенно резких столкновений не было. Все ограничивалось периодическим уничтожением и дружным свистом в тех случаях, когда крайняя левая пыталась говорить «против войны». В одном из специальных институтов, кажется в Политехническом, в конце концов произошел крупный скандал. Протестантов, как уверяли очевидцы, спустили с лестницы и одному из них повредили почки.

«В один прекрасный день в газетах появился Высочайший приказ о мобилизации студентов. Он касался лишь младших курсов и был проведен в жизнь гораздо позже. Но в то утро немедленное зачисление в армию казалось большинству почти свершившимся фактом.

Университетский коридор гудел. Открыли белый актовый зал. Студентов набилось столько, что ректор профессор Гримм не без труда добрался до кафедры. Бурная, восторженная манифестация. Первый и последний раз я слышал «Боже Царя Храни» в университете.

Впечатление было такое, что поет вся зала. Я посмотрел на ближайших соседей. Большинство поет, немногие молчат и наблюдают. Не то удивление, не то огорчение. Послышалось несколько свистков, но гимн зазвучал еще громче. Потом бесконечное «ура». К кафедре продираются недовольные. Видно по лицам. Один держит в руках лист бумаги. Пробует читать.

– Товарищи, мы протестуем…

– Довольно!

– Долой!

– Доло-ой! Вон! – Свист, топот, рев. Оратор машет рукой, кричит, как можно громко:

– Товарищи, дайте высказаться…

– Не дадим! Довольно! Долой!

– Боже Царя Храни…

Несколько человек уходят в боковой выход. Я вернулся в лабораторию кончать прерванную работу и не видел того, что было дальше. Думал, что сходка кончается.

Накопившиеся чувства искали выхода. Взяли трехцветные флаги, портрет Государя и густой толпой двинулись к Зимнему дворцу. Через несколько дней на Невском в витрине одной из фотографий появились снимки, собиравшие много публики. Было на что посмотреть. Коленопреклоненная толпа черных пальто перед громадой дворца. Над студенческой толпой национальные флаги.

В университете говорили о том, что манифестацию перед дворцом устроила кучка академистов, не имевшая право действовать от имени студенчества. Опять были разбросаны прокламации относительно «измены традициям». Я не был на площади, но, судя по фотографиям, толпа была настолько велика, что академисты могли составить лишь малую часть, даже при условии, что они мобилизовали все свои силы.

Впечатление от манифестации студентов получилось огромное, несмотря на то, что, вообще говоря, прочие манифестации успели к этому времени порядком надоесть.

Если можно было еще спорить о том, могут ли вставшие на колени перед дворцом считаться выразителями взглядов большинства студентов, то относительно собрания в актовом зале двух мнений быть не могло. Там пела «Боже Царя Храни» и кричала «ура» студенческая масса, готовая по призыву верховной власти идти в ряды армии и защищать родину[111].

…П. Н. Милюков писал в «Речи» (сейчас не помню заглавия статьи), что немцы потерпели двойное поражение – на полях Польши (речь шла о втором наступлении на Варшаву) и на улицах Петрограда. И если студенты вели себя не «как полагается», то необычна была и другая картина – офицеры Главного штаба открыли окна своего громадного здания и приветствовали недавних «врагов внутренних». Хорошие были дни…

В 1908 г. студент Вадим Левченко писал в «Русской Мысли» (процитировано по статье А. С. Изгоева в сборнике «Вехи»): «Равнодушие к вопросам национальной чести, узко себялюбивое понимание принципа свободы… – вот те наиболее характерные черты, которые восприняты русской учащейся молодежью из

среды породившей ее интеллигенции».

От 1908 до 1914 г. – всего шесть лет, но вряд ли кто скажет о большинстве студентов эпохи Великой войны, что им были чужды вопросы национальной чести.

Глава VI

Хочу еще вспомнить, как мы, бывшие студенты и гимназисты, входили в военную среду.

Я был принят по конкурсу аттестатов в Михайловское артиллерийское училище на 3-й ускоренный курс. Нормально курс в артиллерийских училищах трехлетний. Пополнялись они в мирное время почти исключительно кадетами. Всего 20–30 человек на выпуск бывало «со стороны».

За несколько дней до нашего приема был произведен в офицеры первый ускоренный, а юнкера второго ускоренного стали «старшим курсом»[112].

Он почти целиком состоял из студентов-добровольцев. В нашем, третьем, 150 вакансий было предоставлено кадетам, столько же молодым людям «со стороны» и 50 вольноопределяющимся артиллеристам, командированным из боевых частей. «Молодые люди со стороны» по официальной терминологии, они же «молодые люди с вокзала», по неофициальной, юнкерской, в большинстве случаев были студентами первого-второго (редко старших) курсов или только что кончившими абитуриентами средних школ. Мало кому из нас было больше 20–21 года. Кадеты еще моложе – почти все 17–18-летние, нескольким даже 16[113]. Самые старшие вольноопределяющиеся – тоже в большинстве либо студенты технических высших учебных заведений, либо окончившие высшую школу.

Для характеристики юнкерского состава следует еще упомянуть о том, что прием в училище «со стороны» производится, как я уже упомянул, по конкурсу аттестатов. Благодаря огромному наплыву прошений (насколько помнится, около 2000 на 150 вакансий) приняли только окончивших с круглыми пятерками. Что касается кадет, то попали (как и всегда в специальные училища) тоже лучшие ученики. Я не помню ни одного кадета, который не был бы вице-фельдфебелем или вице-унтер-офицером. Вольноопределяющихся принимали без конкурса, но зато, видимо, в боевых частях был произведен тщательный отбор. Наконец, человек 10–12 попали по протекции высших военных и гражданских сановников. Начальство артиллерийских училищ, вообще говоря, шло на это чрезвычайно неохотно, но принуждено было считаться с просьбами, почти равносильными приказаниям.

Золотая медаль не является, конечно, мерилом способностей, но все-таки, чтобы получить ее, особенно в довоенное время, надо

было обладать известной долей работоспособности и хорошей памятью. Как раз эти качества и были необходимыми в артиллерийских училищах – в военное время, едва ли не в большей степени, чем в мирное, поскольку дело шло об усвоении наук. Правда, начиная с нашего курса, из программ была исключена высшая математика, физика и химия, но все же объем знаний, которые требовалось усвоить в кратчайший срок, был огромный. Мы занимались действительно с утра до ночи и, благодаря непривычным для многих физическим упражнениям (ежедневная верховая езда, гимнастика, вольтижировка), еще больше уставали от лекций и подготовки к очень частым репетициям. Обычно в артиллерийских училищах к декабрю выяснялось, кто из вновь принятых юнкеров в состоянии заниматься дальше и кому надо уходить в пехотные, где теоретическая программа была значительно легче. Этих неудачников прозвали «декабристами». У нас «декабристы» – очень немногочисленные – определились уже через недель 5–6. Двоим, троим пришлось уйти из-за страха перед лошадью (тоже обычное явление), остальные же не справились с науками. Это были исключительно молодые люди со слабыми аттестатами, попавшие в Михайловское училище благодаря наличию большой протекции. Таким образом, надо признать, что принцип приема по конкурсу аттестатов себя оправдал.

Наш «старший курс», как я уже сказал, был однородным – почти сплошь студенты-добровольцы. Фельдфебелем во второй батарее назначили студента казака, кончавшего кадетский корпус года за два перед войной и поступившего в Политехнический институт. У нас, на третьем ускоренном, «молодых людей с вокзала» и кадет почти половина на половину. Первая встреча была почти враждебной. Студенты и гимназисты, правда, ничего не имели против кадет, зато последние считали для себя почти обидой, что приходится учиться вместе с «шляпами», «полтинниками», «палти…аками», несомненными революционерами, которых начальство по непростительному недосмотру пустило в военные училища. Держались от «штатских» в стороне. В курилках усаживались своей кадетской компанией и первое время так, чтобы «шляпам» не оставалось места. На плацу тоже гуляли, не смешиваясь с «пришедшими с вокзала». В классах, в «каморах»[114] были вежливы, вежливость – старая традиция михайловцев – но и только. Первые дни казалось, что выпуск разделится на две если не враждебных, то все же совершенно чуждых одна другой части – на считавших себя наследственными военными[115] и «пришлый элемент».

Надо сказать правду, между кадетской и штатской частью

юнкеров разница была очень велика.

Огромное большинство кадет были верующими. Разных хитрых вещей, вроде идеалистической философии, проблемы Бога и прочих ученых выдумок и не знали и не понимали. Верили, как учил батюшка, и ни в чем не сомневались. Над кроватями повесили образки, ложась спать, все почти крестились и шептали про себя молитвы, некоторые, ничуть не стесняясь, долго простаивали на коленях. Для большинства студентов вечерняя да и всякая молитва была воспоминанием детства, и было непривычно и даже странно видеть 17–18-летних юношей, которые «совсем как маленькие»…

Многие из нас не были атеистами, но индифферентно относились к религии почти все. Мы приняли родину, приняли и монархию. Что касается религии, то, раз потеряв (обыкновенно не позже, чем в 3–4 классе) детскую веру, потом этим уже больше не интересовались. Не было уроков скучнее Закона Божьего. К тому же Кассо вновь завел «обязательное посещение богослужений». В Каменец-Подольске в коридоре у входа в домовую церковь стоял надзиратель в форменном сюртуке и отмечал «посетивших богослужение» крестиком. Кто пропустил, должен был представить записку от родителей или опекунов, иначе грозило 4 по поведению. Кончив гимназию, почти никто уже не шел в церковь. Слава Богу, не обязательно.

И вот бок о бок с нами, почти взрослые ребята, немного только моложе нас, и получается совсем как в детской…

О религии, впрочем, не спорили. Каждый про себя… Гораздо осязательнее была разница в политических взглядах. Собственно говоря, у большинства кадет их не было вовсе. Была наряду с верой в Бога вера в Царя, Божьего Помазанника и только. Государственная дума, которую так ценили мы, «молодые люди с вокзала», казалась кадетам (опять-таки надо прибавить, большинству) если не вредным, то во всяком случае совершенно ненужным учреждением, вносившим смуту в страну. В политических партиях кадеты 15-го года совершенно не разбирались. Для них существовали «порядочные штатские», которые за царя, и разного рода крамольники, которые против. Оттенки крамолы мало нас интересовали. «Что Керенский, что Гучков – одна стать». От более вдумчивых я не раз слышал:

– Я понимаю, можно уважать революционеров – это враги, но по крайней мере, храбрые, открытые враги. Рискуют головой за свои убеждения. В конце концов тоже война… Но вот как могут нравиться конституционные демократы, это я уже совершенно не понимаю. Ни два, ни полтора. Самые паршивые полтинники… Хоть бы им запретили называться кадетами…

Кадетские настроения, о которых я пишу, относятся к 1915 г. В начале 1917-го, перед самой революцией, было, должно быть, совершенно иначе. По крайней мере, молодой гвардейский офицер, человек крайне правых взглядов, которому я имею полное основание доверять, рассказал мне, что в одном из первых петроградских корпусов (если не ошибаюсь, в Александровском) в январе или в феврале 1917 г. на возглашение многолетия «Благочестивейшей Государыне Императрице Александре Федоровне» кадетский хор ответил молчанием. Вероятно, это единственный случай за всю историю российских корпусов, и он лишний раз доказывает, как глубоко была революционизирована Россия к моменту революции.

Но, повторяю, в пятнадцатом году для кадет никаких сомнений не существовало.

Иногда наши молодые товарищи напоминали мне ту девушку из сентиментального «Голубого озера» Уильяма Джона Локка, которая выросла, не выходя из своей комнаты, и жила в придуманном, фантастическом мире… Корпуса давали уникально цельных духовно юношей, в то же время обычно ничего не знавших и не понимавших вне того мира, в котором они выросли.

Нельзя сказать, чтобы кадеты были хуже подготовлены, чем гимназисты или реалисты. Многие из них очень неплохо знали математику, физику, иностранные языки. Привычка к систематическим занятиям у них была, пожалуй, сильнее, чем у кончавших штатские школы.

В училище, несмотря на крайнюю молодость, они не отставали от зачастую значительно более старших вольноопределяющихся студентов специальных институтов. В окончательном списке старшинства, составленном перед производством в офицеры, первое и второе место заняли политехники, третье и четвертое – кадеты[116].

Разница между нами заключалась не в том, что студенты и гимназисты были умнее и образованнее кадет, а в совершенно иной шлифовке ума, полученной если не в школе, то в школьные годы. У «молодых людей с вокзала», при всей их благонамеренности (неблагонадежных ведь не принимали) в той или иной мере был развит «esprit corte'sien» – дух свободного исследования. Кадеты, за редкими исключениями, привыкли думать чисто демагогически, в политических вопросах были просто неграмотны. Многие из них, становясь офицерами, переходя от несколько оранжерейной обстановки закрытых военных школ к повседневной жизни, постепенно научились видеть и думать самостоятельно.

У других – даже более развитых – догматический склад ума

оставался и в зрелые годы.

Мне очень запомнился разговор с одним бывшим кавалерийским офицером, блестяще окончившим высшую техническую школу в Праге и в то же время много и серьезно читавшим философские книги. Это было много лет спустя после окончания Гражданской войны, в расцвет успеха, «Der Untergang des Abendlandes». Мы говорили о знаменитой книге Шпенглера, потом перешли к Карлейлю и как-то незаметно начали спорить о самодержавной монархии. Я назвал этот способ правления безнадежно устаревшим.

Инженер ответил спокойно и уверенно:

– Вы ошибаетесь… Самодержавный государь – помазанник Божий. Он исполняет Его волю. Это самый совершенный способ правления…

За инженером и читателем философских книг сразу почувствовался кадет дореволюционного времени, с системой духовных табу, которых ни под каким видом нельзя касаться.

Возражать ему в этом отношении было так же бесполезно, как нашим товарищам по училищу – кадетам, когда они начинали говорить о политике.

Была еще одна причина, мешавшая сначала сближению между кадетской и «штатской» частью юнкеров. Кадеты были много моложе большинства из нас, поступивших «со стороны». Я имею в виду не арифметическую разницу лет. В среднем она была очень невелика – года три-четыре. Конечно, психика семнадцатилетнего кое в чем отличается от душевного мира двадцатилетнего, но никакой резкой грани между ними нет, если только оба выросли в приблизительно одинаковых условиях. В дореволюционной России, однако, и в этом отношении было очень большое несходство между военной и штатской молодежью. Кадеты нисколько своей юности не стеснялись и в этом отношении гораздо больше походили на западноевропейскую молодежь, чем студенты и гимназисты постарше. Последние, как общее правило, не умели быть молодыми. По мере возможности старались казаться старше своего возраста. Это в особенности относится к «серьезным юношам», к числу которых в штатском состоянии имел несчастье принадлежать и я. Говорю «имел несчастье», потому что девятнадцать-двадцать лет роль «серьезного юноши», в дореволюционном смысле слова – довольно-таки унылая роль. Умные разговоры с умными людьми, долгие часы в Музее Академии наук, рефераты и свои небольшие работы через год после окончания гимназии – все это было хорошо, но скучно, когда подурить нельзя. Студенты не очень серьезные развлекались много и порой весьма распущенно. Как-то

раз мне попался в руки отчет университетского врача. Перелистал и поразился – что-то около тысячи четырехсот венериков, обращавшихся в один только университетский приемный покой. Сколько же всего их было на десять тысяч студентов… Но и в бурных увеселениях молодого задора было мало. По неписаному уставу полагалась примесь гражданской скорби всюду, даже и в публичном доме. В конце концов правительство в чем-то виновато. Путаная была логика…

В училище быстро началась метаморфоза. «Люди с вокзала» стремительно молодели. Кажется, с этого и началось сближение с кадетами. Военная служба вообще дело молодое и молодящее. Нельзя безнаказанно валиться на барьерах, делать «ножницы», пролезать через заборы во время полевой гимнастики, упражняться по вечерам на турнике. Мускулы крепнут, осложняющие мысли выветриваются, и начинает казаться, что искусство перепрыгивать через кобылу может быть и в самом деле поважнее сравнительной эмбриологии беспозвоночных. Одновременно как-то теряешь уважение к своему двадцатилетнему возрасту. Конечно, кадеты – почти что дети, но и ты ведь недалеко от них ушел…

И вот по ночам начинаются «вознесения» – одеяло и простыня, привязанные осторожной рукой, вдруг слетают со спящего и ползут под потолок. Или в кровати товарища-чистехи вдруг оказывается с полдюжины мышат, привязанных за хвосты к подушке. Или вся кровать вскакивает «на попа» – это учинялось за внутренние провинности и именовалось «перпендикуляром». Всякое бывало…

…Через месяц-два после нашего поступления можно было наблюдать забавные сценки. В классе завелись мыши, и во время перемен чуть не все отделение ползало на четвереньках, ловя перепуганных зверьков. Здесь и самый молодой, Володя Селиванов, которому недавно исполнилось шестнадцать, и солидный А. Тасуй, двадцатисемилетний кандидат на судебные должности, который казался нам чуть что не пожилым человеком.

Накануне отъезда в лагерь, после переклички, когда юнкера официально спали, в обеих батареях трубачи затрубили «подъем». В белом зале загорелись люстры – все до последней лампочки, как в дни артиллерийских балов мирного времени. В коридорах поднялся топот и звон шпор. Юнкера сбегались на традиционный ночной парад. Дежурный офицер, опять-таки по традиции, ничего не видел и не слышал. Не выходил из своего помещения. Так повелось исстари.

В зале желающие стали строем. Одеяния произвольные, но обязательно не по форме. Кто во что горазд. Например: кальсоны,

ремень и высокие сапоги. Один студент-путеец, георгиевский кавалер, набил в кальсоны газетной бумаги, получились очень недурные широкие галифе. Остальные, одетые как обычно, толпились вне строя, в качестве гостей.

Параду предшествовал «молебен». Перед развернутым строем поставили столик, изображавший аналой. Появились «священник, в простыне, наброшенной на манер ризы, и «дьякон», совсем голый, только повязочка вокруг бедер и два связанных полотенца вместо ораря. Странное дело – многим из нас, религиозно индифферентных, эта пародия на церковную службу порядком не понравилась. Кадеты, искренне верующие люди, потешались вовсю. Традиция – и больше ничего…

У голого «дьякона» был хороший голос. Подняв полотенце-орарь, умильно возглашал совсем по-церковному:

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,
У бабы нет…

Как водится, доставалось начальнику училища, курсовым офицерам и всему вообще начальству:

– О еже ниспослати им труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные войны…

В торжественном зале с портретами царей и мраморными досками с именами георгиевских кавалеров, озорство церемонии еще сильнее чувствовалось. Не с петровских ли времен, от «Всешутейского и Всепьянейшего Собора» ведут начало эти ночные «молебны», установившиеся во всех, кажется, петроградских училищах и в Морском корпусе. После «службы» был прочтен приказ с благодарностями всем проштрафимшимся юнкерам и выговорами начальству.

«Войска» перестроились и дважды прошли церемониальным маршем под оркестр из гребенок[117] – сначала шагом, потом рысью, топоча ногами и гремя шпорами.

Дежурный офицер по-прежнему ничего не слышал. Повторяю, ночное действо не всем понравилось, но участвовали в нем и кадеты, и «шляпы». Это было через два месяца после занятий. Дальше, во время шестинедельного пребывания в лагере, разница между кадетами и помолодевшими некадетами еще более сгладилась. Кадеты, к большому удивлению, узнали, что большинство «молодых людей с вокзала» тоже собираются воевать[118].

Думали – мобилизованные, оказались – добровольцы, даже немало таких, которых по приказу вообще не могли призвать, На вольноопределяющихся, присланных прямо с фронта, особенно на

георгиевских кавалеров, вообще смотрели снизу вверх. В глазах самых правоверных кадет пребывание под огнем искупало грех штатского состояния в прошлом. Затем, при всей своей политической безграмотности, они увидели, что пришедшие со стороны хоть и склонны к вольнодумству, но совсем не революционеры и ничего ниспровергать не собираются. Кроме того оказалось, что даже с кадетской точки зрения и среди левых политиков имеются порядочные люди. В известной мере нам помог сговориться Милюков.

Да, отчасти Павел Николаевич Милюков, тогдашний кумир патриотически настроенных студентов, ставший близким и дорогим для кадровых офицеров, благодаря своим речам о проливах… Настроение старших передавалось и кадетам. Мы все тогда бредили проливами и Царьградом… Штатский профессор Милюков таким образом мирил обе категории юнкеров, молодых людей из корпусов и молодых людей «с вокзала».

Однако в гораздо большей степени содействовало сближению другое. Штатские очень быстро превращались в военных и внешне, и, самое главное, внутренне.

Оказалось, что стойка, повороты, отдание чести, становясь и не становясь во фронт, и вся вообще строевая премудрость совсем уж не так трудны для молодых и здоровых людей, даже если они раньше никогда в жизни этим не занимались. Через месяца два-три муштровки многие не отставали от кадет. Тяжелее приходилось с гимнастикой. Тут действительно было невозможно тягаться с теми, кто с раннего детства привык к турникам, параллельным брусьям, козлам, кобылам и другим, попросту мучительным с непривычки снарядам. Все-таки с минимумом требований большинство» шляп» справилось, В отношении езды мы почти все были в одинаковых условиях. Начинали и учились с удовольствием. Трудно, по-моему, будучи молодым, не полюбить верховой езды, раз есть возможность ездить. Особенно в лагере было хорошо – нередко по два раза в день. Утром, на полевом манеже, после обеда – батарейное учение. Гимнастом я был никаким, но в седле сидел крепко и любил лошадей, так что отделенный офицер назначал меня на учении ездовым переднего уноса.

Как-то раз во время заезда галопом пришла мысль – а ведь на самом деле другой мир. Три месяца тому назад был университет, гистологическая лаборатория, импрегнирование нервных клеток серебром по методу Гольджи, лепидепторологическое отделение Зоологического музея Академии наук: и вот скачка по полям около Царского Валика, пыль, рвущиеся вороные кони, пальцы содраны поводом в кровь, и только о том и думаешь, чтобы не

оторваться от хвоста фейерверкера…

А когда поехал в Петроград и встретился с прежними товарищами по лаборатории, удивление.

– Вот подите же… Был студент, как будто серьезный человек, а теперь военная машинка-трень-брень – так точно, никак нет…

Не преувеличиваю – почти точные слова – они мне тогда очень запомнились. Даже песенка была:

Он был студентом, интеллигентом,
Теперь он юнкер – нижний чин…

В «машинки» мы не превращались, да никто не собирался нас в них превращать, но, попав в новый мир, мы действительно становились новыми людьми, и притом очень быстро. Усваивали все, что было хорошего и плохого в военной среде.

Очень быстро у большинства появилась и дальше все росла любовь к училищу и училищным традициям. Я уже говорил об опасениях отделенных офицеров в связи с массовым приемом студентов. Думали – нахлынет эта штатская, чужая публика, и сразу порвется преемственность между прошлым и настоящим училищ. Какими же они могут быть михайловцами, константиновцами, павлонами. Профанация славных имен…

Говорят, единственно, где ничего не имели против временного нашествия «шляп», – это в Николаевском кавалерийском. Там испокон века процветал знаменитый «цук». Незадолго до войны государь будто бы (кажется, это правда) объявил начальнику училища, что не приедет к николаевцам до тех пор, пока этот обычай не будет искоренен. Однако и царское приказание не помогло. Кое-кто из наших кадет даже говорил по этому поводу, что государь может изменить любой закон, но традиция – не закон, и поэтому отменить ее даже и царь не имеет права. Кавалерийское начальство зато надеялось, что в студенческих выпусках «цук» сам собою отпадет, а потом уже будет легче не допускать возобновления. Получалось, однако, нечто для училищных офицеров весьма необычное. «Полтинники» соблюдали традиции ничуть не меньше, чем кадеты. По-прежнему были «сугубые» – младший курс и «господа корнеты» – старшие. И когда «господами корнетами» оказались универсанты, политехники и прочие шпаки, а на младший было принято много кадет, пришлось последним проделывать все, что было положено по старому кавалерийскому ритуалу. И достопамятные статуи изображали – Венеру перед купанием, Аполлона Бельведерского, Диану Охотницу (в голом виде, стоя на подоконнике), и в любви перед колонной объяснялись, и на традиционные вопросы

отвечали, как полагается. Например:

– Сугубый, чем знаменита моя бабушка?

– Господин корнет, ваша бабушка знаменита тем, что паровоз шенкелями останавливала.

– Верно, сугубый, подойдите ко мне на два корнетских шага.

– Это невозможно, господин корнет.

– Почему?

– Шаг сугубого несоизмерим с шагом благородного корнета.

Бывало и хуже. За провинности приседали по сто, по двести раз. Или спит уставший за день юнкер, и вдруг одеяло слетает.

– Сугубый, отвезите меня в клозет!

Нечего делать – рысит куда приказано, а бывший студент сидит на спине. Иной еще велит бумажку в зубы взять. Не нести же благородному корнету самому какой-то пипифакс.

У нас в Михайловском «цука» никогда не существовало[119].

Одной из основных традиций была чрезвычайная, иногда немного утрированная вежливость. В провинциальных средних школах уже в младших классах мальчики научались изощренной, грубейшей ругани. На переменах иногда всерьез, а больше в шутку, из молодечества, ругались не хуже мужиков-великороссов (малороссы много вежливее). Став старше, особенно в университете, делались сдержаннее, но все-таки порой без матерного словца дело не обходилось. Кадеты, в особенности из провинциальных великорусских корпусов, тоже были мастера ругаться. В училище пришлось всем отучиться. Кроме первых дней, за шесть месяцев я ни разу не слышал бранного слова. Даже с глазу на глаз не ругались. Михайловцам не полагается. И это студенты быстро усвоили, даже казанские универсанты, прославленные похабники. На плацу, перед тем как стать в очередь к лавочнику – «шакалу» по юнкерской терминологии, полагалось взять под козырек и, конечно, щелкнуть шпорами.

– Разрешите спросить, кто последний?

– Я.

– Господин юнкер, разрешите за вами?

– Пожалуйста.

Шпоры в артиллерийских училищах присвоены только юнкерам унтер-офицерского звания, белый кожаный ремень – только фельдфебелям, но по традиции ни один михайловец не должен показываться в публичных местах без шпор, а «боевой ремень» хотя и не обязателен, но рекомендуется – особенно если юнкер отправляется в гости. Много еще есть традиций, например, военным чиновникам чести отдавать ни в коем случае нельзя (по уставу положено), морским кадетам не принято (никто не знал почему) и т. д.

Все исполнялось очень тщательно, и как-то один из самых больших ненавистников штатских, кадет Московского корпуса Потапов, изрек: «Однако «полтинники», как посмотришь, стали форменными «пистолетами». Это был самый лестный эпитет, какой мог придумать правоверный кадет.

Конечно, не в шпорах и в неотдании чести военным чиновникам было дело. Происходило нечто гораздо более значительное.

Через два-три месяца после поступления не было больше ни кадет, ни гимназистов, ни студентов. Остались одни юнкера Михайловского артиллерийского училища, с общими интересами, общими радостями и горестями. Кадеты стали немного старше и серьезнее, студенты помолодели. Все пришли к какому-то общему знаменателю.

Приближалось время производства. Мы крепко подружились. От розни прежних дней не осталось ничего. Жили дружно. Дружно работали. Отделенные офицеры напоминали изо дня в день:

– Господа, помните, какую вы взяли на себя ответственность. Не теряйте ни часа. Потом некогда будет. От ваших знаний будет зависеть жизнь и смерть сотен людей.

В мирное время учили, чтобы служить и, если нужно, воевать. Когда-нибудь… Может быть, никогда.

Мы учились, чтобы воевать немедленно. За смехом и шутками, за чертежами, репетициями, отданием и неотданием чести где-то, незримая и грозная, чувствовалась смерть. Об ней редко вспоминали, но думали, должно быть, все. Особенно по вечерам, во время переклички. Белый зал, георгиевские доски с золотыми надписями, горят хрустальные сияющие люстры, фельдфебель молодцевато выкрикивает: «Иванов-пятый… Иванов-шестой…»

На разные голоса – я… я… я… В белом зале нас сто восемьдесят человек, столько же в красном, Императорском – первая батарея. Половине семнадцать лет. И все отлично знаем, что через год многих из нас похоронят.

Может быть, оттого так быстро и подружились.

Первого ноября тысяча девятьсот пятнадцатого года в десять часов утра начальник Главного артиллерийского управления генерал Маниковский прочел нам Высочайший приказ о производстве в прапорщики. Вернулись по каморам – в последний раз строем. Переоделись в «походные мундиры». После молебна распрощались. Многие навсегда. Одних убили враги, других – собственные солдаты.

Я довольно подробно изложил историю превращения моих

ровесников-студентов в офицеров императорской армии. Повторяю, большинству из нас переход от мира к войне дался нелегко.

Прежде чем продолжать изложение событий восемнадцатого года, поскольку я их наблюдал и в них участвовал, я считал необходимым подвести итог тому, что пережил во время Великой войны и перед ней.

Чем дольше я пишу, тем сильнее чувствую связь между крестовыми походами Гражданской войны и той почвой, на которой они возникли.

Та атмосфера героизма, которая заставляла молодежь бросать все и идти под белое знамя, создалась не во время Гражданской войны. Ее корни в близком прошлом, в нашей национальной борьбе с Германией…

Пока одни дрались, подрастали другие, еще более молодые, и те уже не знали ни сомнений, ни колебаний старших. Они учились под рев мирового пожара и успели привыкнуть к нему. И родина стала их верой.

От всего, что я видел вокруг себя в гимназические, студенческие и офицерские годы, у меня осталось одно основное впечатление. В Лубнах, в дни начала Гражданской войны, я не смог бы его формулировать с той же ясностью, как сейчас, четырнадцать лет спустя, но все же в основных чертах я и тогда думал то же самое, что и теперь.

За десять лет – примерно с седьмого по семнадцатый – произошел огромный сдвиг в убеждениях молодой интеллигенции (я был тогда слишком юн, чтобы оценивать процессы, происходящие в среде старшего поколения).

Для большинства молодежи за это десятилетие Российское государство из чего-то чужого и враждебного стало своим и дорогим.

Мне кажется, что, не учтя этого сдвига, невозможно понять историю русской Гражданской войны.

В своем изложении я пользовался словом «интеллигенция» в самом общем его значении. Интеллигенция – образованный класс. Я считаю, что за десятилетие, предшествовавшее революции, русский образованный класс, по крайней мере в его молодой части, стал гораздо более государственным, чем прежде. Если же мы примем то определение интеллигенции, которое дают ей авторы «Вех» (например, П. Б. Струве, считающий, что сущность интеллигенции заключается в «безрелигиозном государственном отщепенстве» и враждебности к государству), то придется сделать другой вывод. Ко времени начала Гражданской войны среди русской образованной молодежи стало гораздо

меньше интеллигентов. Sensu stricto (в узком смысле. – *лат.*).

Возвращаюсь теперь снова к марту месяцу 1918 г. в Лубнах.

Глава VII

В Лубенской газетке (не большевицкой) каждый день под заглавием «К положению города Лубен» печатались большевицкие сводки. Несмотря на их внешне победный план, чувствовалось, что дела красных плохи. С запада, из Киева, все чаще и чаще шли эшелоны с красной гвардией, Если память не обманывает, числа пятнадцатого марта в городе появились чехословацкие солдаты-легионеры, уходившие со своими частями от наступающих немцев. Я пошел на станцию посмотреть эшелоны. По сравнению с распущенными, не имевшими воинского вида красноармейцами, легионеры производили отличное впечатление. Отличная австрийская выправка. Хорошо, однообразно одеты, вежливы; чувствовалась несколько своеобразная, но все же, по крайней мере, в то время твердая дисциплина. Помню, интеллигентные люди высказывали сожаление по поводу того, что эти бравые солдаты принуждены силою вещей «путаться» с большевиками. Вели себя чехословацкие части хорошо. Ни разу не слышал жалоб на какие-то беззаконные поступки легионеров. Чувствовалось, кроме того, что, несмотря на наличие оружия и дисциплины, они ни в какой мере не чувствовали себя хозяевами положения и больше всего боялись попасться германцам.

17 марта большевики наложили на город Лубны контрибуцию. Кроме того, всем офицерам, юнкерам и вольноопределяющимся было приказано в течение суток зарегистрироваться у коменданта. Срок уплаты контрибуции истекал также вечером 18-го. На регистрацию я, как и большинство офицеров, решил не идти. Чувствовалось, что большевики со дня на день уйдут. На базаре говорили, что немцы совсем близко.

После полудня пошел посмотреть, что делается около городской управы, где помещалась комендатура. На улице стояла кучка оживленно, но осторожно разговаривающих офицеров в разных чинах. В управе большевиков не было, комендант со своими чинами уехал на вокзал. Я вернулся домой, и на душе была давно забытая бодрость и легкость. Это отлично помню. Советская власть явно кончается. После обеда лег на кушетку, начал читать главу, посвященную Гераклиту Эфесскому.

Вдруг совсем неожиданно где-то рядом бухнула пушка. Еще и еще. Окна звенели. Кухарка, молодая девушка, вбежала в комнату с перепуганно-радостным лицом.

– Панич Коля, казаки…

Мы с братом выбежали на улицу. Пушки продолжали стрелять. Характерные для артиллерийского уха, мягкие удары «горняшек». С сухими, бьющими по ушам выстрелами полевых не смешать. Привычно шелестели снаряды. Отовсюду к «Видам» (молодой бульвар на берегу Сулы) бежали на выстрелы офицеры без погон, дамы, подростки. Гремя по мостовой копытами и по-пехотному трясясь на высоко подтянутых стременах, рысила к берегу кучка всадников в серых папахах с длинными желтыми шлыками. Им махали платками, кричали ура, всадники, подгоняя нагайками усталых лошадей, отвечали непривычным:

– Слава, слава…

На берегу Сулы, около бульвара, две горные пушки на открытой позиции. Команды русские…

– Гранатой, шесть ноль, орудиями, правее. Огонь!

Наводчик дернул шнур. Желтый язык. Удар по ушам.

– Шесть два…

Снова выстрелы. Поодаль густой толпой зрители. Номера-артиллеристы в папахах с красными шлыками. На конце пришпилены золотые перекрещенные пушки – те, что раньше мы все, кроме гвардейцев, носили на погонах. Все без погон, но по бархатным петлицам видно, что много молодых офицеров. Бегом подносят патроны. Щелкают затворы. Уши зажаты. Выстрелы. Дымящиеся короткие гильзы падают на лафеты. Внизу, в долине Сулы, около отходящих советских эшелонов, взвиваются черные гранитные столбы. Свистят паровозы, тарахтят невидимые пулеметы, в бинокль видно, как к деревянному мосту через реку приближаются всадники со шлыками. День ясный. С высокого берега Сулы видно верст на двадцать. Хутора, села, перелески, петля железнодорожного пути, полустанок Солоница. Там красный бронепоезд. Стреляет во все стороны. По подожженному красными железнодорожному мосту, по украинской коннице, в нашу сторону на больших недолетах. Внизу над обрывом тянется белый шрапнельный дым. На батарее новая команда. Черные фонтаны на полустанке. Броневик начинает быстро отходить к Ромодану. На путях осталась часть эшелона, разорванного артиллерийским огнем.

В первый раз в жизни наблюдаю бой, не участвуя в нем. Я в артиллерийской шинели с бархатными петлицами и золотыми пуговицами, и меня пропустили к самим орудиям. В нескольких шагах от них высокий, судя по выправке и манере держаться, кадровый офицер с кавказской шапкой на ременной портупее. Моложавый, подтянутый, но порядком облысевший. Молодой хлопец, неуклюжий, видно, раньше не служивший, подъехал, старательно приложил руку к папахе. Что-то докладывает по-

украински. Слышу, что называет офицера «батько».

Когда огонь прекратился, я подошел к артиллеристам. Оказалось, несколько офицеров нашего Михайловского училища младших выпусков. Узнал, кто такой молодой кадровый офицер. Командир конного имени атамана Кости Гордиенка полка Генерального штаба полковник Петров; говорят, очень энергичный и вообще молодцом воюет. Жарят по шестидесяти верст в сутки. Все время с открытых позиций. Конно-горной батареей командует полковник Алмазов.

Штатские толпой обступили замолчавшие пушки. Пожилая дама целует сына-гимназиста с артиллерийским шлыком. Несколько месяцев не знала, где и как…

Начинается первый свободный, не большевицкий вечер. Орудия на ночь остаются на всякий случай на позиции. «Гайдамаки» зажгли костры. Днем солнце пригревало, а вечер холодный. Толпа долго не расходится. Разговоры, разговоры. Кое-кто по-украински, большинство по-русски. Пока были большевики, в Лубнах боялись говорить о близких, которые там, у украинцев. Теперь больше скрывать не надо. «Я и не знал, что столько лубенцев «ушли в гайдамаки». Совсем точно двести-триста лет тому назад, когда отправлялись в долгие походы казаки-запорожцы. Потом появлялись на горизонте облака пыли, выступали на улицы трепещущие от страха и радости казачки, встречали победителей, со слезами целовали их загорелые, обветренные лица…»

В тот вечер 18 марта восемнадцатого года на берегу Сулы при свете костров среди молодежи, только что прошедшей шестьдесят верст с боем, очень и очень чувствовалась история.

Боев под Лубной с чисто военной стороны я описывать не буду, так как они довольно подробно и, насколько я могу судить, более или менее беспристрастно изложены во втором томе воспоминаний полковника (генерала украинской службы) Петрова[120]. В дальнейшем изложении отмечу лишь несколько мелких фактических неточностей, которые бросились мне в глаза как артиллерийскому офицеру.

Конечно, другие наблюдатели, и особенно участники описываемых событий, вероятно, смогут внести еще ряд поправок в интересные записки командира украинской конницы. Зато ни в какой мере я не могу согласиться с идеологической частью работы Петрова, к которой мне еще не раз придется возвращаться, говоря о Лубнах. Литература, относящаяся к событиям на Украине в 1918 г., пока еще очень бедна, особенно поскольку речь идет о провинции. Думаю, поэтому, что сравнение двух пониманий одних и тех же событий может быть

небезынтересно.

Полковник Петров излагает их как украинец-самостийник[121]. Я пишу о них как русский офицер, одно время состоявший на украинской службе[122]. Считаю при этом необходимым подчеркнуть еще раз, что, относясь совершенно непримиримо к идее украинской самостийности, я ни прежде, ни теперь ничего не имел и не имею против Украины как одной из самоуправляющихся областей единого Российского государства. Для меня Украина то, что французы называют «petite patrie» (малая родина. – *фр.*). Я до известной степени кровно с ней связан – предки со стороны отца были в XVII столетии помещиками Липовецкого уезда Киевской губернии. При Петре Великом один из них принял духовное звание и поселился на севере. Родился я в Олонецкой губернии, но вырос в Каменец-Подольске. Думаю поэтому, что у меня не меньше морального права говорить об Украине, чем у Всеволода Петрова (кстати сказать, великоросса по отцу и шведа по матери), окончившего, правда, Киевский кадетский корпус.

…

Начну с самого главного – с понимания смысла той борьбы, в которой немалую роль сыграл конный имени кошевого атамана Кости Гордиенка полк во главе со своим, по всем отзывам, доблестным командиром. Вс. Петров пишет (часть II): «І знову вражаюча ріжниця у відношенні до україньского війска в Лубенців і у Киян. Тут хоч цікависть, тут хоч пассивна допомога, що выявляеться в швидкому викопованню наших прохань і у безліч порад…»[123]

«Тяжко сказати щось явне про настроі та угрупованння в Лубнах, бо дуже мало ми там були і за цей час дуже не богато було часу для спостережень більше складного чим на селі життя, але все ж таки можно булр сконстатувати, що тоді на послуги нашого полку стали дуже ріжні верстви населения, від підгородніх хлопців починаючи, великими власниками кінчаючи»[124].

Все это совершенно справедливо. Я прожил в Лубнах полгода (с марта по сентябрь) и тамошние настроения знал хорошо. Больше того – нельзя говорить о «пассивной помощи», раз по свидетельству самого автора (там же) объявленная в городе еще во время боя запись добровольцев в первый же вечер дала «сто двадцать три молодых хлопців з міcько і интеллігенції, залізничків і трохи пригородах селян». Надо еще заметить, что помимо этих 123 добровольцев, много молодежи, главным образом учащихся, записались в пехотные части Запорожской дивизии генерала Натиева, вступившей в город позднее.

…Чуть не в каждой большой семье кого-нибудь снаряжали с лихорадочной быстротой в поход. Были и такие дома, где все взрослые сыновья поступали в войска. Вспоминалось начало германской войны, но теперь все делалось как-то гораздо спокойнее. Вероятно, были слезы расставания, не могло их не быть. Но радость освобождения от тяготившего кошмара, от мысли о том, что в любую минуту могут ворваться, могут безнаказанно ограбить, изнасиловать, убить, эта радость была так велика, что сглаживала горечь разлуки…» «И матери, провожая своих вихрастых гимназистов и молодых офицеров, только что вернувшихся с фронта после долгих месяцев войны, горевали, но не подавали вида. Многие интеллигентные женщины считали, что так и надо, иначе и не может быть. Пусть идут… Должны идти…

Впоследствии я встречался с очень многими из лубенских добровольцев, поступивших в полк Петрова и в другие украинские части. В одном Галлиполи было более тридцати офицеров, вольноопределяющихся и простых солдат, родом из Лубен и уезда. Почти все они в восемнадцатом году служили у украинцев. Записались в полки и батареи украинской армии, чтобы бороться с большевиками. Потом, когда предоставилась возможность, продолжали ту же борьбу под русским флагом. Повторяю еще раз – в мартовские дни восемнадцатого года у Лубенской военной и штатской молодежи чувствовалась обостренно-самоотверженная ненависть к большевикам, и только. И среди старшего поколения я знал много людей, желавших победы «гайдамакам», но никому из них не приходило в голову отождествлять большевиков с «русскими».

Совершенно иначе смотрит на вещи бывший командир гордиенковцев: «…поки на другом возі не доіхав учитель з того ж села, що задержався був в Лубнах і який пояснив, що село дуже невдоволене *російскою*[125] залогою у Полтаві ще веде реквізщіі… Цей же інтелігентній украінец доповів, що під Лубнами російськи війска стоять в ешелонах, які розміщено за Сулою… що населению Лубен загрожуэ репреаями а то може і повним погромом з боку москалів бо, мовлив, громадяни дуже необережно выявили радють з приводу іх відвороту»[126].

«…Наша «господарьска частина» безнадтно застрягла коло Гребінки, а тому богато дечото бракувало і лише завдяки россіянам, що залишили нам своі вози і ми могли підхарчуватися»[127].

«Дивна зміна судьби – …Чи думав я коли, як вчився в Академм Генерального Штабу в Петербурзі Полтавську операцію Петра І, що буду колись з тих самих горбів, из яких Запорожці під рукою Кости Гордіэнка не маючи мунщм лише безсило грозили

пястуками, спрямовувати Запоріжські Гордіэнківські гармати, скорострши та крюи і на те мюто московських військ»[128].

Итак, шла война за освобождение Украины от «росіян». Я не хочу, понятно, утверждать, что в 1918 г. в украинских частях не было фанатиков-самостийников. Конечно, были. Готов даже допустить, что бывший офицер лейб-гвардии Литовского полка полковник Петров искренне думал при взятии Полтавы, что исправляет дело Петра I. В одном только я не сомневаюсь – огромное большинство офицеров и добровольцев, дравшихся с большевиками под украинским флагом, духовно не имело ничего общего ни с гетманом Мазепой, ни с «мазепинцами» XX века[129].

Совершенно не та была атмосфера и в Лубнах, да, вероятно, и повсюду, где махали платками и подносили цветы украинским авангардам. Не совсем случайно под наклеенным по городу объявлением с призывом записываться в части, о котором я уже напоминал, стояло три «украинских подписи»:

Петров
Григорьев
Афанасьев.

Нельзя, однако, отрицать, что украинский желто-голубой флаг и вся вообще украинская видимость добровольческих частей, за которыми шли немцы, отпугивали многих и многих из противников большевиков. Записывались, во-первых, те, которые считали себя украинцами (в огромном большинстве – я очень на этом настаиваю – несамостийниками), затем, едва ли не больше всего, мало рассуждавшая, но горячо переживавшая события учащаяся молодежь, а из многочисленных офицеров, «просто русских», лишь отдельные, по натуре очень активные люди. Остальные пока присматривались, – в большинстве сочувственно, не желая связывать свою жизнь, а возможно, и свою смерть, с чужим флагом и получужим делом. Кроме того, очень значительную роль играла и та душевная подавленность большинства офицеров, о которой я подробно рассказал в главе I. К числу сочувственно присматривавшихся принадлежал первые дни и я, но в то же время чувствовал, что меня все сильнее и сильнее тянет к знакомым горным пушкам, из которых наши офицеры-михайловцы обстреливали большевистские эшелоны и бронепоезда. Я не привык оставаться зрителем.

День 19 марта был солнечным и тихим. С утра на «Видах» густой бахромой стояла толпа лубенских обывателей. Должно быть, все бинокли, какие были в городе, принесли на берег. Собралась, главным образом, интеллигенция и полуинтеллигенция. Много было чиновников в форменных фуражках с кокардами, снова водруженными на свое место, дам,

гимназисток, детей постарше. Пришли посмотреть на «гайдамаков» и на войну. Настроение жизнерадостное. У меня было такое ощущение, что все сразу ожили. С интересом смотрел на штатских людей рядом с позицией батареи и в сфере артиллерийского огня.

Подошли гимназистки – подруги сестры. Пришлось им «докладывать обстановку», объяснять, как ведется стрельба. Автор «Спомин» прав, называя это необычайное собрание «пикником». Большинство штатских, правда, не понимало, что стоять толпой на открытом, издалека видном месте, да еще поблизости от орудий, дело далеко не безопасное. Чувствовалось, однако, и другое – лубенские зрители, большинство которых никогда не видело воочию войны, духовно так свыклись с ней за четыре предшествующих года, что всех тянуло посмотреть, как же это на самом деле выглядит. Чего я совершенно не наблюдал в эти дни, даже у женщин, это так свойственного раньше русским интеллигентным людям отвращения ко всякому кровопролитию вообще.

Около одиннадцати часов со стороны Ромодана подошли два бронепоезда – настоящий «Заамурец» и кустарный – угольные екатерининские платформы с полевыми пушками. По словам Петрова, «Після першого вистрілу зникли всі цікави з «Видів», скінчився і «пікнік»…»[130] В действительности было не так. Бронепоезда открыли огонь, но даже для артиллериста сначала было нелегко понять, что они пристреливаются по бульвару. Снаряды рвались на огромнейших недолетах – в селе Засулье и в садах у подножия берега. Несмотря на предупреждения артиллеристов, толпа не расходилась. С любопытством смотрели на вспышки большевицких пушек и расплывавшиеся внизу белые дымки шрапнелей. Петров объясняет плохую стрельбу красных трудностью пристреляться по узкой полоске берега. На самом деле сколько-нибудь опытный артиллерист справился бы с этим очень быстро. Просто красные стрелки не знали своего дела и, в частности, совершенно не умели пользоваться уровнем. Более безграмотной стрельбы (кроме одного случая явного саботажа) я не видел за всю Гражданскую войну. Было все-таки ясно, что зрителей надо удалить. Случайные снаряды тоже убивают! Моя соседка, дама с зонтиком, принялась мне объяснять, что красные не могут так поднять пушки, чтобы до нас достать. Только я хотел ей соответствующим образом ответить, как на бронепоезде снова блеснули вспышки. Снаряды приближались с характерным усиливающимся визгом – прямо по нам. Проревели над головами и разорвались где-то далеко в городе. Вот тогда только «Виды» и опустели – действительно в одну минуту. Кто-то из молодежи

все-таки выглядывал из углов домов, прячась, когда в воздухе начинался рев. Мне было неловко «сматываться» вместе со штатскими. Остался на бульваре, только отошел в сторону и выбрал себе на всякий случай прикрытие – кучу слежавшегося песку. С удовольствием смотрел на полковника Петрова – подтянутый, молодцеватый, он стоял во весь рост и, казалось, не обращал внимания на снаряды. На самом деле, конечно, обращал, как и все, но отлично держал себя в руках и подавал пример молодым «гайдамакам». Впрочем, красные так и не сумели пристреляться по пушкам позиции взвода Алмазова. Безвредная шрапнель рвалась где-то в огороде или за городом. Затем конно-горные артиллеристы сами открыли огонь и быстро отогнали бронепоезда и эшелон с десантом от Солоницы к Ромодану.

Рассеивание горных пушек 1909 сравнительно велико – значительно больше, чем у полевых. Стрелять по такой тонкой цели, как бронепоезд, особенно на не очень близкую дистанцию, нелегко. Я следил за разрывами в бинокль и мысленно делал поправки. Артиллеристы Алмазова вели огонь отлично. Орудия в их руках давали, насколько я мог судить, максимум того, что данная система вообще может дать. У меня мелькнула мысль – артисты против сапожников. Если прибавить еще, что у «артистов» к вечеру почти не осталось снарядов, а у красных их было, видимо, сколько угодно, то этот бой под Лубнами может служить прототипом большинства сражений Гражданской войны – качество против количества.

Вечером 19 марта знакомые спрашивали меня, как я думаю – прочно ли занят город. Успокоил их, но твердой уверенности и у самого не было. Уже полтора дня в Лубнах очень слабого состава кавалерийский полк. Расспрашивать, сколько коней, не полагается, но на вид не больше двухсот. Взвод конно-горной артиллерии, у которого кончаются снаряды. Это я и без расспросов видел. В лоб Лубны, правда со стороны Ромодана, почти неприступны. Сулу вброд перейти нельзя, на мостах – деревянном и железнодорожном – пулеметы гордиенковцев. Дальше высокий, легко обороняемый берег. Но ни вправо, ни влево от города, по-видимому, никого. Найдись у большевиков предприимчивый начальник, может обойти и без труда выбить слабую конницу. Ворвутся и перережут, как в других городах. Но в этот обход не верилось. У большевиков только что было паническое состояние. Бронепоезда не умеют стрелять, конница юмористическая, начальники – пехотные прапорщики, больше унтер-офицеры и просто штатские люди, надевшие гимнастерки. Снарядов и патронов множество, но перейти в контрнаступление вряд ли решатся. А уверенности все-таки не было… Ночью на

Суле постреливали из винтовок. Гайдамаки не расседлывали коней.

Утром 20-го стало ясно, что положение упрочивается. В город вошла украинская пехота – один из полков Запорожской дивизии генерала Натиева «Богданівці»[131].

Позже, если не ошибаюсь, под вечер 20-го и 21-го, подтянулись еще два полка «Дорошенківці» и «Реслублжанці»[132]. Части были, по всему судя, слабого численного состава[133].

Утомленные, забрызганные грязью люди шли довольно нестройно.

Чувствовалось, однако, что это хорошие боевые полки с большим числом офицеров. Большинство из них служило просто рядовыми. С первым полком прибыл генерал Натиев со штабом дивизии. Одно из первых же его распоряжений удивило и обидело лубенцев, особенно настоящих украинцев. Генерал приказал представить ему контрибуцию, собранную для большевиков. У Запорожской дивизии почему-то не было денег. Если не ошибаюсь, в первую же ночь по прибытии штаба дивизии один из видных лубенских украинцев Шемет застрелился. Мой отец сказал мне (то же самое отмечает Петров), что, по городским слухам, это самоубийство, произведшее впечатление на местных людей, особенно более пожилых, является результатом разочарования в новой власти, которую покойный нетерпеливо ожидал. В пехотные полки (особенно Дорошенковский) бросились записываться те офицеры и учащиеся, которые хотели воевать, но не привыкли к лошадям. В город с напряженным любопытством, смешанным с жутью – что-то будет – ожидали германцев. Они двигались позади, вероятно, не желая нести лишних потерь, пока украинцы сами справляются с противником.

Глава VIII

Германские войска вошли в Лубны, если память не обманывает, 22 марта около полудня.

Первое, что я увидел, были два пожилых ландштурмиста, довольно невзрачных на вид. Один из них прихрамывал – должно быть, натер ногу во время похода. На главной улице полно народа. На узких тротуарах не протолкнуться. С любопытством смотрят на немцев. Ни приветствий, ни враждебных возгласов. Нейтралитет. Когда через час-другой я снова вернулся к ресторану «Давида», поперек улицы уже висело белое полотенце с красной буквой F[134]; по мостовой лился неторопливый, лязгающий, грохочущий поток. Тяжело отбивая шаг, шли пехотинцы в серых, глубоко сидящих шлемах с ранцами из коровьей шкуры за плечами. По привычке осмотрел обмундирование. Все на месте. Ни одной оторванной пуговицы, ни одного расстегнувшегося ремешка. Все в порядке, все на месте. Маршируют точно из казармы на смотр. Только сапоги забрызганы грязью. Зашел в ресторан. Полно германских офицеров в небольших чинах – лейтенанты, обер-лейтенанты, капитаны. Подтянутые, одетые строго по форме. Все с короткими, почти игрушечными не то кортиками, не то кинжалами на поясных портупеях. Говорят негромко. Быстро, но спокойно вытягиваются, когда входит старший. Соседи по столику посматривают на мой китель с артиллерийскими пуговицами. Вопросов никаких.

Первое впечатление – мир на самом деле заключен. Признаем ли мы его, офицеры у украинцев не служащие, это уже наше личное дело. Во всяком случае интернировать, по всему судя, как некоторые боялись, не будут.

У меня, да и у многих, было странное и сложное чувство при первой встрече с германцами. Идут совсем недавние враги. Привык видеть эти защитно-серые мундиры и каски в светлом кругу бинокля среди разрывов наших шрапнелей и гранат. Многих из них убил. Под Вулькой Галузийской на Волыни 23 июня 1916 г. выпустил по одному окопу больше двухсот гранат. Когда прорвали фронт, самому не хотелось идти смотреть, что там. Разведчик насчитал восемнадцать трупов. В Карпатах у горы Чунджий Балашинезий был передовым наблюдателем. Триста шагов от окопов. На секунду высунулся, чтобы лучше осмотреть местность. Разрывная пуля щелкнула в вершке от головы. Зацепилась, должно быть, о корешок. Осколок оцарапал кожу на лбу. На носовом платке осталось маленькое кровавое пятно.

Простая убила бы на месте.

Смотрел на проходящие батальоны и вспоминал один бой за другим. Тарговица, Лесистые Карпаты, Румыния. И Ленина пустили они, и армии помогли разложиться они…

А вражды все-таки не было. Спасают нас от самого гнусного и самого страшного – от русских солдат-большевиков. Ничего не поделаешь… Это так. Я встречал впоследствии очень мужественных людей, пробиравшихся с севера на Украину. Один признался мне, что, когда прошел с женой и двумя детьми нейтральную полосу и увидел каски германского караула, не мог с собой справиться – заплакал от радости. В Лубнах, да кажется, и нигде на Украине, немцев как спасителей не встречали. Все восторги доставались дорошенковцам, богдановцам, гордиенковцам… Но, повторяю, вражды не было. Было сложное, тяжело-радостное, щемящее чувство.

Оно еще усилилось в следующие дни. По улицам шла баварская конница. Тяжелые люди на тяжелых вороных конях. Бело-черной рекой трепетали флюгера на концах пик. Цокали копыта. Ровно погромыхивали пулеметные двуколки. Опять глаз искал незастегнутого ремня, плохо приторочennой сабли, порванного мундира. Ничего… Не к чему придраться. И пехота, и конница, и батареи – войска мирного времени. Только много почти стариков и почти мальчиков. По сравнению с нашими пехотными дивизиями не только семнадцатого, но и конца шестнадцатого года, совершенство недостижимое. Даже и сравнивать нельзя. Там были загнанные в окопы неуклюжие деревенские парни, только и спрашивающие «когда замирение?». Что видел в Карпатах в ноябре шестнадцатого, мучительно вспоминать. Трясущиеся челюсти, плачь. Не все, правда, но много, много… И жалко было и противно. Воины… Никогда так сильно не чувствовал, что Россия для них – господская выдумка.

А эти на четвертый год войны не хуже, чем наши в самом начале. Неприятно об этом говорить, но для историка могут быть интересны подлинные, а не выдуманные, приличия ради, переживания офицеров Великой и Гражданской войн. Помню отлично – мы стояли втроем-вчетвером на тротуаре, недалеко от собора, и все смотрели и смотрели. Один сказал:

– Однако, господа, и нахальство же было с нашей стороны думать, что мы можем их победить…

Разлагавшейся германской армии я не видел, а тогда, весной восемнадцатого года, мысли почти у всех были уничижительные. Надо и то сказать – мы видели воочию, вплотную около себя, самую совершенную военную машину, которая когда-либо была создана людской волей и умением – армию императорской

Германии. Кроме того, как раз эти мартовские дни были для германцев временем великих надежд. В первые же дни после их вступления в Лубны в сводках замелькали названия взятых французских городов, огромные цифры пленных, пулеметов и орудий. На запад шел «Kaisershchlacht». Я следил по карте. Сомнения нет – фронт прорван. Французы и англичане катятся назад. В Лубнах не было ни криков «host», ни заметного для постороннего глаза ликования. Солдаты отбивали 4-й шаг, пушки позвякивали щитами, конница цокающим потоком неторопливо лилась куда-то по направлению к Суле. Машина работала. Но по тому, как улыбались офицеры, отдавая друг другу честь, как работали солдаты на станции, как делались мелочи, из которых состоит жизнь всякой армии, чувствовалось – они побеждают.

И опять у многих из нас, офицеров, было странное чувство. Нужно, собственно, горевать, а горя нет. Союзники далеко, а эти здесь, и пока они здесь, большевики не вернутся. У меня лично душевная путаница была особенно сильна. С детства я любил французов и Францию (хотя в ней и не был)[135], французскую культуру. В этом было, конечно, немало от семейной традиции. Моя мама только хорошо понимала, но не говорила по-французски. Зато все родные со стороны отца говорили. Вероятно, на протяжении добрых ста лет много читали, думали, а некоторые и писали на этом языке. Что-то должно было остаться… В детстве я любил слушать рассказы деда о Тюильрийском дворце и Наполеоне III, которому он представлялся в Париже вскоре после окончания Александровского лицея. Одно из первых детских воспоминаний моего покойного отца – 1870 год в Москве. Дедушка стоит у окна с телеграммой в руках. Лицо бледное. Не может говорить от волнения. Это была телеграмма о Седане. Через сорок четыре года волновался я – не так, правда, сильно, были тогда поважнее причины для волнения – читая телеграммы об отходе французской армии к Парижу. Не своя столица, но почти своя – с детства мечтал туда попасть. А вот еще через четыре года опять Париж под ударом, и не знаешь, кому желать победы – друзьям или вчерашним врагам.

Кажется, уже на второй день после вступления германской армии в город мне пришлось «вступить с ними в личные сношения». Вернее, не с германцами, а с германцем. Все были в эти дни в большой ажитации – наша прислуга тоже. Молоденькая хитрая хохлушка много насмотрелась за военные годы, переезжая с нашей семьей из города в город. Научилась не бояться посторонних людей – прежде с ней беда была на этот счет. Все-таки, когда увидела через окно, что у дверей звонит некто в

германской форме, перетрусила. Попросила, чтобы открыл я.

Совсем молодой, лет девятнадцати, лейтенант. Черный бархат артиллеристов. Посмотрел на мой беспогонный китель.

– Вы русский офицер?

– Да.

Вытянулся. Отрапортовал.

– Лейтенант такой-то, такой-то батареи.

Все вышло само собой. Я тоже по привычке стал «смирно». Шпоры звякнули, руки «по швам». Только подумал, что офицер-то я офицер, а моей части ведь не существует. В первый раз в жизни представился по-немецки:

– Oberleutnant der russischen Feldartillerie такой-то.

Подал ему руку. Не быть же невежей с этим подтянутым юношей. Провел его в гостиную-кабинет (мы жили уже по-беженски, всего три комнаты), усадил. Оказалось, пришел узнать, нельзя ли у нас поместиться. Показал ему квартиру. Согласился, что места нет. Извинился за беспокойство. На прощание опять мы оба щелкнули шпорами.

– Auf Wiedersehen, Herr Leutnant!

– Auf Wiedersehen, Herr Oberleutnant!

Все совсем по-хорошему… Встретились двое коллег по оружию и больше ничего. С этого лейтенанта и началось мое грехопадение с немцами.

Возвращаюсь, однако, к военным действиям под Лубнами и настроениям в городе. 22 марта утром гордиенковцы выстроились на соборной площади. Кругом стояла густая толпа провожавших – главным образом городской интеллигенции. Слышались украинские команды. Отчетливо помню, как в нескольких шагах от меня при приезде командира полка молодой (ему было, как и мне, 24 года) командир 3-й сотни, ротмистр барон Штакельберг, щеголевато и звонко скомандовал-пропел:

– Сотня, в струнку! Слухай…

Потом, после смотра полка генералом Натиевым, сотня за сотней пошли к переправам. В толпе несколько матерей вытирали слезы. И еще раз хочу подчеркнуть – может быть, за очень редкими исключениями все, кто теснился по тротуарам при проходе гордиенковцев, искренне желали им победы. Я чувствовал себя чем-то вроде корреспондента несуществующей газеты. Ходил, прислушивался, наблюдал. Пишу свой отчет, правда, через пятнадцать лет, но и в первоначальной записи (1922 год) наряду с большим количеством неумелой лирики отмечены те же настроения. Было совсем не глазение на некую чужую армию, а проводы своих войск в бои. Вот только об Украине, несмотря на «слухай»… барона Зигфрида Штакельберга,

далеко не все думали.

Одна из запомнившихся и записанных в 1922 г. сцен: «…Дама долго и внимательно смотрела на этих странных[136] солдат, на их лошадей, новенькие пулеметы конно-пулеметной команды, маленькие горные пушки… Потом перекрестила проходившие ряды и сказала:

– Вот только такая молодежь и может спасти Россию…»

Началась т. н. Ромоданская операция. Действия гордиенковцев подробно описаны Петровым («Спомини», часть II, гл. 5). Если не ошибаюсь, на украинском языке это единственные печатные материалы, относящиеся к этому периоду наступления германо-украинцев на восток. Вероятно, что-нибудь есть в немецких, чешских и советских изданиях, т. к. германские дивизии вели бои за переправы через Сулу к северу и югу от Лубени понесли кой-какие потери, а какая-то чешская часть принимала участие в военных действиях на стороне большевиков. Мне этих источников разыскать не удалось.

Мы знали в то время в Лубнах немного о том, кто и куда наступает, хотя с «Видов» вся картина боев была видна отлично. С утра до вечера за Сулой кипела ружейная и пулеметная стрельба, стайками рвалась шрапнель, тяжело бухали гаубичные орудия, дымились бронепоезда, иногда появлялись какие-то цепи и лавы. Отступали, наступали, залегали на гребнях. Когда не знаешь оперативного приказа, очень трудно разобраться в обстановке даже с самого лучшего наблюдательного пункта. Ясно было одно – во-первых, украинцы получили самое трудное направление – лобовой удар на Ромодан вдоль железной дороги[137] под постоянным огнем бронепоездов, во-вторых, большевики дерутся очень упорно. То, что мы наблюдали с «Видов», совсем не походило на церемониальный марш.

Большевистская артиллерия уже не доставала до города, и на «Видах» в полной безопасности стояли толпы народа, наблюдая «войну в натуральную величину». Однако в течение нескольких дней (23–25 марта, по Петрову) линия фронта почти не продвигалась. Лубенские добровольцы-новички сразу попали в тяжелую переделку.

Соседка-гимназистка теребит меня за рукав. «Смотрите, смотрите, какие разрывы…» Но я не отвечаю – ищу в бинокль пехотные цепи. Вот в светлый круг попало желтенькое строение с редким рядом тополей за ним. Это разъезд № 57. Около него поминутно появляются облачка шрапнелей и медленно расплываются в неподвижном воздухе. Значит, там что-то есть. Подвинчиваю регулятор бинокля. Вглядываюсь в серый клин пара, что тянется к разъезду. Вот и цепь. Маленькие фигурки

растянулись в ниточку и приближаются к зданию. Касок нет, значит, не немцы[138]. Один из натиевских полков. Те самые неловкие мальчики в серых шинелях, которые вчера горделиво посматривали на прохожих. С замиранием сердца слежу за цепью. Вот одна из фигурок упала. Вот маленькая группа. Что-то тащат за собой – должно быть, пулемет.

…Вспоминается другая атака. Весна шестнадцатого года. Луцкий прорыв. Они идут так, как шли тогда – 28 мая финляндские стрелки под Тарговицей, – тоже не останавливаясь и не ложась. Правда, тогда другой огонь был и другой противник. Красная артиллерия не жалеет снарядов, но стреляет совсем плохо. Бесчисленные пулеметы тоже, должно быть, бьют куда попало[139].

…Но одно стоять с биноклем в руках в нескольких верстах… а другое идти там в цепи к желтому строению с тополями.

Белобрысый Саша П…ов, гимназист 6-го класса, рассказывал мне потом о своих переживаниях.

– Страшно было сначала. Прямо хотелось бежать куда попало. Только стыдно… Лежим в цепи. Пулемет строчит прямо по нам. Пули свистят, а я думаю про себя – хотя бы ранило поскорее – только не в голову. Ужасно хотелось, чтобы все это кончилось скорее. А потом ничего – обтерпелся.

…Два семинариста не выдержали огненного испытания – в паническом ужасе прибежали домой, запрятали военную форму и долго не показывались на улице.

Позднее, уже в Добровольческой армии, мой командир, полковник Н. А. Сергеев, рассказал мне еще кое-какие подробности об украинской службе самого Саши П…ва[140], к слову сказать, порядком распущенного, но добродушного, очень ребячливого гимназиста.

– Весною восемнадцатого года ему было шестнадцать лет.

– Я ночевал с ними в одной теплушке и, знаете, наслушался… Такой поросенок и рассказывает как ни в чем не бывало:

– Выстрелишь краснокожему в лоб, сразу череп к черту, а мозги летят вверх… прямо фонтаном… ужасно смешно…

– И понимаете, действительно, паршивцу смешно. Заливается. Я ему велел замолчать…

Я знал П…ова хорошо. Ни злым, ни извращенным его никак нельзя было назвать. Подросток как все. Объяснять не берусь – об этом немало есть в «Soirees de St Peterbourg» Жозефа де Местра. Во всяком случае, для восемнадцатого-девятнадцатого года характерно. Злоба была страшная. И еще одна мысль – часто наблюдаю теперь пражских русских гимназистов. Мало кого из них могу себе представить идущими под пулеметным огнем с

винтовкой в руках. Не те люди. Но веселых расстрельщиков среди них тоже не вижу. Может быть, ошибаюсь…

Что поражало меня во время боев под Лубнами – это малое количество потерь. С утра до вечера ружейный и пулеметный огонь, артиллерия то и дело начинает стрелять беглым (большевицкая и германская, у украинцев не хватало снарядов, т. к. эшелоны со снаряжением застряли где-то в пути). Когда стихает огонь за Сулой, слышно, как гремит артиллерия под Лукомьем[141] и где-то на севере. Во время Великой войны достаточно было одного-двух дней такой стрельбы, и все тыловые госпитали были бы завалены ранеными, пришлось бы вводить в бои новые части, а тут, в Лубнах, привозят десяток-другой раненых в день и все. Правда, германцы явно берегли своих людей. Решительная атака регулярных дивизий на широком фронте, конечно, смела бы в несколько часов и латышей, и украинских красных казаков, и «кінні пролэтарскі полк», но, понятно, были бы и значительные потери. Немцы предпочитали ограничиваться артиллерийским огнем, а цепи разворачивали, по крайней мере, в непосредственной близости от Лубен, только в тех случаях, когда у украинцев не хватало сил и начинался отход.

Все-таки у германцев были и раненые и убитые, На улицах Лубен временами появлялись телеги, медленно тянувшиеся к больнице. На соломе с большими крестьянскими подушками под головой лежали изжелта-бледные тяжело раненные пехотинцы и кавалеристы. Некоторые сдержанно стонали. Иногда появлялась похоронная процессия – дощатый белый гроб на телеге, за ним – пастор – в серо-зеленом военном сюртуке с большим серебряным крестом на груди и команда санитаров в походной форме, должно быть, наряженная для отдания воинских почестей.

Когда германцы входили в город, антибольшевистская часть населения смотрела на них с тревожным любопытством; некоторые сдерживали враждебное чувство. Вид раненых в бою с красными резко переломил настроение. Я это наблюдал у многих. Член Окружного Суда, сослуживец отца, сказал мне: «Странное чувство, ведь по существу сейчас они умирают за нас…»

Девочки-гимназистки, случалось, плакали, смотря на бессильно мотавшиеся при каждом толчке головы тяжелораненых.

– Бедные немцы…

Тут было не только сострадание к людям – очень сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них заплакал при виде раненого большевика, просто в течение нескольких дней появилось ощущение, что, хоть мы и не хотим, а сейчас у нас с германцами общие интересы. Лично мне было гораздо легче преодолеть в себе отвращение к

желто-голубому флагу, чем враждебность к германцам. Еще сильнее это чувство было у добровольцев, дравшихся буквально бок о бок с немцами. В германской пехоте было много пожилых ландштурмистов, оставивших дома почти взрослых детей. Их очень трогало, что под большевистские пули идут с взрослыми и гимназисты. Случалось, при встрече гладили по головам, приговаривая – Tapfere Kinder… – очень этим смущали добровольцев.

– Понимаете, холодно, шнапсу хочется, а эти дяди нам конфеты покупают…

Великая вещь боевое братство – даже когда германские мужики и русские гимназисты воюют против русских же. Вообще, в те дни все перепуталось, и нужна необычайная примитивность политической мысли, чтобы свести события к борьбе, украинцев против «россиян».

Душевную сумятицу людей, сколько-нибудь способных вдумываться в происходящее, еще больше осложнило участие чехов в боях на стороне большевиков. Ничего положительного в этом не было известно в Лубнах, но ходили упорные слухи о том, что германцы будто бы взяли в плен несколько сот легионеров, называли цифру 800 – и всех их расстреляли[142]. Эти рассказы сильно понижали симпатии к освободителям немцам.

Однако случай, о котором рассказывает Петров (часть II, стр. 129), когда командир сотни дорошенковцев, присланной на помощь гордиенковцам, будто бы спросил: «Пане полковнику, а хто перед вашим полком? Як що це чехо-словацькі легіоні, то наш полк рішуче постановив з ними не битись, і сотня не може вас поддержати», – вряд ли соответствует истине. Симпатии к чехам были, более вдумчивые люди хорошо понимали их трагедию, но все же будто бы имевшее место постановление полка совершенно не соответствует настроениям того времени. Все, кто дрался на стороне большевиков, были врагами. Кроме того, в тот, по крайней мере, период, судя по всем рассказам, ни дорошенковцы, ни другие полки дивизии Натиева не отказывались выполнять боевые приказы. Постановлений тоже не выносили – для этого ведь понадобился бы полковой митинг, а этим украинские части во время наступления не страдали.

Двадцать шестого марта, выйдя, как обычно, поутру на берег, я сразу почувствовал, что большевики отступают. Вдали перестреливались бронепоезда, виднелись какие-то колонны, но общая обстановка явно изменилась. Фронт сильно подвинулся на восток. Рассказывали, что германская конница идет красным в тыл. Еще дня через три от раненых стало известно, что гордиенковцы уже в Хороле. До Лубен доносился по временам

отдаленный гул артиллерийской стрельбы. На базаре, правда, шли толки на тему – пришли паны и привели с собой немцев… – но разговорами пока дело и ограничивалось. Демобилизованные солдаты сразу присмирели. На них очень подействовал вид прошедших германских дивизий и появившиеся повсюду часовые в стальных касках со штыками-кинжалами.

…У меня проходит послефронтовая апатия, к германцам за неделю привык. Сложнее было с украинцами. Хотелось драться, хотя бы и в украинских войсках, но при условии, что Украина – это «не всерьез» и, во всяком случае, не навсегда. Появилась даже мысль, что чем больше будет под украинским флагом «просто русских», тем лучше. Больше уверенности, что желто-голубое знамя не навсегда. Близкие меня не удерживали, – даже советовали не откладывать поступления.

– Все равно ведь запишешься, так лучше поступай сразу в конно-горную… Там, по крайней мере, офицеры твоего училища.

Решил съездить представиться инспектору артиллерии. Штаб дивизии стоял уже на станции Ромодан. Надел шашку с анненским темляком, привинтил к кителю снятый при большевиках значок Михайловского училища, золотой александровский орел с пушками. Являться по начальству, так по-настоящему. Без погон, правда, как-то глупо, но погон никто не надевал. У украинцев не положено. Приехал на вокзал. Пассажирские поезда еще не ходят. Близко фронт. Одни германские эшелоны. Как раз должен ехать в Ромодан штаб их дивизии. Я решил рискнуть. Люди вежливые – в крайнем случае не разрешат и все. Вошел в вагон второго класса. Часовой у входа пропустил, ничего не спросив. Навстречу мне шел пожилой офицер в фуражке с красным околышем. Я взял под козырек. Офицер ответил на приветствие и спросил на довольно сносном русском языке, кто я такой и что мне нужно. Выслушал и стал очень любезным:

– О да, ви, конечно, можете ехать наш эшелон.

Повел меня в купе, познакомил с двумя лейтенантами. Всю дорогу до Ромодана говорили о вещах, не имевших прямого отношения к войне. Лейтенанты очень интересовались тем, что такое, собственно говоря, Украина. О только что кончившейся войне ни слова. У меня осталось отличное впечатление от корректности немцев. Впоследствии оно еще больше усилилось. Никакого намека на надменность. Всячески старались не показывать, что они победители. Разговор коллег по профессии, хотя бы временной. Я потом твердо усвоил такой стиль при моих многочисленных встречах с германскими офицерами. На станции Ромодан вышел из этого предельно корректного вагона и сразу

попал в обстановку значительно менее корректную. Инспектор артиллерии – старый, полуседой капитан с шевченковскими усами (не помню его фамилии), правда, принял меня очень радушно. Говорили по-русски[143]. Посоветовал поговорить прямо с офицерами конно-горной батареи полковника Алмазова, в которую я и хотел поступить (на запасном пути стояло несколько вагонов батареи – если память не обманывает, хозяйственная часть).

«На перроне встретился со своим товарищем по Финляндскому горному дивизиону, капитаном К. Он, оказалось, был старшим офицером у Алмазова. Поздоровались и… о ужас! Обнаружилось, что за те два-три месяца, что мы не виделись, капитан совершенно разучился говорить по-русски. На все мои вопросы отвечал по-украински. Узнаю, что в батарее служат только «щирые украинцы»[144] и что мое положение будет трудным, раз я не умею говорить. Потом все-таки перешел на русский. Не то чтобы он был против моего поступления. Вовсе нет. Берется меня рекомендовать, но считает необходимым предупредить… На военном жаргоне для разговоров такого характера существует весьма точное определение: «встретить мордой об стол». Вошли в вагон третьего класса, в котором помещалось пополнение. Все молодые крестьянские парни. Густой запах крестьянских полушубков и махорки, но довольно чисто. Речь только украинская. Интеллигентных людей, кажется, совсем нет. Все совсем по-иному, чем тогда на позиции около «Видов». На прощание капитан смягчился – начал меня звать в батарею. Я сказал, что подумаю. Еще одно предупреждение – очень настойчивое. Пока я не состою в «войске», нельзя носить шашки. Очень рекомендует мне не ездить – «хлопцы» отберут и вообще может выйти неприятность.

Обратно я в качестве русского офицера-артиллериста опять ехал в любезном германском вагоне. Обдумывал впечатления. Собственно решение у меня сложилось сразу и можно его было формулировать с военной краткостью двумя словами: «К черту…»

Правда, я чувствовал, что со «щиростью» что-то не так, но в конце концов старший офицер батареи лучше меня знает, что там делается… Служить в качестве простого казака, на равных основаниях с «хлопцами», я заранее был согласен. Но рисковать жизнью в среде людей, которые будут мне тыкать в нос моим незнанием украинского языка – благодарю покорно…

Дома приводили в порядок мое белье. Я объявил, что никуда не записываюсь. Требуются «щирые».

Приходится повторять азбучную истину – огромную роль в жизни играет случай. Особенно в такое время, когда все прочное,

определенное, привычное развалилось и человеку как-то надо вновь найти себя.

В 1920 г. в Офицерской артиллерийской школе в Севастополе я проходил курс вместе в двумя молодыми офицерами-михайловцами, проделавшими весь украинский поход в конно-горной батарее Алмазова. Начали вспоминать те времена. Я рассказал им о своих первых, очень хороших впечатлениях от батареи и о том, как разговор с К. отпугнул меня от поступления. Те только улыбнулись.

– К. просто ломался. У него это бывало, а вы приняли всерьез. Какая там щирость… Самая обыкновенная добровольческая батарея. Понятно, говорили между собой по-русски. К. то же самое… Ну, наши хлопцы, разумеется, балакали, так ведь они всегда балакали. Никому же это не мешало… А жаль, что вы не поступили – интересный был поход.

Теперь, прежде чем расстаться с дивизией Натиева (больше я никогда с ней не встречался), надо еще сказать несколько слов об общем характере тогдашней большевистской-украинской войны. Я, правда, не принимал сам участия в военных действиях, но в полку Кости Гордиенка служили мои близкие друзья, да и в других частях Натиева у меня было много знакомых. Рассказы их мне очень запомнились.

Большевики вели себя во многих городах (Лубны были одним из исключений) по-зверски. Я уже привел официальное сообщение о расправе с глуховскими гимназистами. В Хороле они выпустили кишки старику, отставному полковнику, и набили ему живот сеном. Это была, кстати сказать, одна из первых картин Гражданской войны, которую увидели добровольцы, поступившие в Лубнах. Таких случаев можно было бы подобрать сколько угодно, и вряд ли у сколько-нибудь беспристрастного историка будут в этом отношении какие-нибудь сомнения[145].

Спрашивается, как вели себя украинцы, или, будем точнее, воинские части, сражавшиеся под украинским флагом?

Читатель «Спомин», да и многих других украинских писаний, может поверить если не в идиллию, то почти в идиллию. В противоположность «россиянам»-большевикам украинские войска явились водворителями порядка и законности. Грабители и убийцы, встречающиеся во всякой армии, беспощадно карались. Пленных большевиков как будто и совсем не расстреливали, а если и расстреливали, то только по суду. Даже военно-полевые суды были у украинцев совсем иные, чем повсюду. В особенности, конечно, они отличались от соответствующих учреждений бывшей российской армии. Петров пишет (часть II, стр. 145): «Отже використавши те, що в полку були правники з повною

высокою освітою, зорганизовано полевий суд – оригінальний, бо природиво у військових частинах в таких судах засідають самі лише вояки з психольопэю не суддів, а мясниюв»[146]. (II. – *Н. Р.*). Мало того, командир гордиенковского полка собирался завести даже нечто вроде военно-полевого суда с присяжными заседателями:

«Я запропонував цим представникам партій (украинских социал-революционеров и социал-демократов – дело было в Хороле. – *Н. Р.*). висилати своих людей на всі засідання мого доразового суду, для контролі присудив і діловодства, щоби наочно переконалися, що в нас немаэ ніякого катування людей»[147].

Однако по интересующему нас вопросу имеются данные совсем иного характера и в украинских источниках (я, конечно, имею в виду лишь украинцев-антибольшевиков). Так, например, в номере от 18 апреля 1918 г. «Рабітничей Газеты» (Киев) читаем:

«ДОСИТЬ КРОВИ І ТРУПІВ

Шаповали, Натіеви й инши, ім же нема числа, святкують свято помети над безвинними, безбройнымй людьми. Звідусіль, з Ромодана, Гребінки, Пирятина, Лубен, Полтави, Харькова І т. д. носуться стогни і сльози, прокльони і прохания до нашого уряду визволнити люднеть від свовольних каівв, котрі в супереч Универсалам Центральноі Раді І напрямкові політики міністрів направлять свій суд, суд помсти, крові і трупів»…[148]

Еще более определенно заявляет в заседании Малой Рады 18-IV-18 г. представитель сионистов г. Гроссман:

«В провіціі немае ніякоі влади, а та влада, яка э діскредитуэ украіьский уряд. Населения змущено на місцях, на жаль, звертатися за допомогою до ніецкоі військовоі влади. До нас що дня прибувають депутациі, яки передать про ті вбивства, грабунки й насилля, що вчиняються на місцях.

Все це діло рук украіньских солдат або осіб, що зовуть себе солдатами. В ночі тайно риють домовини і без свидацтва лікаря сведків передають землі замучені жертви. На станціі Ромодан ви побачили б трупи людей, яких украіньскі солдати викидають на полотно залізници»[149] и т. д.

В воплях украинской социал-демократической газеты кое-что, конечно, надо отнести за счет специфической социалистической психологии того, послекеренского времени. Так, например (№ от 19 апреля), полковнику Шаповалу, назначенному губернским комендантом в Харькове, ставится в вину, что он приказом № 1 (10-IV) вменил жителям в обязанность сдать оружие, а четыре дня спустя (приказ № 2) объявил в губернии военное положение и воспретил митинги. Надо припомнить при этом, что военные

действия против большевиков продолжались (Харьков был занят вторым Запорожским полком полковника Балабачана в ночь на 8 апреля). Таким образом, украинские социалисты хотели войны (они ее не отвергали) без военного положения. По существу, на то же самое вполне справедливо жалуется Петров, описывая свои переговоры (ч. II, стр. 146) с представителями социалистических партий в Хороле:

«Отже значиться: вирвіть добродію бурян, але крий Господи нас до нічого не вмішуйте… а з такою чинностю далеко не поідет»[150].

Однако и с этой поправкой на «керенскую» психологию факты, приведенные, например, а запросе Гроссмана, остаются фактами. Соответствовали ли они действительности? Теперь я могу обратиться к рассказам очевидцев и участников событий. Приведу только немногие из них. О веселом расстрельщике-гимназисте из полка Дорошенко я уже упомянул, Само собой разумеется, что пленных расстреливали с ведома и разрешения начальства и без всякого суда, Это, конечно, от идиллии очень далеко, но, надо сказать, являлось довольно понятным ответом на зверства большевиков. Украинцы расстреливали в порядке взаимности, и очень мало кто из офицеров и солдат видел в этом преступление. Вернее сказать, почти никто. Однако оставались безнаказанными и такие действия, которые под порядок взаимности никак не подведешь.

Я знал одного казака Гордиенковского полка, бывшего вольноопределяющегося Германской войны. Потом он мне доставил немало хлопот. Как сейчас его вижу. Худощавый, подтянутый, хороший ездок. Отдавал честь как-то манерно, отставляя маленький палец. На лицо было неприятно смотреть. Мальчишеский румянец во всю щеку, а в узких малоподвижных глазах жестокость и почтительная наглость. Низкий лоб еще более увеличивает отталкивающее впечатление. Об этом девятнадцатилетнем кавалеристе несколько бывших добровольцев-гордиенковцев рассказали мне отвратительную историю. Совершенно уверен в том, что они не врут. Под Хоролом или о самом Хороле гордиенковцы (кто именно, не помню) взяли в плен большевицкую сестру милосердия. Она умоляла пощадить. Предлагала ухаживать за больными или, если хотите, стать чьей угодно любовницей… Вообще была согласна на все. Вольноопределяющийся провел с ней ночь в гостинице, утром отвел в конюшню и убил выстрелом в затылок. За глаза товарищи называли его мерзавцем, но убийство осталось безнаказанным, хотя знали об нем многие. Командир полка (Петров), судя по всему, действительно ничего не узнал.

Конечно, это поступок одиночного садиста. Но характерна вся обстановка и самая возможность такого убийства.

Вот еще рассказ – на этот раз из первоисточника. Офицер, занимавший ответственную должность в полку Петрова. Бывший его командир в своих воспоминаниях отзывается об этом своем подчиненном с большой похвалой. Фамилии не назову. По своему облику очень культурный, молодой (конечно, в то время) человек. Как-то он мне откровенно рассказывал об украинском походе.

– Знаете, все-таки страшно подумать – я своей рукой расстрелял больше шестидесяти человек… Иначе нельзя, но утомляет это… И вообще, как подумаешь, как мало людей дерется ради идеи. А сволочи всякой… Прямо лучше не говорить…

Некоторая доля садизма, по крайней мере морального, и у него была. По рассказам подчиненных, очень любивших молодого храброго кавалериста, он нередко здоровался с пленными большевиками по-своему:

– Здорово, покойник!

Несмотря на это, Х. все-таки не садист и никак не дикарь по натуре. Он был и в Галлиполи. К большому удивлению однополчан, выписал себе из Константинополя сачок и целые дни пропадал в горах, собирая бабочек. Опять приходится ссылаться на Жозефа де-Местра. В его мистических фразах очень много знания если не войны, то людей на войне. Стоит еще отметить, что натиевцы, по-видимому, первые изобрели порку шомполами.

Таким образом, «Рабітнича Газета» все-таки, мне кажется, много ближе к истине, чем Петров. Однако командир гордиенковцев тоже отчасти прав. От моего друга князя В. Д. Волконского, служившего «гайдамаком» в третьей сотне полка, и от других знаю, что полковник Петров, судя по всему, отличный и духовно очень гибкий начальник, действительно старался всеми силами внедрить в своих подчиненных утраченное за время революции чувство законности[151] и придать гражданской, по существу, войне более регулярные формы.

– Он вообще не любил лавочки…

«Лавочка» пока еще, кажется, не попала в словарь. Должна туда попасть. Этим именем обозначалось в годы Гражданской войны всякое настроение, безобразие, беззаконие. От невыдачи вовремя ужина до систематических самочинных убийств. Наличие доброй воли в борьбе с лавочкой я не отрицаю ни у автора «Спомин», ни у других командиров украинских частей. Беда только в том, что эта борьба мало к чему приводила. Командир полка создавал необычайно усовершенствованный военно-полевой суд, а в том же городке вольноопределяющийся убивал

пленную сестру милосердия, об этом знали многие и все дружно молчали. Осуждать Петрова в этом отношении не приходится. Я сам на маленьком своем опыте, о котором речь впереди, в полной мере ощутил, как трудно было в 1918 г. создавать что-нибудь похожее на законность и относительный порядок даже в гораздо более спокойных условиях, чем обстановка военного похода. Речь не об этом. Я хотел только показать, что украинцы не имеют ровно никакого права приписывать себе некую особую чистоту военных нравов, которой у них и в помине не было.

Проделав Гражданскую войну, ставишь вопрос не об украинцах и «россиянах», а о силе зверского начала в человеческой природе вообще, но рассуждения по этому поводу уже выходят из пределов темы моих воспоминаний.

Остается сказать об общем впечатлении от украинских частей и их боевой работы. Несмотря на ряд жестоких подробностей, я вспоминаю с добрым чувством о натиевских полках. Было в них много молодого увлечения, бесстрашия, веры в победу. Типичные добровольческие части начала Гражданской войны. Шли, правда, как авангард мощных германских дивизий, но за то и вся сила большевицкого огня обрушивалась на них. И сейчас даже, через пятнадцать лет, я, когда начинаю вспоминать о мартовских днях в Лубнах, слышу молодые голоса, распевающие песнь Запорожской дивизии:

> Нам поможе Святый Юрий и Пречиста Мати красных[152] звоювати,
> А чи пан, чи пропав – в другий на вмирати.
> Гей же хлопци до зброи[153].

Глава IX

Страницы 85–92 изъяты автором как носящие чисто личный характер. (Примеч. Н. А. Раевского. – *Ред.*)

Глава X

В моем послужном списке значится, что я состоял в запасе армии со 2 марта по 17 сентября 1918 г. Формально это так – украинская военная служба в Добровольческой армии не засчитывалась. Официально я на ней вообще не был. В приказах по военному министерству Украинской Народной Республики и Украинской Державы (гетманской) моя фамилия нигде не значится. Тем не менее я служил, получал жалованье, по совести говоря, много и упорно работал, носил украинскую форму, участвовал в операциях против повстанцев. В 1918 г. и не такие вещи были возможны… Вот об этой неофициальной военной службе, продолжавшейся целых пять месяцев, я и хочу теперь рассказать.

Первые дни после занятия города украинцами я юридически был офицером «бывшей российской армии», уволенным по мобилизации в запас. Однако психологически я, как и многие другие, не чувствовал себя демобилизованным. Несмотря на то что я отказался от мысли поступить в одну из боевых частей, мне казалось совершенно невозможным переодеться в штатское платье и засесть куда-нибудь в канцелярию или снова поступить, скажем, в Киевский университет. Последнего, впрочем, я не мог в тот момент сделать и по материальным соображениям. Благодаря падению рубля, довольно значительное судейское жалованье отца стало совсем недостаточным. Знакомств и возможностей «устроиться» было немало, но я продолжал считать себя военным. Отчасти это происходило в силу известной духовной инерции. За время Великой войны я привык к военному, в частности, к артиллерийскому делу, полюбил его и просто психологически не мог вернуться в штатское состояние. В более высоком плане был другой мотив – нельзя в 23 года, будучи совершенно здоровым и обладая кое-какими профессиональными знаниями, нужными для борьбы с большевиками, отходить в сторону и из участника событий обращаться в их наблюдателя. Эта последняя роль, по крайней мере в молодости, была мне органически чужда. Как только прошла апатия, вызванная распадом старой армии и государственности, появилось желание действовать. Не вышло с боевой украинской армией, решил поступить в отряд, созданный «для охраны и борьбы с анархией» – если память не обманывает, цель его была сформулирована именно таким образом, – получивший название «Лубеньского Мисцевого Куриня».

Еще 19 марта, когда город находился в сфере обстрела советских бронепоездов, в здании городской думы, если не

ошибаюсь, по приказанию только что назначенного коменданта полковника Шулкова, – состоялось общее собрание офицеров, проживавших в Лубнах. Я был на этом собрании, но не до конца – больше интересовался боевыми операциями и торопился на берег Сулы. Офицеров пришло очень много – самых различных чинов. О них, правда, приходилось судить только по обращениям:

– Господин полковник.

– Господин поручик.

– Ваше Превосходительство, – да по общему облику присутствовавших. Погон ни у кого не было. Только тени на плечах, благодаря тому, что материя не успела выгореть там, где раньше была закрыта. Зато училищные значки надели почти все, а владимирские и георгиевские пришпилили вишневые и белые крестики. Впервые после большевицкой революции офицеры собрались «на свободе». Настроение было серьезное и радостное. Чувствовался подъем – даже у тех, которые были решительными противниками Украины во всех ее видах. Преобладала молодежь, поручики, подпоручики, очень демократического вида прапорщики – но были и пожилые полковники, командиры расформированных полков, и два-три генерала. Председательствовал старший в чине Генерального штаба генерал-лейтенант К. К. Литовцев, бывший начальник 3-й гвардейской дивизии, в конце войны – командир 23 армейского корпуса. В тот день я впервые увидел этого высокого, худощавого генерала, с которым мне пришлось потом близко познакомиться и работать в течение ряда месяцев. Первое впечатление было – очень воспитанный и очень штабной человек. Петербургская манера говорить, несколько бесцветная и нетемпераментная, но корректная и чрезвычайно точная. Несмотря на отсутствие погон, в генеральском чине председателя сомневаться не приходилось. На нем была шинель на желтой подкладке – цвета лейб-гвардии Литовского полка[154].

Офицеры говорили, как мне казалось, нарочито сдержанно и подчеркивали свою дисциплинированность. Речь шла только о необходимости помочь поддерживать порядок в тылу наступавшей армии и создать с этой целью дисциплинированную воинскую часть на старых основаниях – без выборного начала и комитетов. Это была в то время программа минимум большинства офицеров в отношении новых воинских формирований. Очень многие новшества (о них речь впереди) принимались при условии, чтобы начальники назначались и чтобы их масть была единоличной. Кроме того, без всякого сговора, как-то само собой было восстановлено титулование «Ваше Превосходительство». Обращение «Господин генерал»,

введенное при Керенском, казалось неразрывно связанным с революцией. Впрочем, наименование «козаки» ввели вместо «солдат» применительно к слагавшимся обычаям украинской армии – Куриня, раньше не служившие в армии часто обращались к генералам по-украински – «пане отамане».

Мой брат, относившийся к Украине значительно менее примирительно, чем я, сразу объявил, что в дивизию Натиева не пойдет, и записался в Курень[155]. Я явился в куренную канцелярию только в первых числах апреля. Предварительно расспросил брата, насколько сильны в отряде «щирые» тенденции. Он только рассмеялся:

– Сам увидишь… для приличия обозначаем Украину.

Куринь помещался временно во флигеле мужской гимназии. Во дворе стояла походная кухня. Меня очень любезно принял адъютант ротмистр Белецкий, бывший офицер пограничной стражи. Представил «атаману» Куриня генералу Литовцеву, назначенному на эту должность приказом уездного коменданта. Ввиду того, что артиллерия и конница еще не начали формироваться, мне было предложено поступить в одну из пеших сотен. Командные должности уже были распределены. Я был принят простым «козаком» и в первый же вечер был назначен в караул – охранять какой-то склад. Немного меня поразило то, что караульным начальником оказался унтер-офицер пехотинец, а часовыми – сплошь офицеры, но такой был в это время принцип организации. Старые чины и вообще, что было в «бывшей российской армии», не принималось во внимание. Раз поступил «козаком», то и служи как козак. Дома брат посмеивался:

– Постой, постой на часах… Не все тебе командовать.

Первоначально Куринь не был обычной воинской частью, хотя бы и добровольческой. И офицеры, и солдаты, кроме немногих, кому некуда было деваться, жили дома. Являлись на службу в 9 часов утра. Все желающие имели право, предупредив заранее, «бунчужного» (фельдфебеля) обедать и ужинать в Курине, но большинство ходило домой. Дома хранилось и ручное оружие – винтовки и шашки.

Основой Куриня, как я уже отметил, явились многочисленные офицеры, записавшиеся в него после заседания 19 марта. Первоначально в отряд поступили за малыми исключениями почти все офицеры, бывшие в то время в городе. Остались в стороне только отдельные лица, не желающие иметь ничего общего с «украинскими организациями» и «духовно демобилизовавшиеся», сразу ушедшие в частную жизнь. И тех и других в Лубнах было очень немного.

В дальнейшем в Куринь начали поступать юнкера-лубенцы,

не успевшие кончить училищ из-за большевицкого переворота. Их было в городе пять или шесть человек – в том числе трое артиллеристов Сергиевского училища (в Одессе) и один Технического артиллерийского училища[156] (Петроград). Записалось и большинство вольноопределяющихся разных родов оружия, случайно застрявших в городе или постоянно там живших и вернувшихся с фронта домой.

Немало поступало и солдат – главным образом унтер-офицеров из городских жителей и подгородних хуторян. «Старых солдат», как принято было их называть, в отличие от неслужившей молодежи, принимали с большим разбором – как общее правило, только тех, за кого ручалось двое офицеров. Принимались все меры, чтобы в Куринь не проникли ненадежные в смысле большевизма люди. Среди «старых солдат» было немало таких, которые являлись, по существу, профессиональными воинами. Этой группе людей до сего времени посвящалось очень мало внимания в мемуарной литературе, а между прочим, они играли значительную роль во всех армиях Гражданской войны. На фронте, наряду с солдатами, которые только и думали, как бы вернуться домой (большинство), наряду с такими, которые сознательно желали победы (незначительное меньшинство), была еще категория людей, которые отвыкли от всякого мирного ремесла и жили всецело военными интересами. В нормальных условиях некоторые из них стали отличными сверхсрочными унтер-офицерами-профессионалами, которых, к сожалению, было очень мало в старой русской армии[157]. Не помню, где я слышал выражение – такой-то «скучает за фронтом».

Этих «скучавших за фронтом», окончательно выбитых из мирной колеи, очень привыкших к войне и опасностям, было немало. Надо сказать, что далеко не у всех солдат-профессионалов были сколько-нибудь отчетливые политические убеждения. Они привыкли состоять в части, получать казенный обед и ужин, исполнять приказания начальства, храбро драться, но и только. Чьи приказания исполнять и против кого драться, это уже дело второстепенное. Во время Гражданской войны такие люди с величайшей легкостью превращались из отличных красных солдат в столь же хороших белых и наоборот, проделывая к тому же это превращение зачастую по несколько раз. В них, несомненно, было нечто общее с кондотьерами Средних веков, с наемными солдатами Валленштейна и других полководцев времен тридцатилетней войны или XVIII столетия (вплоть до французской революции). И так же, как у этих солдат-наемников, у русских «кондотьеров» профессиональная храбрость соединялась с трудно победимой наклонностью к грабежу. Они

были, однако, отличным боевым элементом при условии, если начальник умел держать их в руках.

Совсем новой для нас, офицеров, категорией людей были многочисленные учащиеся, которые начали записываться к Куринь с первых же дней его основания. Позднее, когда боевые операции дивизии Натиева закончились и она была расквартирована в восточной части Харьковской губернии, очень многие из добровольцев вернулись домой в Лубны и поступили, тоже отчасти в силу инерции, в Куринь. В городе из мужских учебных заведений имелась гимназия, духовное училище и земледельческое училище (если не ошибаюсь, среднее). Кроме того, в Лубнах жило немало кадет, главным образом Полтавского корпуса. Все эти школы были представлены в Курине. Особенно много записывалось гимназистов старших классов. К добровольцам-учащимся мне еще не раз придется возвращаться в моей работе. Пока скажу только, что, несмотря на некоторые недостатки (неприспособленность к черной работе и порой немножко детское отношение к службе), огромное большинство из них оказалось в высшей степени надежными, работящими юношами, прекрасно усваивавшими в самый короткий срок военное дело. Много раз я говорил о них с кадровыми офицерами и всегда слышал одно и то же.

– Вот подите же… В прошлом – опора революции, а сейчас самые надежные солдаты, какие есть.

Не буду повторять тех соображений, в силу которых я считал, что ничего неожиданного в надежности добровольцев-учащихся, собственно говоря, не было. Я их подробно изложил в предыдущих главах, посвященных истории перерождения молодой русской интеллигенции в годы после революции.

Была еще одна категория добровольцев в нашем, весьма сложном по своему составу, Курине. В отряд поступало много молодых (17–19), раньше не служивших хлопцев из ближайших сел и хуторов. В отношении их помимо рекомендации был установлен имущественный ценз. Принимали крестьянскую молодежь охотно, но только сыновей зажиточных мужиков, имевших не менее двадцати десятин земли. Ввиду интереса, который, как мне кажется, представляет эта попытка (кажется, из всех антибольшевистских образований только на Украине и сделанная) создать роль классовой вооруженной силы, я в дальнейшем остановлюсь на ней подробнее. Я попытаюсь также охарактеризовать Лубенский уезд с точки зрения распределения земельной собственности. Не надо забывать, что именно этот уезд был «колыбелью» партии хлеборобов-демократов, сыгравшей крупную роль в истории гетманства. О всем этом речь впереди. Я

хочу пока лишь отметить, что в Курине с самого начала были не только «господа» и полугосподa, но и самый подлинный «народ», правда, в экономически более сильной своей части – «кулацкие сынки», по теперешней большевистской терминологии. Впоследствии, после свержения Центральной Рады, молодые хлеборобы составляли одно время главную массу солдатского состава Куриня.

Остается сказать еще несколько слов о последней, немногочисленной категории наших козаков. Это были славяне – военнопленные австрийской армии – сербы и галичане, в большинстве прекрасные, очень дисциплинированные и преданные люди. О них у меня, как и у других офицеров, осталось прекрасное воспоминание. Как общее правило, пленных неславян в Куринь не принимали. Исключение сделали для двух-трех обозных солдат-мадьяр, очень плохо говоривших по-русски, но хорошо несших службу и отлично обращавшихся с лошадьми.

Таким образом, первое время организаторам Куриня удалось в пределах уездных возможностей объединить: 1) всех почти офицеров – от гвардейских кавалеристов до прапорщиков военного времени из народных учителей и просто хорошо грамотных мужиков, 2) юнкеров, кадет и вольноопределяющихся, 3) старых солдат – отчасти убежденных антибольшевиков, отчасти «кондотьеров», 4) учащихся разных средних и низших учебных заведений самого разнообразного социального происхождения, 5) сыновей зажиточных крестьян, раньше не служивших в армии. Были отчасти использованы и военнопленные.

Много бывших солдат и офицеров Куриня погибло в боях с большевиками в Южной и Добровольческой армиях. Немало их в эмиграции, Только в Галлиполи было около тридцати человек лубенцев. Почти все они служили раньше в Курине. Проверить те данные относительно состава отряда, которые я привожу, нетрудно. Менее всего я собираюсь утверждать, что поведение всех чинов Куриня было безупречно. Как и всюду во время Гражданской войны, наряду с безукоризненно порядочными людьми были и «почти бандиты» (по терминологии Шульгина), совершавшие в отдельных случаях ничем не оправдываемые преступления. Однако факт остается фактом – Куринь, особенно в начале своего существования, объединял все почти антибольшевистские, но частью, далеко не контрреволюционные элементы. А вот как характеризует его Петров (ч. IV):

«Він[158] наформував якихсь бандитів під назвою «Лубеньский Гайдамацький Курінь…»[159]

Була то найманська збиранина всякого типу, несвідомого та

півсідомого іломонту, з великою домішкою розгуканої офіцорні, яка но хотіла йти до ніяких військових регулярних чи напів регулярних формувань, побоюючись, що там їх візьмуть у руки та пішлють проти ворога краще озброєного як безборонне соло. Було й чимало шибайголів звихноних війною, та всяких іших пройдисаіете»[160]. «Шибайголі» и «пройдисвіе» действительно были – почти исключительно в плохо дисциплинированной конной сотне, но все же, когда читаешь исторические материалы, подобные запискам бывшего начальника Украинского Генерального штаба (при Петлюре), становится жаль будущих историков. Нелегко им будет докопаться до правды…

Всего в Курине в лучшее время его существования состояло более трехсот человек. Огромное большинство из них фактически несло службу. Только немногие, записавшись, почти не являлись на занятия (таких звали шутя «почетными козаками») и постепенно были исключены.

Отряд в окончательном виде состоял из штаба, трех пеших сотен, конной сотни, взвода конной артиллерии, команды пулеметчиков (4 пулемета), команды связи и нестроевой команды. Таким образом, он являлся соединением из трех родов оружия и мог самостоятельно вести бой, Вооружен и снаряжен Куринь был отлично. Все необходимое удалось в изобилии получить из Киевского арсенала. Вряд ли бы немцы, с самого начала относившиеся по существу недоброжелательно к созданию на Украине самостоятельной силы, разрешили выдачу пушек, пулеметов и всевозможного снаряжения, если бы знали точно, для кого оно предназначается. Однако офицеры, командированные в Киев, сумели представить дело так, что оружие необходимо для запасных частей дивизии Натиева (эту последнюю германское командование терпело как более или менее необходимое зло). В Лубнах же с местными германскими военными установились с самого начала отличные отношения, и почти до самого конца существования Куриня они не чинили нам препятствий. Словом, уже в первых числах апреля мы получили два новых полевых орудия обр. 1902 г. с запасными частями, два зарядных ящика, около тысячи снарядов, насколько помню, шесть тяжелых и несколько легких пулеметов, несколько сот винтовок и карабинов, шашки, седла, артиллерийскую амуницию, пулеметные двуколки, походные кухни, богатое телефонное имущество, и в этом отношении мы находились в на редкость благоприятных для добровольческой части условиях. Каждого вновь поступившего козака можно было сейчас же одеть в новое отличное…

В отношении имущества, повторяю, мы были в полной мере

обеспечены и могли бы легко развернуться в более крупное соединение[161].

Много хуже обстояло дело с деньгами. Дело в том, что официально при уездном коменданте полагалась лишь «охоронна сотня» – человек восемьдесят, самое большее, по штату. На них и отпускалось денежное довольствие. Фактически же вместо сотни был создан отряд в триста штыков и сабель при двух орудиях. Средств, отпускаемых на «охоронну сотню», естественно, не могло хватить на содержание многочисленных людей и лошадей. Чтобы как-нибудь свести концы с концами, хозяйственной части Куриня приходилось пускаться на всевозможные ухищрения. Жалованье было установлено самое минимальное – гораздо ниже, чем в частях Натиева. «Козак» (независимо от того, был он в прошлом офицером, солдатом или вообще еще не служил) получал всего сорок рублей, да и то выдачи постоянно задерживались. Однако экономии было недостаточно. Одно время довольно крупные суммы ссужал (по существу, жертвовал) Куриню один местный сахарозаводчик. Приходилось идти и на еще более экстраординарные меры. Несколько раз хозяйственная часть продавала с аукциона разные предметы санитарного имущества, переданные нам расформировавшимися госпиталями в количестве, далеко превышающем потребности Куриня. Наконец, одно время (после гетманского переворота) Курень субсидировала партия хлеборобов, установившая с этой целью самообложение своих членов. При всем этом добывание денег, необходимых для существования отряда, было за все время его существования самой трудной задачей для нашего штаба.

Казалось бы, раз сформировалась надежная, как-никак, несмотря на все свои недостатки, воинская часть (их ведь было очень немного на всей огромной территории Украины), самое простое было легализировать ее существование, выработать штат и открыть потребные кредиты. Однако вокруг Куриня с самого почти начала завязалась весьма сложная борьба, в которой, кроме местного начальства, военного и гражданского, приняли скоро то или иное участие весьма высокие особы в Киеве, вплоть до самого гетмана Скоропадского. Для истории антибольшевистских начинаний эта борьба очень характерна. В уездном масштабе происходили по существу те же столкновения политических взглядов, личных самолюбий, наконец, просто более или менее корыстных интересов, которые потом, несмотря на наличие общего врага, разыгрались в масштабе всероссийском. Для меня лично лубенские свары, которые я наблюдал вплотную, были очень поучительны, но тогда, в 1918 г., не имея еще должной перспективы, я был склонен считать их местным явлением.

Однако об этих уездных междоусобицах, которым немало места уделяет и Петров (ч. IV), речь еще впереди. В настоящей главе я хочу наметить только общие контуры здания, которое мы пытались построить.

Успех формирования добровольческой (да и всякой иной) части в значительной мере зависит от того, удается ли создать внутреннюю спайку между ее чинами. Если этой спайки нет, получится механическое соединение людей, лошадей, повозок, оружия, которое рассыплется при первом же сколько-нибудь серьезном испытании. Нет коллективной души, нет и воинской части. Чтобы рота, эскадрон, батарея могли драться, нужно добиться образования человеческого сплава. Механическая смесь абсолютно никуда не годится.

В мирное время сплав, полковая спайка, офицерская и солдатская, создавались долгими годами совместной жизни и работы. Уже формирование новых частей во время войны представляло (я имею в виду сейчас лишь психологическую сторону) гораздо больше трудностей. Наконец, революция, развалив старую армию, разбила сплав на отдельные человеческие молекулы, которые как-то надо было вновь соединить.

Мы создавали наш Куринь, как я уже не раз отмечал, из чрезвычайно разнородных элементов и притом сейчас же после окончания[162] революции. Попытаюсь теперь выяснить, как повлияла революция на каждый из этих элементов… Они чувствовали себя чужими стране, где как-то надо было прокормиться, и просто плыли по течению. Отмечу только, что у себя на родине они привыкли к более вежливому (внешне, по крайней мере) обращению, чем то, которое практиковалось в большинстве частей русской императорской армии, и в этом смысле до известной степени влияли на равнодействующую куренных настроений.

Учащиеся были новичками в армии, но по-своему культурному уровню они, конечно, очень бы тяжело восприняли каждую грубость начальника. Революция тут была, собственно говоря, ни при чем. Чего хотели вольноопределяющиеся перед войной, того ждали и учащиеся-добровольцы нашего Куриня, да и всех вообще антибольшевицких формирований. Будьте требовательны и строги, раз это необходимо в военном деле, но уважайте в солдате человека. Это, конечно, истина в высокой степени прописная, но беда в том, что как раз прописные истины легче всего забываются. Я несчетное число раз наблюдал во время Гражданской войны, какой вред приносило забвение офицерами именно этой плакатной истины.

Для меня нет никакого сомнения в том, что революция[163] частью повысила, частью создала у русских людей, особенно простых, чувство личной чести. Это касается в особенности «сознательных» – в хорошем смысле слова – солдат, проделавших Великую войну и хотевших бороться с большевиками. Некоторые из старых солдат, поступавших к нам в Куринь, вполне продуманно ненавидели большевизм. Каждому из вновь записавшихся говорилось, что комитетов и выборного начала у нас нет, так как на митинговых началах армия существовать не может. Большинство с этим соглашалось. Я помню только один случай, когда фейерверкер-хуторянин, приехавший поступать в Куринь, выслушав установленное предупреждение, заявил, что мы, очевидно, против завоеваний революции и он поэтому записаться к нам не может. Однако у тех солдат фронтовиков, которые желали поступить в Куринь, ненависть к большевикам соединилась с резко выраженным отталкиванием от того, что в солдатской среде называлось «старым режимом». Этим термином обозначался не столько политический строй, сколько некоторые бытовые особенности старой армии.

По своей природе вооруженная сила является организмом весьма медленно изменяющимся. Эволюция нравов и обычаев любой армии всегда несколько отстает от соответствующей эволюции окружающего общества. Так было, конечно, и в России. В старой нашей армии при всех ее достоинствах было гораздо больше остатков крепостничества, чем в русском гражданском быту. В других моих работах мемуарного характера я привел целый ряд таких случаев – иногда смешных, иногда возмутительных, которые в конечном счете объясняются именно этим бытовым консерватизмом, причем, странное дело, в Добровольческой армии, в силу какого-то своеобразного атавизма, стали возможны явления, абсолютно невозможные в армии императорской.

«Старый режим» для солдата-антибольшевика, видевшего революцию, это была прежде всего офицерская ругань, высокомерие (кстати сказать, свойственное по преимуществу малокультурным офицерам военного времени), обращение на «ты», запрещение курить на улицах[164] и в публичных местах, запрещение посещать общественные сады[165] и т. д.

Почему-то сюда не причислялось и отдание чести «становясь во фронт».

Что касается обращения на «ты», то в Великороссии оно, кажется, соответствовало народным обычаям. В Московской губернии я сам наблюдал, как трудно было приучать солдат говорить «вы» офицерам. Новобранцы то и дело тыкали. Совсем

иначе обстояло дело на юге. Там обращение на «ты» очень резало ухо даже деревенским парням, и они весьма неохотно к нему привыкали – особенно пожившие в городе. Не надо забывать, что на Украине (по крайней мере, в Подольской и Полтавской губерниях, которые я больше всего знаю) в крестьянской среде было несравненно меньше грубости, чем на севере.

Наши молодые парни-хуторяне, попав в Куринь, на равных основаниях с гимназистами, кадетами и офицерами, изо всех сил старались – это ясно чувствовалось – вести себя как «господа». Тянулись всячески и, надо сказать, многие из них внешне очень пообтерлись, притом в очень короткий срок. Эта крестьянская молодежь, хотя и не служила при «старом режиме», но относилась к нему не менее враждебно, чем фронтовики.

Восстанавливать или, вернее, вводить во вновь формируемых частях воинскую дисциплину было необходимо. Восстанавливать «старый режим» – устаревшие, дореволюционные формы дисциплины было психологически совершенно невозможно. Надо сказать, что тогда, в Лубнах, решительно все офицеры считали это самоочевидной истиной. В какой-то мере революция принесла им пользу. Я невольно вспоминаю одного своего ровесника – пехотного офицера, который мне сказал летом 1918 г. в Киеве:

– Знаете, ей-богу, революция пошла на пользу нашим генералам… Больше нашего брата ценят.

После всего, что пришлось видеть и пережить за революционный год, у всех нас, офицеров, независимо от чинов и возраста, появилось это совершенно естественное, но потом, к сожалению, у многих опять заглохшее чувство – надо ценить и любить людей, которые к нам идут.

С большинства офицеров под влиянием только что пережитого слетела если не вся, то много духовной шелухи. Стали проще, человечнее (не говорю, мягче), освободились от многих предрассудков. Не люблю этого специфического слова, но приходится его сказать – демократизировались. Некоторые, в том числе и пожилые, впервые начали задумываться над такими понятиями, как «права человека и гражданина». Очень характерно, что в Лубнах, насколько я знаю, по инициативе гвардейского генерала Литовцева, и притом без всякого давления ни сверху ни снизу, установился знаменательный обычай. Все чины Куриня здоровались (вне строя, конечно) за руку. При том настроении, которое установилось первое время после изгнания большевиков, это делалось совершенно естественно и немало содействовало объединению – «господ» и «мужиков». Кстати сказать, именно эта рознь – рознь между свиткой и пиджаком, а не между богатыми и бедными, сильнее всего сказывалась в годы

Гражданской войны и с ней тяжелее всего было бороться. «Барин» мог быть бедняком, а «мужик» – богатым, но между ними – должно быть, со времен крепостного права – был труднопреодолимый антагонизм.

Сколачивая Куринь, мы всеми силами старались сблизить две основных тогда антибольшевистских силы – интеллигенцию, в самом широком смысле слова (от кадровых офицеров гвардейской конницы до народных учителей, как водится, ярых украинцев и социалистов), и зажиточных крестьян. Мне кажется, что до известной степени, по крайней мере в первые месяцы существования отряда, мы достигли своей цели. Всеобщие рукопожатия явились, конечно, только символом. Гораздо важнее было то, что постепенно, но довольно быстро создавалась прочная внутренняя спайка. Начальство, правда, быстро и основательно перессорилось. Подчиненные жили дружно. Все почти – офицеры кадровые и некадровые, пехотинцы, конники, артиллеристы, юнкера, гимназисты, кадеты, унтер-офицеры старой армии, хлопцы-хуторяне, пленные сербы… Я далек от мысли рисовать идиллию. Всего бывало… Но там, где генерал Петров усматривает гнездо «якихс бандитив», я все-таки вижу очень дружную воинскую часть и нимало не жалею, что служил в ней. Было в наших отношениях много сердечности. Потом, в Добровольческой армии, мне ее очень не хватало – впрочем, это, может быть, только личное впечатление.

Во всяком случае, когда приходится встречаться с кем-нибудь из уцелевших «бандитов», сразу вспоминается то молодое, бодрое время и добром вспоминается.

Глава XI

Обзору военных действий обыкновенно предшествует в специальных работах военно-статистическое описание театра войны. Наш Куринь фактически участвовал в Гражданской, по преимуществу внутрикрестьянской войне, принявшей после изгнания большевиков латентные формы. Изредка лишь скрытая форма переходила в открытую, и на территории Лубенского уезда разыгрывались форменные бои; даже с применением артиллерии. Мне кажется, что для более точного понимания событий, свидетелем и участником которых мне пришлось быть, необходимо дать хотя бы самый краткий очерк социальной структуры уезда. Я ограничусь только сельским населением – в городе Лубнах и окрестностях стоял, кроме Куриня, довольно сильный германский гарнизон, и какие бы то ни было вооруженные выступления недовольных элементов против «существующего строя» были совершенно невозможны, хотя не раз ходили слухи, что восстание готовится. Лубенский уезд занимал площадь в 2115 кв. верст – 220 328 десятин[166] при населении в 169 085 душ и средней плотности 80 человек на 1 кв. версту. По данным земской переписи 1910 г., в уезде было:

малороссов[167]-95,00 %,
евреев – 3,33 %,
великороссов – 1,43 %,
остальных – 0,24 %.

Согласно данным той же переписи, грамотных было: в городах – 57 %, в селах – 24 %, вообще по уезду – 26,7 % (42 % мужчин и 11,2 % женщин). Таким образом, в Лубенских селах более половины мужчин и девять десятых женщин были неграмотными.

Что касается общей характеристики распределения земельной собственности, то необходимо сразу же отметить, что уезд не был помещичьим – дворянам и чиновникам принадлежало лишь 20,32 % земли. Кроме того, крупных имений – более пятисот десятин – имелось всего 17, общей площадью в 17 994 д. 120 средних владений (от 50–500 д.) занимали такую же почти площадь – 18 085 д. Наконец, преобладающая масса – 437 – дворянских и помещичьих владений принадлежали к числу мелких (менее 50 д.) общей площадью всего лишь в 5402 д.

Отношения между помещиками и крестьянами, по крайней мере до революции, были за малыми исключениями удовлетворительны. Об этом свидетельствует тот факт, что за время «первых большевиков» в Лубенском уезде никто из

помещиков не был убит (погибло лишь двое хуторян – козаков, убитых односельчанами) и не было сожжено ни одной усадьбы[168], в то время как в соседнем, Хорольском, было убито более 60 помещиков, козаков и зажиточных крестьян. В гетманский период лишь двое лубенских помещиков воспользовались правом взыскать денежное вознаграждение за расхищенное имущество (отставной жандармский генерал Мусман и г. Чегринец. Первый из них был известен тем, что на земских собраниях доказывал необходимость восстановить телесные наказания для крестьян. Что касается г. Чегринца, то он, единственный из всех лубенских землевладельцев-дворян, попытался нажиться за счет селян. Пользуясь своими знакомствами с германским командованием, он взыскал с мужиков 17 000 рублей, в то время как разграбленное имущество стоило самое большое 5000. Повторяю, однако, что это были редкие исключения. В общем лубенские помещики стремились ликвидировать (как тогда казалось) революцию как можно более безболезненно и проявили в этом отношении много такта и понимания обстановки.

Борьба принимала порой жестокие формы, главным образом внутри «непривилегированных сословий», которым принадлежала основная масса земли: 52,74 % – козакам, 16,80 % – крестьянам. Если сравнивать большинство козаков и крестьян, то значительной разницы в смысле обеспеченности землей между ними не было (козаки все же в среднем несколько богаче крестьян). Те и другие разнились больше по своему психологическому облику. Потомки малороссийских козаков считали себя до известной степени привилегированным в непривилегированной среде сословием и с крестьянами не смешивались. В селах смешанного состава обычно имелось два общества – крестьянское и козачье, отдельно собиравшееся и на сходы. Было бы, однако, ошибкой считать, что эта обособленность шла так же далеко, как на Дону или на Кубани, где козаки и иногородние – два отличных мира. В Лубенском уезде борьба шла не между козаками и крестьянами, а между экономически слабыми и сильными.

В предыдущей главе я уже упомянул о том, что, как общее правило, в Куринь в начале принимали только тех молодых селян, у отцов которых было не меньше 20 десятин земли. Я не знаю, по чьей инициативе была установлена именно эта норма. Во всяком случае, люди, хорошо знавшие местные условия и в первую очередь сами хлеборобы, считали, что 20 десятин это надежная гарантия антибольшевистского настроения. Надо, впрочем, сказать, что понятие «антибольшевистский»

нечувствительно переходило в «антисоциалистический». По существу, в Куринь принимали детей селян[169], которые должны были пострадать или уже пострадали от провозглашенной Центральной Радой социализации земли.

Таким образом, Куринь, хотя вначале в нем и было немало офицеров-социалистов, принимал явно антисоциалистический оттенок.

Естественно возникает вопрос, насколько велик и экономически силен был тот пласт селян, на который хотели опереться организаторы Куриня и поддерживавшие его политические группы. Вопрос этот имеет и более общий характер – много ли было на Украине селян, на активную поддержку которых могла практически, а не теоретически рассчитывать буржуазно-демократическая государственность. В конечном счете в Лубенском уезде, с большими и меньшими изменениями, делалось то же самое, что в других местах Украины, а равнодействующую наших устремлений, как я считаю, можно было определить именно термином «буржуазно-демократическое» государство.

Мне снова придется обратиться к статистическим данным – всякие иные определения носили бы чересчур субъективный характер. По данным земской переписи 1910 г., средний размер земельной собственности непривилегированных сословий по уезду определялся в 6 десятин. Однако сама по себе эта цифра говорит мало, т. к. внутри непривилегированных сословий земельная собственность была распределена крайне неравномерно. Подробных данных по уезду мне, к сожалению, отыскать не удалось. Придется поэтому остановиться на цифрах, относящихся ко всей губернии:

Число хозяйств	В %
Менее 1 дес.	20,1
1—3	23,9
3—6	24,0
6—9	12,5
9—15	10,6
15—25	5,5
25—50	2,6
50 и более	0,8

Для нас интересны главным образом три последние категории[170]. В сумме они дают всего около 9 (8,9) % всех хозяйств. Однако экономическая их мощность весьма велика, так как эти категории владели соответственно 16,5, 13,6 и 12,4 % земли. Им, следовательно, принадлежало 42,5 % всей земельной собственности непривилегированных сословий. Для проверки этих цифр, относящихся к Полтавской губернии в целом, могут служить данные, приведенные в сборнике Центрального статистического комитета МВД «Статистика землевладения», выпуск XVIII. Они относятся к 1905 г. и касаются лишь земель, принадлежавших крестьянам[171] на правах личной собственности. Однако у тех групп, которые нас интересуют, надельная земля составляла обычно лишь небольшую часть их владений. Таким образом, данные Статистического комитета вполне достаточны, поскольку речь идет о зажиточных крестьянах.

В 1905 г. из 4857 крестьянских владений было 333 владения больше 20 десятин, что дает 6,8 %. Эти 333 владения обнимали 56 % всей земли, принадлежавшей крестьянам на правах личной собственности. При этом, внутри сословия, собственность распределялась следующим образом:

Число десятин	Число владений
20—30	132
30—40	61
40—50	41
50—100	71
100—200	29
200—300	5
300—400	3
400—500	0
500—1000	1 (547 десятин)

Характер мобилизации земельной собственности за предвоенное десятилетие «Статистический сборник» определяет следующим образом: «Таким образом десятилетие 1900–1910 гг. во-первых, не увеличило, а сохранило в прежнем количестве наибеднейших собственников, во-вторых – сократило в мелкой собственности средних хозяев и, в-третьих, усилило контингент лиц, более обеспеченных землей». Сделав известную поправку на эти изменения, можно сказать, что в 1918 г. в отношении зажиточных селян картина была та же самая: у большинства из них от 20 до 100 десятин, тридцать – сорок владений по 200 десятин и лишь у единиц целые имения средней руки.

Таким образом, норма в 20 десятин, установленная для приема в Куринь, отвечала приблизительно одной десятой всех селян, которым, однако, принадлежало не меньше 40 % земельной собственности непривилегированных сословий.

Говоря советским языком, мы ставили ставку «на кулаков». Среди этих зажиточных селян больше всего было малороссийских козаков. У некоторых из них относительно крупные земельные участки переходили из рода в род на протяжении столетия. У других (большинства) наряду с наследственной землей была и благоприобретенная. Немало было и разбогатевших крестьян – по имуществу бывших государственных. За редкими исключениями все это были самые настоящие «трудящиеся», работавшие в пору уборки хлеба по 16, по 18 часов в сутки. Стоило посмотреть на огромные мозолистые руки молодых козаков нашего Куриня, чтобы понять, что жизнь дается им нелегко, несмотря на богатство. Конечно, эти люди крепко держались за свою землю и крепко любили ее. При первой возможности заводили сельскохозяйственные машины. В разграбленных, сожженных хуторах мне почему-то больнее всего было смотреть на изломанные, изуродованные сеялки, жатки, конные грабли. «Кулаки» гораздо лучше, вероятно, наравне с помещиками обрабатывали свои земли[172], чем мелкие хозяева. Урожаи, правда, далеко не достигали западноевропейского уровня, но все же урожайность в крупных хозяйствах была примерно в полтора раза больше, чем в мелких. За десятилетие 1904–1913 гг. соответственно: рожь 90 и 61, озимая пшеница 82 и 66, яровая пшеница 71 и 53, ячмень 79 и 63, овес 95, 72 и т. д.

Весь ход мобилизации собственности перед войной показывал, что экономически будущее именно за крупными трудовыми крестьянскими хозяйствами. От «кулаков» перейду теперь к «беднякам». Уже Таблица 1 показывает, что у одной пятой селян Полтавской губернии были микроскопические участки (менее одной десятины), да и следующая по малоземельности категория (1–3 десятины) очень многочисленная – 23,9 %. Еще показательнее следующие цифры, относящие также ко всей губернии:

Размер владения	Число хозяйств в %
Имеют землю, но не имеют пахоты	16,4
Имеют пахоты менее 1 дес.	9,1
1—2	14,5
2—3	11,6
3—6	23,2

Таким образом, малоземелье в губернии было резко выражено: 40 % всех хозяйств не превышали двух десятин и около 20 % вовсе не имели пахотной земли. В Лубенском уезде 4,2 % хозяйств вовсе не имели земли.

Надо заметить, что, хотя «малоземелье» часто совпадало с «бедностью», однако не все безземельные и малоземельные крестьяне были «бедняками», так как хлебопашество являлось в уезде главным, но не единственным источником существования сельского населения. По данным земской переписи 1910 г., в Лубенском уезде на 100 хозяйств приходилось живших от:

1. Хлебопашества – 62 %
2. Занятий неземледельческих – 11 %
3. Поденщины, заработков и зажона – 9,5 %
4. Хлебопашества и занятий неземледельческих – 9,9 %
5. Хлебопашества и поденщины, заработков – 6,5 % и т. д.

Для нас представляют интерес главным образом группы 3 и 5, составляющие в сумме 15 % хозяйств. Именно эта беднейшая часть населения – сельскохозяйственные рабочие, батраки и полубатраки являлась наиболее опасным элементом для буржуазно-демократической, да и для всякой иной, не большевистской государственности. По преимуществу из их среды рекрутировалась Красная армия во время пребывания большевиков на Украине. Они же пополняли всевозможные повстанческие отряды и просто разбойничьи шайки, свирепствовавшие в Полтавской губернии во время Гражданской войны. Крестьяне, так или иначе жившие хлебопашеством, хотя и захватывали землю и инвентарь помещиков и своих более богатых односельчан, но разбойные нападения и убийства почти всегда были делом людей, относившихся к этим беднейшим 15 %.

Таким образом, внутриселянская Гражданская война в Лубенском уезде была по преимуществу борьбой между 10 % зажиточных и 15 % беднейших крестьян и козаков. Конечно, главная масса селян – остальные 75 % тоже не была вполне

пассивной, но все же несомненно проявляла гораздо меньше активности, чем первые две группы.

Было бы, однако, крупнейшей ошибкой считать, что в украинских, в частности в Лубенских селах, была налицо та же ясность и четкость сознания своих интересов, которая существует у западноевропейских крестьян. Это относится как к «беднякам», так и к «кулакам» – к последним, пожалуй, еще в большей степени, чем к первым.

Летом 1924 г. мне пришлось работать в Южной Чехии, недалеко от Табора, у крестьянина – собственника 40 мер[173]. Он побывал в русском плену, видел революцию и больше всего удивлялся «глупости» русских зажиточных мужиков, совершенно, по его мнению, не понимавших, что их интересы совпадают с помещичьими.

– Я голосую вместе с нашими помещиками и всегда так буду голосовать. Ну, у меня мало, у них много, но начнись революция – всех ограбят, и князя Шварценберга, и меня.

На Полтавщине в 1918 г. классовое самосознание у зажиточных крестьян только начинало пробуждаться. О ясности и четкости не приходится, конечно, и говорить[174]. Лубенский уезд еще шел до некоторой степени впереди остальных, благодаря наличию энергичных организаторов (инженер С. Шемет и др.). В Константиноградском на выборах в Учредительное собрание хуторян, владелец 300 десятин земли – в Полтавской губернии к началу Великой войны такое имение стоило 250–300 тысяч золотых рублей, голосовал за социалистов-революционеров. Офицер-односельчанин спрашивает, чего ради он это делает.

– Социалисты-революционеры за землю и волю. Мне кроме земли и воли больше ничего не нужно.

По правде сказать, от этого ответа до знаменитого и, кажется, не анекдотического «Ура, Константин, ура, конституция!» не так уж далеко. В том же Константиноградском селе самые настоящие пролетарии – сельскохозяйственные рабочие голосовали за список весьма по существу буржуазного союза хлеборобов-собственников. Опять тот же вопрос отпускного офицера – почему.

– А мы кто такие? Мы хлеборобы – за своих и голосуем. Не за панов же нам листки подавать[175].

– Какие мы граждане? Это жиды – граждане. Мы крестьяне.

Большевики, как показали позднейшие события, ясно понимали, что зажиточное крестьянство может стать опасным врагом. Однако сами богатые селяне, по-моему, очень плохо представляли себе, чем грозит им успех большевизма. Наряду с проблесками здоровой политической мысли часто чувствовалась

атавистическая общекрестьянская вражда к барину. Мне нередко казалось, что в глубине души все почти неинтеллигентные крестьяне – и богатые, и бедные – хотят одного и того же. По возможности не платить налогов, не давать солдат – вообще как-нибудь отделаться от государства, придуманного в своих интересах «господами» в широком смысле слова – всеми, кто носит европейское платье и живет не физическим трудом. В этом отношении было бы чрезвычайно интересно исследовать махновское движение, этот типичный пример крестьянского анархизма. Должен признаться, что в отдельных случаях мне приходилось наблюдать по существу столь же антигосударственные настроения и среди высококультурных чешских крестьян. Должно быть, корни крестьянского бунтарства лежат глубже, чем это кажется на первый взгляд.

Однако, несмотря на всю расплывчатость крестьянских политических настроений, была все же заметная разница в настроениях тех категорий, которые большевики обозначили впоследствии названиями «бедняков», «середняков» и «кулаков». О большевицких устремлениях первой из этих групп я уже говорил. В этом отношении мои личные впечатления вполне совпадают с теми многочисленными и интересными наблюдениями, которые приведены в «Воспоминаниях» Петрова. Автор местами совершенно забывает об официальной концепции русско-украинской войны и подробно рассказывает о том, как одна часть украинского населения ожесточенно боролась с другой.

Я не разделяю марксистского положения, согласно которому бытие определяет сознание. Надо, однако, сознаться, что на низших стадиях культуры «сознание» определяется все-таки по преимуществу «бытием». Во время Гражданской войны на юге России бедняки-гимназисты, дети мелких чиновников, а нередко и рабочих, все почти шли в Добровольческую армию. Наоборот, бедное село почти всегда значило в то же самое время большевицкое село. Если поблизости от него было крупное имение, большевицкие настроения, как общее правило, еще усиливались.

Надо еще прибавить, что как в русской, так и в украинской мемуарной литературе и беллетристике господствует в отношении 1918 г. определенный трафарет. Были бедные, мирные безоружные крестьяне и не помышлявшие о большевизме, и были разбойные гайдамаки, на них нападавшие вместе с немцами, грабившие, убивавшие, и в конце концов подготовившие торжество большевиков. Читатель моих воспоминаний найдет, мне кажется, немало материала для того, чтобы решить, в какой

мере это представление соответствует действительности. Приведу пока одну корреспонденцию из «Робітничої газети» – № 247 от 12 апреля 1918 г. – органа украинских социал-демократов меньшевиков, которых трудно заподозрить в контрреволюционности: «Мисто Лютенка на Полтавщині. У нас пануют большевики[176].

Селяне настроэні по большевистьски. В селах повно всякой зброї, яку приховують селяне, як самі кажуть, до служного часу. Большевики агштуют, настроюючи селян вороже против штелігенцм і хуторян. Підчас спектаклю, якого упаштовано було, в містечку мюцевими інтелігентами, большевики намірялись, викликами проти інтелігентів погром, який тільки завдяки холодному і поважному поведенж не удався»[177].

К идее украинского государства большевистская часть крестьянства относилась резко враждебно и считала Украину панской выдумкой. Наоборот, «кулаки», наряду с сельской интеллигенцией и частью помещиков, являлись собственно единственно серьезной опорой украинского движения. Впрочем, более или менее ярко выраженными самостийниками были лишь члены партии «хлеборобов-демократов», основанной С. Шеметом. Что касается другой, численно большей организации – «Союза земельных собственников», ее национальные устремления были значительно более умеренными. Самостоятельность Украины воспринималась не как цель, а как средство избавиться от красных. Для меня не было никакого сомнения в том, что, пади большевики в Великороссии, союз огромным большинством высказался бы за федерацию или даже удовольствовался бы автономией Украины. В этом отношении гораздо непримиримее была настроена, по крайней мере в Лубенском уезде, сельская интеллигенция и в особенности полуинтеллигенция – главная опора самостийников.

Монархических настроений среди зажиточных селян я почти не наблюдал. Исключениями были некоторые, очень немногочисленные кадровые солдаты, преимущественно унтер-офицеры гвардейских частей. С другой стороны, не было и резко выраженной враждебности к монархии. Зато социалистическую Центральную Раду, провозгласившую социализацию земли, «кулаки» ненавидели дружно и действенно, Гетманство в значительной мере было создано напором зажиточных селян, встретивших поддержку со стороны оккупационных[178] властей. Что касается отношений между зажиточными селянами и помещиками, то я уже упоминал о том, что первые плохо понимали, а порой и совершенно не понимали общности интересов всех обеспеченных земледельцев, кто бы они ни были –

козаки, дворяне, чиновники, крестьяне или евреи[179]. По старой памяти легко устанавливался общемужицкий фронт против барина. В некоторых случаях в этом бывало виновато высокомерие помещиков, отталкивавшее возможность союзников. Не надо забывать, что чувство личной чести, особенно среди потомков малороссийских козаков, было развито[180] гораздо сильнее, чем у большинства великорусских крестьян, веками состоявших в крепостной зависимости. В некоторых случаях, корни если не вражды, то холодных отношений между: помещиками и его богатыми соседями, селянами надо было искать в далеком прошлом, чуть ли не до XVIII века включительно. В такой почвенной традиционной стране, как коренные украинские губернии, прошлые обиды давали себя знать даже тогда, когда и действительные обидчики – какой-нибудь полковник Лубенского полка или генеральный писарь и действительно обиженные – какие-нибудь малороссийские козаки времен Екатерины давным-давно истлели в могилах.

Надо, однако, сказать, что помещиков, относившихся к селянам с обидным высокомерием, в Лубенском уезде было мало. В большинстве случаев сыновья очень небогатых людей, сельские «паничи» лет до 10–11, когда надо было поступать в гимназию или в корпус, жили безвыездно в селах, дружили с крестьянскими ребятишками, нередко вместе с ними ходили в начальную школу. Само собой разумеется, с детства отлично говорили по-украински. В младших классах средней школы нередко плохо справлялись с русским языком, а украинское «г» обычно оставалось до конца дней. В этом отношении очень характерен Полтавский кадетский корпус, пополнявшийся процентов на 80 сыновьями местных помещиков. Взрослые кадеты, не забывая малорусского, говорили по-русски совершенно правильно, но в первом-втором классе мальчики постоянно сбивались на родной им «хохлацкий». Чтобы бороться с этим, в Полтаву обычно назначали офицеров-великороссов.

Естественно, что и в зрелые годы у большинства оставались прочные связи с деревней. Однако революция подвергла их большому испытанию. Желание расхитить барский двор, вообще говоря, пересиливало симпатии к барину и там, где они были. Я не знаю случаев, чтобы «кулаки» принимали участие в этих разгромах, но с другой стороны, до весны 1918 г. они совершенно не пытались наряду со своей собственностью защищать и господскую. Чтобы не навлечь ненависти односельчан, они долго старались держаться подальше от «панов». Только постепенно, по мере того, как усиливался напор «бедняков», богатые селяне начали понимать необходимость объединения с земельными

собственниками привилегированных сословий, с интеллигенцией, военными, словом, с «панами» в широком смысле слова. Наш Куринь был одной из попыток такого объединения.

Итак, большевики могли опереться на 15 % беднейших, буржуазно-демократическая государственность – на 10 % богатых. Какая же власть могла рассчитывать в 1918 г. на поддержку со стороны массы селянства – остающихся 75 %?

По моему глубокому убеждению – никакая.

В самом начале революции украинское село, уставшее от войны за непонятные общегосударственные интересы, ушло от власти и добром не собиралось к ней возвращаться. Самое большое, на что могло рассчитывать какое угодно правительство со стороны крестьянской массы, был нейтралитет. Поддерживать власть активно, значило – платить налоги, давать солдат, давать лошадей. По крайней мере, три четверти населения ни того, ни другого, ни третьего делать не желали. Судьбы государства оставались вне пределов их понимания.

Мне кажется, что негосударственность сельской массы, нередко переходившая в антигосударственность, была доказана в годы Гражданской войны экспериментально. Мне не удалось выяснить, сколько властей сменилось в Лубенском уезде. Во всяком случае не меньше десятка. В Александровском уезде Екатеринославской губернии к августу 1920 г. переменилось 19 правительств. Ни там, ни здесь масса, по существу, не поддерживала ни одного. В Лубенском только единицы боролись против большевиков за правительство Центральной Рады, несмотря на то что последняя прокламировала социализацию земли. Точно так же не встретили поддержки Временное правительство, большевики, гетман, Добровольческая армия… Пожалуй, единственным исключением был Петлюра в период борьбы со Скоропадским. Надеясь разобрать землю, селяне помогли ему довольно дружно, но раз добившись своего, снова перестали интересоваться судьбами Украинской республики. Большевики овладели ею почти без сопротивления.

Я считаю, что называть сельское население Лубенского ли уезда, Полтавской ли губернии, или всей Украины в целом, крестьянской демократией, значило просто играть словами. Демократия – субъект государственности. Преобладающая масса козаков и крестьян на Украине в революционные годы была ее объектом.

Итак, на нашем театре военных действий – в Лубенском уезде шла борьба двух селянских меньшинств. С одной стороны, численно слабый, около 10 %, но экономически сильный слой зажиточных казаков и крестьян, на активную поддержку которых

могла рассчитывать украинская буржуазно-демократическая государственность. Им противостояла большевистски настроенная группа беднейших селян (почти исключительно бывшие владельческие крестьяне, около 15 %).

Основным фоном являлась вооруженная и настроенная в этот период более или менее анархически масса, которая стремилась, разобрав землю, уйти от власти, но обычно не оказывала ей открытого сопротивления.

Каковы же были при этих условиях задачи отряда, поставившего себе целью «охрану порядка и борьбу с анархией в тылу наступавшей армии?»

Естественно, что первым условием установления какого бы-то ни было порядка было систематическое разоружение сельского населения и в особенности тех его слоев, на поддержку которых власть не могла рассчитывать.

Необходимо было также во что бы то ни стало поднять авторитет власти и напомнить селянам о том, что «начальство пришло»[181]. Без исполнения этого условия не было ни малейшей надежды удержаться, если бы германцы ушли.

Во внутриселянской борьбе Куринь, по существу, не только антибольшевистский, но и антисоциалистический, не мог не стать на сторону государственно надежных «кулаков» против большевистски настроенной бедноты.

Само собой разумеется, что всякую попытку вооруженного сопротивления надо было решительно ликвидировать. На этом сходились все чины Куриня, не исключая и прапорщиков-социалистов. Чрезвычайно сильно было отталкиванье от «керенских» методов обращения с мятежниками.

Куринь мог действовать только с согласия и в контакте с германцами, которые являлись фактическими хозяевами положения.

Наконец, необходимо еще отметить, что антисоциалистический по своим настроениям отряд, при наличии социалистического правительства Центральной Рады, неминуемо должен был оказаться государством в государстве.

Глава XII

Не помню, откуда название «экспедиции». Оно напоминало карательные экспедиции 1905 г., хотя, за малыми исключениями, походы Куриня по уезду имели с ними мало общего. Обыкновенно нашей целью были не кары, а разоружение и демонстрация какой ни на есть вооруженной силы, которая, в случае чего, сможет и покарать.

Обыкновенно выступали рано – часов в шесть-семь. Перед зданием гимназии стояли рядами собранные по наряду от уезда крестьянские подводы. Выносили ручные и станковые пулеметы. Рассаживались человека по три, по четыре. На маленьких телегах по двое. Вытягивались длинной вереницей. Первые походы были чисто «украинские». Потом начались смешанные – германцы и мы. Заранее намечалось несколько сел, которые мы должны были объехать и разоружить. Кроме того, мы отбирали всякое вообще казенное имущество (кроме обмундирования), брошенное расформировавшимися частями. Казенных лошадей[182] подвергали осмотру и брали только годных для строевой службы.

Остальных оставляли крестьянам, причем владелец получал удостоверение о том, что лошадь признана негодной к службе и отобранию не подлежит.

В уезде расформировался Одесский уланский полк. Крестьяне, разобрав отличных кавалерийских коней, привыкших к тщательному уходу и хорошему корму[183], поставили их в свои тесные, грязные конюшни, а с наступлением весны запрягали уланских лошадей в плуги и бороны. В поле на них было жалко смотреть. Отощавшие, ослабевшие от отсутствия овса – только богатые селяне давали его лошадям, опаршивевшие благодаря плохой уборке[184], кавалерийские кони производили жалкое впечатление. Я лишний раз порадовался за своего «Зефира», отданного полякам. Общей участи не избежали и офицерские лошади-полукровки и даже чистокровные. Великолепные животные, попавшие в невежественные руки, неумело шагали по черноземе, все время сбиваясь с борозды. Привычная рабочая лошадь держит ее почти без управления. Узнать в поле строевых коней было легко и без осмотра, особенно, когда наша конная сотня была, наконец, посажена. Обыкновенные рабочие лошади не обращали внимания на проходящую конную часть. Это их не касалось. Артиллерийские и, в особенности, кавалерийские, сразу останавливались, поднимали головы, внимательно смотрели на всадников. Некоторые начинали ржать. Когда мы уводили их в Лубен – отощавших, измученных, было такое ощущение, что мы

спасаем жертв революции.

Во время первой экспедиции, когда мы еще не имели возможности реквизировать лошадей за отсутствием помещения и корма, нам привели на сборный пункт чистокровную английскую кобылу со следами плохо пригнанной упряжи. Мне сразу бросились в глаза благородные линии скаковой лошади. Ротмистр Гречка, командир конной сотни, внимательно осмотрел ее, потом отвел меня в сторону:

– Знаете, ей по мирному времени цена четыре-пять тысяч…

С хозяина была взята подписка о том, что он обязуется никому не продавать кобылу. Мы хотели во что бы то ни стало сохранить ее для Куриня. Подписка, впрочем, не помогла. Когда дней через десять в село послали приемщика, лошади не оказалось. Ее «украли» и увели неизвестно куда.

Случалось, впрочем, что лошади попадали и в хорошие, заботливые руки.

Мою «Мери» – гнедую кобылу орлово-растопчинской породы, отлично бравшую препятствия, привел хлебороб-хуторянин в таком виде, точно она только что из полка. Короткая шерсть лоснилась. По движениям лошади сразу чувствовалось, что ее кормили овсом. Копыта были расчищены. Никаких следов чесотки, которой обычно болели у крестьян кони, приведенные с фронта. Хуторянин принес даже казенную щетку и скребницу в холщовом мешочке. Попросил меня позаботиться о кобыле, потому что он к ней очень привык за эти месяцы. В работу не пускал. Очень жалею, что забыл его фамилию – таких, как он, немного было.

Общее впечатление от первых экспедиций Куриня и лично у меня, у всех участников получилось довольно мирное. Встречали нас в селах не могу сказать чтобы приветливо (за исключением «кулаков»), но, во всяком случае, не враждебно. Чувствовалось, кроме того, что на Куринь, смотрят с любопытством. Пока конная сотня не получила лошадей, «эксцессов»[185] не было. Наши козаки вели себя хорошо.

Ни грабежей, ни порки, ни расстрелов. Со времени революции крестьяне не были избалованы дисциплинированностью вооруженных людей – кто бы они ни были – появлявшихся в селах. Обычно по меньшей мере резали попавшихся под руку гусей, уток и пороли подозреваемых политических противников. Гуси и порка – это был некий минимум. Что касается максимума, его определить трудно. Во всяком случае, кого-нибудь приходилось хоронить.

Мы платили за продукты, покупаемые для котла, гусей и уток не резали (надо, впрочем, сказать, что обычно крестьяне

бесплатно кормили своих постояльцев), никого не пороли. Вместе с тем наши винтовки, пулеметы и присутствие еще более дисциплинированных германцев говорили о том, что сопротивляться нам бесполезно.

Не порем, но, если понадобится, очевидно, расстреляем. Мысли в девятьсот восемнадцатом году были жестокие и упрощенные – и у красных, и у их противников.

Обычно по приезде в село начальник экспедиции вызывал старосту и приказывал собрать сход. Люди тем временем отдыхали и обедали. Затем на площади выстраивались весь Куринь и германцы, если они были с нами. Здесь же стояли запряженные пушки и пулеметные двуколки. Начальник экспедиции произносил краткую речь и приказывал под страхом предания военно-полевому суду доставить все имеющееся оружие, казенное имущество и лошадей, принадлежавших расформировавшимся частям. Обычно всюду повторялась одна и та же картина. Мужики, как только «начальство» появлялось на крыльце, снимали шапки. Начальник экспедиции приказывал надеть. Когда говорить со сходом поручали (впоследствии) мне, я всегда подчеркивал, что теперь не «старый режим» и что гражданам Украинской Республики (потом Украинской Державы) шапок ломать не подобает. От начала революции в те времена прошел только год, и некоторая доза демагогии мне казалась необходимой. Насколько я мог судить, отрицание «старого режима» в восемнадцатом году неизменно производило на крестьян благоприятное впечатление. Мы являлись в село, как власть, но всячески подчеркивали, по крайней мере вначале, что мы новая власть.

О том, что разоружить население было совершенно необходимо, я уже говорил в предыдущей главе. Возникает вопрос, в какой мере нам удавалось осуществить это разоружение. Обычно селяне сносили в значительном количестве винтовки – в большинстве случаев не смазанные и успевшие заржаветь, нередко вовсе без затворов. Мы получали также немало седел, амуниции, разного рода запасных частей. Иногда попадались совсем неожиданные предметы военного имущества, об употреблении которых крестьяне не имели никакого представления. Так, например, раз принесли часть радиостанции. Зато за все время существования Куриня не было сдано ни одного пулемета. Точно так же не приносили и револьверов. Само собой разумеется, что обыски, которые мы иногда производили, были чистой проформой. В условиях крестьянского быта найти спрятанную где-нибудь в клуне винтовку, а тем более револьвер, практически совершенно невозможно. Однако мы все же,

несомненно, достигали того, что не выданное оружие приходилось держать вне дома. В селе все друг друга знают. Почти всюду были хлеборобы – члены союзов, поддерживавших власть, которые были кровно заинтересованы в разоружении односельчан и всячески следили за подозрительными. Общими усилиями мы загнали оружие в землю, и там оно обычно быстро ржавело и портилось, так как большинство солдат-фронтовиков не взяло с собой из частей смазочных материалов, а обыкновенное машинное масло для этого, очевидно, мало годилось. По крайней мере, повстанческие отряды за редчайшими исключениями не имели исправных пулеметов, в изобилии брошенных по селам расформировавшимися частями. Что касается орудий, то укрывать их при систематически производившихся и сверху и снизу поправках было совершенно невозможно. Артиллерии у повстанцев не было, за исключением одного-единственного случая, когда пушки были доставлены из Советской России[186].

Долгие походы – шли мы, обычно, шагом – оставляли много времени для разговоров. Каждая подвода была маленьким подвижным клубом. За войну и революцию у всех почти накопился огромный запас впечатлений. Пока лошади, изредка подхлестываемые возницей, медленно брели по лубенским холмам и долинам, «козаки» – бывшие офицеры, солдаты, хуторяне, гимназисты, военнопленные говорили и говорили. Очень часто речь шла о деревне и о земельной реформе. Очень мало кто защищал социализацию земли, декларированную существовавшей тогда властью – Центральной Радой. В насквозь собственнической Полтавщине, где общины северо– и среднерусского типа, кажется[187], никогда не существовало, среди интеллигентных людей очень сильно было убеждение, что социализация на практике не может не быть перманентной анархией. Исключением являлись наши прапорщики, главным образом из народных учителей, читающие после переворота эсеровские брошюры и искренне верившие в то, что социализация не только осуществима, но и может радикально удовлетворить земельный голод на Украине. Цифры на них не действовали. Говорили о крупных имениях и крохотных крестьянских участках. В этом они были, конечно, правы, но о том, что наделить всех землей все равно невозможно, и слышать не хотели. Их горизонт был, собственно говоря, немногим шире крестьянского.

Большинство стояло за частную собственность, но психологическую необходимость земельной реформы понимали, кажется, все, кто над этим задумывался. Надо было во что бы то ни стало расширить тот базис, на который могла бы опереться

власть, или, по крайней мере, обеспечить нейтралитет массы. Не произведя парцелляции крупных имений, достигнуть этого было нельзя.

Лично я тоже понимал, что подавить анархию и восстановить авторитет власти – это одно, а сохранить земельный status quo – другое. В возможность прочной экономической реставрации я, как и большинство лубенских офицеров, не верил, но, признаться, о разделе имений думал с искренней тоской. Я с детства любил помещичью Россию. Эгоизма в этом не было – не только моим родителям, но и огромному большинству наших родственников – служилых дворян, не принадлежало ни одной десятины. Дома у нас отношение к помещикам было скорее враждебным. Моя любовь к старым домам, паркам, всему помещичьему обиходу была скорее эстетического порядка и началась с поездок к моему приятелю Старжинскому в имение Островчаны близ Каменца. Позднее, будучи студентом, я покупал каждый номер «Столицы и Усадьбы». Любил красоту во всех ее проявлениях. Психологически был готов защищать ее силой оружия, хотя бы с риском для собственной жизни. Кроме того, я ясно отдавал себе отчет в том, что рано или поздно неизбежный раздел имений – это экономическое движение вспять – переход от многополья и почти европейских урожаев самое большее к четырехполью и падение производительности земли в полтора раза. Теоретически можно было говорить о высококультурных мелких крестьянских хозяйствах, практически это было чистейшее мечтание, хотя и не бессмысленное. Но, повторяю, необходимость произвести радикальную земельную реформу после успокоения деревни для меня была ясна и в 1918 г. Я представлял ее себе в форме выкупа помещичьей земли за плату при посредстве государства, предоставляющего крестьянам широкий кредит. В социалистические и полусоциалистические эксперименты вполне последовательно не верил. Мне казалось (кажется, я был в отношении Лубенского уезда прав), что большинство помещиков понимает неизбежность ликвидации крупного землевладения. Всем прежде всего хотелось жить… Сложнее было с «кулаками». Кто хоть немножко знал украинскую деревню, не мог не чувствовать, что эти своей кровной земли добром никому не отдадут. Будут защищаться. Я помню, мы, интеллигентные офицеры, видели выход в установлении относительно высокого минимума земли, которая может принадлежать одному владельцу.

Из походов возвращались когда под вечер, когда совсем ночью. Не служившая раньше молодежь училась засыпать на тряских подводах – с непривычки тоже не слишком легко. Я

обыкновенно растягивался на соломе, подложив походный мешок рядом с морским летчиком бароном Евгением Ивановичем Доршпрунг-Целице, с которым я очень подружился. Мы долго не засыпали, даже если была поздняя ночь. У высокого, худощавого поручика Доршпрунга была отличная выправка, тонкие, но резкие черты лица и никогда не сходивший, неевропейский загар. Он лет в восемнадцать-девятнадцать, оставшись сиротой, получил в наследство порядочное состояние. Став совершеннолетним, отправился путешествовать. Пять лет без передышки носился по земному шару. Побывал даже в Австралии и на Огненной Земле. Самым удивительным и опасным было путешествие по Бразилии. В компании с четырьмя или пятью иностранцами барон Доршпрунг-Целице пересек ее с востока на запад в самом широком месте. Едва не погибли в лесах. Один умер от желтой лихорадки. Когда вышли все припасы, начали стрелять и есть обезьян, поджаривая их на вертеле. На берег Тихого океана выбрались совсем обессилевшие. Пришлось всем лечь в госпиталь. Война застала Доршпрунга студентом одного из американских университетов. Бросил все и поехал во Францию. Был ранен в битве на Марне. Потом переехал в Россию. Еще несколько раз ранили. Кончил кампанию в Армении. Летал на единственном гидроплане, который был у нашей армии на озере Ван. Путешественник, американский студент, французский кавалерист, русский пехотинец и летчик, Доршпрунг мало кому рассказывал о своих приключениях.

– Кто поверит тому, что в бразильских лесах есть порода обезьян, которые чуют смертельно больных людей? Целыми днями сопровождают караван и, прыгая с ветки на ветку, ревут совершенно человеческими плачущими голосами. Когда человек умирает, обезьяны оставляют караван в покое… Я сам не верил туземцам, а потом увидел…

Мне очень запомнились эти ночи на подводах[188]. Апрельский холодок, яркая луна, телега подпрыгивает на рытвинах, мужик подстегивает лошадей, а у нас Рио-де Жанейро, обезьяны-плакальщицы или мраморное кружево индийского Тадж-Махала. Один раз на крутом повороте подвода перевернулась, и я больно разбил себе плечо. Хорошо, что не было грязи.

В начале апреля (числа не помню) в Лубнах козаки Куриня по показаниям местных жителей арестовали большевика-матроса, тайком вернувшегося в город. Рассказывали (сейчас не проверишь), что он при красных сам хвастался участием в убийствах морских офицеров в Севастополе. Помогал бросать их живыми в топки котлов. Я был в канцелярии Куриня, когда туда

привели арестованного. В комнату набилось много офицеров и солдат. Чувствовалась захватившая всех злоба. Ругались. Один из офицеров хотел ударить. Помощник атамана Куриня полковник К. (генерала Литовцева не было) резко остановил.

– Господа офицеры, здесь кабинет атамана Куриня, а не полицейский участок. Не забывайте этого.

Поутру во флигель-казарме стоял гул возмущенных разговоров.

– Неужели не расстреляют?

Все требовали смертной казни – монархисты, социалисты, хуторяне, учащиеся. К вечеру стало известно, что комендант уезда, полковник Шулков приказал назначить военно-полевой суд из состава чинов Куриня. Выслушав свидетелей, суд приговорил матроса к расстрелу. Приговор был утвержден и на рассвете приведен в исполнение командой, занаряженной от одной из пеших сотен. Поутру один из офицеров, расстреливавших осужденного, рассказал мне, как это было. Вывели за город к железной дороге. Привязали к дереву. Очень волновались. Когда наступил момент командовать и стрелять, командир взвода совсем растерялся.

– Знаете, мы не знали, как это полагается делать… Все в первый раз…

Кто-то выстрелил по своей инициативе. Промазал. Смертник начал рваться, а офицер все медлил. Выручил гимназист-семиклассник. Не «веселый расстрельщик» П. Другой – совсем уже не жестокий и никогда не бывший в бою. Крикнул офицерам:

– Господа, что же вы делаете? Он убежит…

Подбежал вплотную, вскинул винтовку и дважды выстрелил матросу в лицо и в грудь.

– Да, знаете, молодчина, не растерялся, а мы совсем того…

Тело выдали родственникам. Хоронили довольно торжественно – семья была зажиточная. По южнорусскому обычаю везли в открытом гробу. На подушке моталась восковая голова, один глаз был завязан. В Курине как раз шли занятия. Их, конечно, не прервали, когда колесница ехала мимо. В артиллерийском взводе была на очереди стрельба холостыми зарядами. Чтобы не полопались окна в гимназии, в гильзах оставили только капсюльные втулки. Без всякого умысла вышло так, что я скомандовал «огонь!» как раз в тот момент, когда похоронная процессия показалась из-за угла. Вороные лошади мотнули головами. Красивая молодая баба, любовница расстрелянного, сильно завыла. Рассказывали, что потом она покончила с собой. Отравилась.

Военно-полевой суд и расстрел произвели в Лубнах очень

сильное впечатление. Рабочие винного склада и местных заводиков сразу замолчали. Расстреляй мы этого матроса без суда, это никого бы не поразило. Просто очередное беззаконие, каких со времени революции много было. Подействовала именно легальная или, по крайней мере, казавшаяся легальной процедура, вежливое обращение с родственниками расстрелянного, опубликование приговора в газете. Интересная психологическая подробность – расстрел повлиял не только на симпатизировавшие большевизму слои лубенского населения, но и на козаков Куриня, особенно на солдат-фронтовиков, участвовавших в революции. Они тоже почувствовали, что «начальство пришло», и притом начальство, которое не шутит.

Адъютант Куриня ротмистр Белецкий рассказал мне о своем вестовом, добровольно оставшемся при ротмистре после развала фронта:

– Знаете, он хороший парень, но, понятно, тоже был тронут революцией. Иногда грубил… Сегодня прямо шелковый – даже воду мне на руки лил совсем иначе.

Пришлось и мне, неожиданно-негаданно, побывать председателем украинского военно-полевого суда – через несколько дней после расстрела черноморского матроса. Курень был послан – на этот раз вместе с германцами – в село Чутовку, которое пользовалось репутацией большевистского. Оно почти сплошь состояло из малоземельных и совсем безземельных хозяев. Там же было расположено довольно богатое имение генерала Мусмана, об отношении которого к крестьянам я уже говорил. Предыдущий владелец тоже не умел ладить с мужиками. Его предки приобрели Чутовку каким-то сомнительным, чуть ли не уголовно-наказуемым, способом.

Словом, все данные для накопления большевистских настроений.

Впрочем, мы были посланы в это село (инициатива экспедиции исходила не от германцев, а от Куриня или от коменданта) не для искоренения настроений, а для того, чтобы по возможности арестовать и наказать преступников. Во время большевиков было произведено вооруженное ограбление кассы экономии, участники которого, ничем не тревожимые, продолжали проживать в селе. При Центральной Раде власти в деревне почти не существовало. Кроме того, крестьяне, как водится, разграбили помещичий скот и инвентарь.

Мы пришли в Чутовку после полудня. Разместились по хатам. По заранее составленному на основании сведений, доставленных членами хлебопашеских союзов, списку были произведены аресты. Насколько я знаю, за малыми исключениями никто из

участников ограбления кассы не пытался скрыться – они чувствовали себя в безопасности. Арестовали и главного зачинщика, молодого 19– или 20-летнего парня. Ночевали по крестьянским местам. В том доме, где стоял я и еще несколько офицеров, как раз был арестован один из сыновей по подозрению в вооруженном ограблении. Хозяйка, жаря нам традиционную яичницу с салом – никто ее не умеет так готовить, как украинские бабы, вытирала слезы передником. Уверяла, что сын ни в чем не участвовал.

Поутру меня вызвал к себе начальник экспедиции, полковник, окончивший Военно-юридическую академию, и объявил, что я назначаюсь председателем военно-полевого суда, которому предаются вчерашние арестованные. Я пробовал было просить отменить уже написанный приказ, так как я не юрист по образованию, очень молод по возрасту и боюсь не справиться с таким ответственным делом. Полковник не согласился. Объяснил мне мои обязанности. Напомнил о том, что военно-полевой суд, по существу, есть средство устрашения массы, а не строго юридическая процедура. Выразил уверенность в том, что судить я буду без запальчивости и раздражения.

– Только не либеральничайте, поручик Раевский. Помните, что сейчас революция…

Кроме того, полковник предупредил меня, что ввиду отмены Центральной Радой смертной казни мы не имеем права выносить смертных приговоров. Максимальное наказание, которое можно назначить, – бессрочная каторга[189].

Впрочем, раз взявшись за дело, я старался выполнить его возможно лучше. Прежде всего внимательно прочел нужные статьи Свода военных постановлений. Соответствующий том начальник экспедиции захватил с собой из Лубен. Затем пошел в господский дом, где должен был созвать суд, организовать заседание. Я исходил из того, что вся процедура должна быть обставлена для усиления впечатления как можно торжественнее. Начальнику караула приказал говорить подсудимым «вы». Унтер-офицер, который несколько дней тому назад по привычке объяснял обязанности часового перед тем, как поставить меня на пост, теперь тянулся вовсю перед председателем суда. С офицерами, назначенными членами суда, тоже условился о том, что с подсудимыми мы будем объясняться, как в окружном суде. Никаких повышений голоса. Вести допрос мирно и спокойно.

Обращение на «вы». Это производит несравненно больше впечатления, чем крики и размахивание нагайкой.

Мы представляем власть.

Для заседания выбрал самую большую комнату – столовую.

Велел старушке-няне, очень побаивавшейся молодого председателя, снять ярко-красную портьеру и по углам пришить золотые кисти. Получилась совсем торжественная скатерть. На стол положили перед каждым судьей бумагу и карандаши, поставили графин с водой и никелированный звонок. У нашего свода Военных постановлений вид был очень тощий. В деревне закон должен выглядеть иначе. В библиотеке я выбрал три тяжелых тома без надписей на переплетах, но с золотым обрезом. Положили в середине стола.

Мы привели в порядок свои френчи и гимнастерки. Надели походное снаряжение. Двух рослых козаков с обнаженными шашками я поставил на террасе, выходившей в парк. Ход на нее был прямо из столовой. Когда мы садились за торжественный красный стол, я заметил, что два подпоручика и два прапорщика, составлявших присутствие, сами волнуются. За отдельным столиком поместился делопроизводитель – прапорщик с высшим юридическим образованием. Таким образом, даже по терминологии Петрова нас нельзя было назвать «судом мясников и палачей».

Для военно-полевого суда подробных норм судопроизводства не существует. По существу, мы, однако, разбирали дело, подсудное в нормальных условиях окружному суду, и в отношении допроса свидетелей, постановки вопросов и т. д. я решил держаться приблизительно тех форм, которые существуют в гражданском суде. Понаслышке я знал их с раннего детства, когда мой отец был еще судебным следователем. Старался придать как можно больше уверенности своему голосу. Весь допрос пришлось вести самому – члены суда, малоинтеллигентные офицеры, видимо, стеснялись предлагать неумело формулированные вопросы.

Как я и ожидал, вежливое обращение с подсудимыми действовало на них сильнее всякого крика. Я подробно расспрашивал молодого парня с довольно-таки разбойничьей физиономией о том, когда, как и кому он грозил бомбами, о том, какие это были бомбы и откуда он их получил. Шуршало перо делопроизводителя. Караульные с шашками наголо неподвижно стояли по бокам допрашиваемого.

– Караульный начальник, уведите подсудимого.

Унтер-офицер щелкнул шпорами. Посыльный распахнул дверь. Я все время следил за соблюдением ритуала.

Дело было ясное. Подсудимые, за исключением двух, были несомненно виновны в том, в чем их обвиняли. Вооруженное ограбление кассы. Разгром инвентаря. Угрозы убить. Можно, конечно, спорить о том, целесообразно ли было вообще судить.

Лично у меня было твердое убеждение в том, что преступление, совершенное в «порядке революции», не перестает от этого быть преступлением. Шесть или семь подсудимых мы разделили на группы. Долго обсуждали меры наказания. Инициатору вооруженного ограбления в силу несовершеннолетия определили два с половиной года каторжных работ. Остальным – тюрьма на разные сроки. Двоих – шестидесятилетнего старика, которого явно оговорили деревенские неприятели, и сына хозяйки, у которой ночевал, единогласно постановили оправдать. Приговор проредактировал и переписал на врученном мне начальником отряда белом листе, внизу которого генерал Литовцев надписал: «Приговор военно-полевого суда утверждаю». Это было, кажется, заимствовано из практики усмирения первой революции. Наконец, все было готово. Члены суда подписали приговор. На площадке перед господским домом уже стояли в строю весь Куринь, германская пехота и пулеметчики. За войсками должно быть все почти население Чутовки. Перед фронтом – окруженные сильным караулом подсудимые. Два козака распахнули дверь. Суд вышел на балкон. Я вынул из папки приговор.

– По указу Украинской Центральной Рады…

– В струнку. Слухай до вар-ты!

– Gewehr![190]

Фронт ощетинился штыками, сверкнул шашками. Трижды пробили германские барабаны. Голос у меня довольно сильный и за время войны был натренирован командами на открытом воздухе. Я читал приговор, стараясь, чтобы каждое слово было ясно слышно на небольшой поляне. Кончил. Приказал освободить оправданных. К остальным подъехали подводы. Взвод конной сотни с шашками наголо должен был конвоировать осужденных в тюрьму. С места пошли рысью. Бабы и дети громко завыли.

Начальник отряда сказал мне, что я отлично справился со своей ролью.

Наказания очень умеренные, но эффект огромный. Теперь за Чутовку можно быть спокойным. Будут сидеть тихо.

Случилось, однако, то, чего мы никак не предполагали. Как только осужденные были сданы в тюрьму, туда прибыл уездный комиссар и собственной властью всех освободил. Эффект, конечно, получился еще больший, чем от военно-полевого суда. Недели через две мужики разгромили уцелевший до того барский дом. В квартире, говорят, не осталось ни одной вещи. Вдребезги разбили прекрасную коллекцию фарфора. В ответ на это в село была послана уже настоящая карательная экспедиция. Конная сотня, и только она одна. Пехота и артиллерийский взвод считались для этого неподходящими. Много мужиков

перепороли. Ходили слухи об одном или двух расстрелах (понятно, без суда), но с уверенностью я не могу утверждать, что расстрелы были. Во всяком случае, гражданская власть в лице комиссара, не сговорившись с военной – комендантом уезда, совершенно ее дискредитировала в глазах чутовских и окрестных крестьян. Село осталось одним из самых беспокойных и при гетмане. Вместе с тем у чинов Куриня усилилась уверенность в том, что дальше так дело продолжаться не может. Совершенно невозможно положение, при котором действия военного начальника в местности, объявленной на военном положении, парализуются гражданским лицом. Вероятно, с юридической точки зрения были неправы оба и оба допустили превышение власти[191]. Трудно, однако, решить, какими законами и положениями надо было руководствоваться в безвластный, по существу, период Центральной Рады.

Приходилось делать то, что диктовала обстановка, требовавшая прежде всего восстановления престижа власти хотя бы и жестокими методами.

Кстати сказать, вернувшись домой, я показал копию приговора нашего военно-полевого суда отцу, очень резко относившемуся к деятельности этого рода судов, и просил его высказаться относительно наказаний. Отец прочел и улыбнулся:

– Однако ваши военные законы стали теперь мягче, чем наши. В окружном суде эти парни так легко бы не отделались…

Впрочем, в самом Курине еще до освобождения осужденных комиссаром были недовольные приговором. Находили его слишком суровым. Один офицер, бывший политехник, заявил мне:

– В вас совсем не чувствуется студента.

Я мог только ответить, что очень рад, если это так. Студентам нечего делать в военно-полевых судах, а члены военно-полевого суда не могут судить по-студенчески. Иначе получатся сапоги всмятку. Я этого блюда не люблю.

Глава XIII

С получением пушек я из козака пешей сотни превратился в старшего офицера конно-артиллерийского взвода, который было решено сформировать при Курине. Командиром взвода был назначен поручик Овсиевский, который был моложе меня по службе в старой армии, но раньше поступил в Куринь.

Мне неоднократно придется повторять «я сделал то-то», «я приказал то-то» и почти не придется упоминать о распоряжениях моего начальника – командира взвода. Дело в том, что поручик Овсиевский, хороший офицер и отличный товарищ, артиллерийское дело знал неважно (он окончил пехотное училище во время войны, но вышел в артиллерию). Кроме того, милый мой командир в Лубнах всецело был занят личной жизнью, нагоняя время, упущенное во время войны. Я в нужных случаях командовал ему «смирно, господа офицеры!», представлял на подпись бумаги, спрашивал, когда полагалось, разрешение сделать то или другое – словом, внешняя сторона соблюдалась со всей строгостью. В смысле работы Овсиевский предоставил мне полную свободу, ни во что не вмешивался и никогда не отменял моих распоряжений. Между нами установилось своего рода разделение труда – один считался командиром, другой командовал. Личные отношения между командиром и старшим офицером были отличные. Я с удовольствием вспоминаю о корректном и очень сердечном по натуре поручике Овсиевском. В городе считали, что «артиллерию» формирую я.

Во взводе состояло еще несколько офицеров разных родов оружия. Одно время наводчиком был моряк – младший лейтенант, привыкший к обращению со своими двенадцатидюймовыми громадинами, но быстро ориентировавшийся и в материальной части трехдюймовой полевой образца 1902 г. системы Путиловского завода.

О летчике бароне Доршпрунге я уже говорил. Он тоже прослужил во взводе недолго – месяца два. Был вторым номером при орудии – отворял замок.

Имелся у нас и офицер – еврей, двадцатилетний прапорщик Мочерет, окончивший при Временном правительстве наше Михайловское артиллерийское училище. Он мне много рассказывал о революционном Петрограде и быте училища в ту эпоху. Отлично дисциплинированный, подтянутый, лихощеголеватый юноша, он ничем не отличался по своему облику от михайловцев дореволюционного времени. Относились к нему

хорошо, но после первого же боя начали за глаза посмеиваться. Под пулями прапорщик Мочерет вел себя очень неважно. Надо быть справедливым – во взводе состояло еще двое евреев – солдат Великой войны, ездовой Оштрах и вольноопределяющийся доброволец, сын богатого лубенского сахарозаводчика, раньше в армии не служивший. И тот и другой отлично переносили опасность. Ездовой впоследствии хотел записаться в Южную армию, вольноопределяющийся – в Добровольческую. Обоим пришлось отказать. В Южную евреев вообще не принимали, в Добровольческой интеллигентному еврею пришлось бы тяжело среди простых солдат-южан с их исконным антисемитизмом.

Одно время я поручил было заведование конским составом кавалерийскому офицеру корнету Л. Н. Мосолову, жившему в Лубнах, но молодому корнету работать в Курине не хотелось. Он всего несколько раз появился в конюшнях и вскоре уехал на Дон. Несколько дольше прослужил прапорщик-артиллерист, очень демократического происхождения, фамилию которого я не помню. Отец его занимался извозным промыслом. Прапорщик был относительно культурным молодым человеком – среднюю школу кончил, но в один прекрасный день попался в самовольной реквизиции в свою пользу – по существу, в грабеже. Мне было приказано арестовать своего подчиненного, но он успел скрыться из Лубен.

Таким образом, кроме Овсиевского и меня, офицерский состав взвода был в значительной мере текучим. Зато постоянными и надежными нашими помощниками было трое юнкеров Сергиевского училища – Войцеховский, Павлович и Лисенко и «артиллерийский техник» Патурнак, всячески старавшийся походить не на юнкера Технического артиллерийского училища, а на лихого кавалериста-николаевца. Очень обижался, когда по обычаю его звали «тихим ужасом». У Павловича близких в Лубнах не было, и ему с самого начала пришлось поселиться в казарме. Остальные долгое время жили дома, но к восьми часам утра аккуратно являлись в Куринь. С одним из них – портупей-юнкером А. Н. Войцеховским – я очень подружился. Одно время снимал комнату у его матери, жены чиновника, эвакуированного из Польши. Это была очень интеллигентная, жизнерадостная женщина, крепко любившая Россию. Теми же качествами обладал и сын – весьма самолюбивый, темпераментный и волевой человек, с которым было приятно и легко работать, несмотря на его вспыльчивость. Один из тех молодых студентов, которые прониклись дисциплиной и, что еще важнее, сознанием необходимости дисциплины, действительно до мозга костей. Когда я

познакомился с Андреем Войцеховским, в просторечии Андрюшей, он был убежденным монархистом – конституционным конечно. О русской республике не мог спокойно говорить. Впрочем, мать Войцеховского выдала мне тщательно скрываемую им тайну, в то время годовой всего давности:

«– Не узнаю я своего Андрюшу… Наверное, он вам теперь не говорит, как проводил первые дни революции. Ворвался ко мне как сумасшедший, глаза полоумные, беснуется, кричит:

– Мама, мама, такая радость – царя больше нет! Россия – свободная страна, дождались наконец, мама!..

Прежде всего бросился снимать портреты царской семьи…»

Когда я пишу это, у меня такое ощущение, точно я вскрываю могилы давно умерших мыслей. Слова, которые шестнадцать лет тому назад сказал некий портупей-юнкер бывшей российской армии. Думаю все-таки, что эти раскопки не зря. Подлинных слов обыкновенных людей не очень-то много сохраняется для истории. Стыдиться тем более нечего – все мы тогда вообразили, что произошла национальная революция и более или менее бесновались. Летом 1919 г. мы встретились с Войцеховским на поле боя, недалеко от станции Искровки в Полтавской губернии. Тот раз успели только обняться и сейчас же опять простились – обоим надо было спешить. В 1920 г. я, будучи в Севастопольской офицерской артиллерийской школе, часто навещал Войцеховского, опять поступившего в Сергиевское артиллерийское, размещенное в историческом Северном укреплении. В России ему все-таки так и не удалось дослужиться до офицерского чина. Был произведен в подпоручики в Галлиполи. В самые первые галлиполийские дни, когда мы еще порядком походили на изголодавшуюся толпу, а не на воинские части, Войцеховский отыскал меня в лагере. Осунувшийся, побледневший после голодовки на пароходе, но такой же бодрый и подтянутый, как и в Лубнах. Из училища он вышел в конную артиллерию и впоследствии уехал к матери в Польшу.

Совсем иным человеком был Георгий Павлович – образец дисциплинированного и работящего нытика-пессимиста. Вероятно, этот юнкер страдал одной из форм неврастении. Я видел его изо дня в день в течение нескольких лет и редко помню его смеющимся. Обычное состояние: недовольство всем окружающим, обиженность, а на войне – ожидание катастрофы. В 1920 г., во время тяжелой Крымской кампании, на Павловича, к тому времени уже произведенного в поручики, под огнем было тяжело смотреть. Он с большим трудом переносил обстрел. Ввалившиеся лихорадочные глаза, побледневшие сжатые губы. Не воин, а человек, которого ведут на расстрел. В бою под

Гейдельбергом (есть такая колония в Северной Таврии, очень памятная Дроздовской дивизии) пуля проделала Павловичу геометрически ровный пробор. Была сорвана только кожа. Подпоручик быстро оправился, но, должно быть, от удара, начались частые головные боли и угнетенное состояние еще больше усилилось. Командир хотел откомандировать Павловича в тыл. Тот не соглашался. Наряду с порядком больными нервами у молодого офицера было большое самолюбие и упорство. В Галлиполи он производил впечатление почти невменяемого человека. Ко всему, что было раньше, присоединилась больная злоба ко всем начальникам. Его выходок старались не замечать – Павлович не был, конечно, душевно больным, но каждый, кто с ним имел дело, чувствовал, что параграфы дисциплинарного устава тут неприложимы. Меня он возненавидел остро за то, что, мол, под моим влиянием пошел на войну и разбил себе жизнь. В конце концов, подпоручик Павлович перевелся на «беженское положение» и уехал в Болгарию. Некоторое время работал на постройках в Софии, но вскоре впал в полное отчаяние и через Союз возвращения на родину вернулся в Россию. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Вероятно, погиб.

В Лубнах, да и позже, в Добровольческой армии, я очень ценил Павловича за сильно развитое чувство долга. Отдавая ему приказание, всегда был уверен, что юнкер по совести сделает все возможное, чтобы его исполнить. Наводчиком он был отличным.

Третий сергиевец – Борис Лисенко, в недалеком прошлом студент-первокурсник, был самым штатским из всех наших юнкеров. Выправка хорошая, послушный, исполнительный, но в каждом движении, в каждом слове чувствуется единственный сын, студент, штатский, переодетый в военную форму. Так о нем и товарищи говорили: «Хороший человек Борька, только беда в том, что очень домашний».

В семье Лисенки был настоящий культ чувства долга. Когда отец юнкера, член окружного суда, узнал, что я сделал сыну замечание за неявку на службу, он был совершенно подавлен. Не допускал мысли, что Борис может нерадиво относиться к принятым на себя обязанностям. Должен сказать, больше мне выговоров делать не пришлось – Лисенко всегда вовремя был на месте. Умом он чувствовал, что надо служить, бороться с большевиками, жертвовать своими привязанностями, но сердце, видно, говорило другое. Не мог оторваться от семьи. Зимой 1918/19 г., единственный из наших юнкеров, не был в Армии. Остался в Лубнах. Скрывался, едва не был расстрелян. Осенью, после взятия города, я увидел его в студенческой форме. Встретился со мной очень приветливо, но явно конфузился своего

штатского вида. Потом поступил в армию (кажется, по мобилизации), был командирован кончать училище в Одессу. Во время эвакуации на пристань не пошел – опять пересилила «домашность». За границу, судя по всему, не попал. Опять приходится приписать – вероятно, погиб. Так, по крайней мере, думали его приятели.

Что касается четвертого юнкера – Потурнака, от него пользы во взводе было мало. Я не удовлетворялся лихим отданием чести и звяканьем шпорами. Требовал работы, хорошего ухода за лошадью, аккуратной чистки винтовки и т. д., а работать нарядный длинношинельный юнкер не хотел. В конце концов, когда увидел, что я берусь за дело всерьез, подал рапорт об уходе. Был у нас и один кадет[192] – семнадцатилетний Володя Мосолов, сын командира Елисаветградского гусарского полка. Он поступил в Куринь уже обстрелянным – дрался с большевиками, если память не обманывает, где-то под Оренбургом. С трудом пробрался в Лубны. Явился домой босиком. Всю одежду пришлось сжечь – столько в ней было вшей после путешествий в теплушках. Через несколько дней, немного отдохнув и подкормившись, явился записываться в артиллерию. Красивый, физически отлично развитой юноша сразу произвел на всех офицеров отличное впечатление. Он с раннего детства привык к лошадям, очень хорошо ездил, вольтижировал и – самое ценное – заботился о лошади больше, чем о самом себе. Я предложил назначить Мосолова конным разведчиком и не ошибся.

О судьбе этого кадета расскажу дальше. Через мои руки прошло за время Гражданской войны много воспитанников разных корпусов: за малыми исключениями, у всех них было сильно развито чувство долга, а любовь к России была неотъемлемой частью души. В этом отношении Владимир Мосолов не составлял исключения, но все-таки у него преданность долгу граничила с фанатизмом. Отрываться от семьи и ему, почти мальчику, было очень нелегко, но когда пришел час, он не колебался. Удивительно цельный был человек.

В маленькой команде разведчиков был еще один козак, которого я никогда не забуду. Во время Германской войны в Галиции, особенно во время отступления, к нашим частям пристало немало деревенских мальчиков-галичан. Держали их обыкновенно в обозе. Толку от детей не было, понятно, никакого – в лучшем случае, помогали кашеварам чистить картошку. В то же время, живя в солдатской среде, мальчики научились курить, пить, сквернословить. Двое-трое, которых я лично знал, производили отвратительное впечатление. К тому же некоторым солдатам доставляло какое-то дикое удовольствие всячески

развращать мальчишек. Во время войны, вдали от женщин, деревенские парни научились извращениям, о которых у себя дома не имели понятия. Словом, судьба исхулиганившихся полковых приемышей обыкновенно была печальная.

Встречались, понятно, и исключения. Некоторым везло – попадали в заботливые руки. Наш семнадцатилетний Кузьма Кардаш, родом откуда-то из-под Перемышля, записался в Куринь после трех лет пребывания на фронте. В старой армии о нем заботился командир батареи. Сначала отослал в обоз под надзор фельдфебеля, потом, когда минуло пятнадцать лет, зачислил толкового, послушного мальчика в команду разведчиков. К нам явился уже хорошо обученный наблюдатель-артиллерист, на которого можно было положиться, несмотря на крайнюю его юность. Служа в великорусской по составу батарее и все время сопровождая командира, Кардаш научился отлично говорить по-русски. Я сначала не хотел верить, что он галичанин.

Трогательна была у этого бездомного мальчика его любовь к взводу, к товарищам, к лошадям. Свою настоящую семью потерял без надежды когда-нибудь встретиться. От карпатской деревни остались развалины. Потом распалась батарейная семья. Семнадцатилетний фейерверкер остался совсем один. Когда попал в Куринь, все его полюбили. Тихий, исполнительный, отличный товарищ. Самой большой его страстью были лошади. Говорил о них, как о близких людях.

Последний раз я с ним виделся в пасхальную ночь 1919 г. на станции Караванной в Донецком бассейне. Возвращался с подарками для батареи из Ростова и, как назло, застрял в нескольких верстах от батареи. Пришлось до утра пролежать в холодном, плохо вычищенном после лошадей вагоне. Верстах в двух в селе звонили колокола, виднелась иллюминированная церковь, но после тифа не было сил идти туда по весенней степной грязи. Рядом со мной лежал Кардаш. Ему сильно нездоровилось. Ночью услышал, что мальчик всхлипывает:

– Что с тобой, Кузьма?

– Господин поручик, я так ее любил, и ее украли…

Я думал, бредит. Оказалось, речь идет о лошади, которую, благодаря неопытности дневального, украли мужики. В полночь похристосовались. Щеки у Кардаша горели. Утром вдруг упал в обморок. Отправил его в больницу, попросил как следует ухаживать. Через три недели с трудом отыскал могильный холмик. У него была скоротечная чахотка.

Команда телефонистов почти целиком состояла из гимназистов шестого-седьмого класса. Я подобрал туда толковых, расторопных ребят, которым можно было смело доверить

аппараты и катушки с проводом, знал, что в опасную минуту приказаний не переврут и приборов не бросят. Если и страшно будет, все-таки самолюбие не позволит впадать в панику на глазах у одноклассников. Да и что потом гимназистки скажут… Как раз такие маленькие соображения играли очень большую роль на Гражданской войне, поскольку речь идет об учащихся. Начальнику оставалось старательно наблюдать и уметь использовать молодые самолюбия.

В то же время в телефонисты я обыкновенно назначал тех, у кого не было ни любви, ни привычки к лошадям. В этом отношении интеллигентная молодежь делилась на три категории. Некоторым – очень немногим – можно было поручить пару лошадей. Вообще должность ездового не для вольноопределяющихся. У очень многих, вероятно у большинства, хватало сил и терпения ухаживать за одной. И это нелегко – особенно в походе и в зимнее время. Была, наконец, и в артиллерии, и всюду категория добровольцев, хороших солдат, но никаких кавалеристов. Если у гимназиста или студента нет любви к лошадям, в условиях Гражданской войны все равно силой не заставить как следует ухаживать. Дело не столько умения, сколько охоты.

Наши телефонисты в конники не годились. Во время походов ездили на подводах. Зато своим электротехническим делом занимались рьяно. Некоторые отлично изучили аппарат. Разбивали линии быстро и толково. Несложная вещь, но навык нужен немалый, чтобы получилось хорошо. Иногда только случались осложнения с проводкой линий по городу. Приходилось лазить на телефонные столбы, пользуясь специальными крючьями. Некоторым из гимназистов эта работа нравилась. Оригинально. Один заявил мне, что просит освободить его от проводки, так как «не желает изображать на потеху публике обезьяну». Пришлось протестанта за такой доклад поставить под шашку. Товарищи подняли его на смех за «несознательность», и дело уладилось.

В команде телефонистов один только «козак» был совершенно безнадежный. Молодой студент-юрист Киевского университета, писавший футуристические стихи неудобопонятного содержания. Худенький, сутулившийся человечек с аккуратно расчесанным пробором посреди головы и тонкими утомленными чертами лица.

Один футуристический поэт был и в нашем выпуске Михайловского училища. На лубенского студента, правда, непохожий – высокий, стройный. Явился в училище в чудесно сшитом английской материи костюме и шелковых прозрачных

носочках со стрелками. На первых порах уверял, что идеал мужчины – быть как можно более женственным. Через два месяца – загорелый, подтянутый, в тех сапогах, о которых пелось:

– Сапоги казенной кожи не боятся H_2O.

Футуристический поэт исправно прыгал через кобылу, вольтижировал и совсем забыл о женственности. Кончил, насколько помню, портупей-юнкером.

Телефонист-лубенец военной обработке не поддавался. Усердия было немало, результатов никаких. Лихая гайдамацкая папаха с красным шлыком и золотым «дармовисом» (кистью) сидела на нем прекрасно. Поворачивался неизменно через левое плечо. Даже с аппаратом не мог совладать. На занятия являлся часа через полтора после начала. Объяснение всегда одно и то же – накануне долго читал и проспал. Когда попали под огонь, не трусил, но вместо работы наблюдал, что делается кругом. В конце концов футуристу пришлось подать рапорт об уходе.

Шульгин хорошо сказал о том, что среди добровольцев были «почти святые» и «почти бандиты». В моей памяти галицийский мальчик Кузьма Кардаш – один из почти святых.

Еще двое вольноопределяющихся. Одного из них назову Д. – он жив, вероятно, проживет еще немало лет, и не хочется обижать человека, который лично ко мне был очень привязан. Д. – чистокровному поляку, впрочем, совершенно обрусевшему, было в то время лет восемнадцать. Из гимназии он отправился в первый Кубанский поход, но по каким-то причинам (в самом же начале) из армии ушел. По словам Д., выходило так, что его часть – Морскую роту – где-то отрезали и ему пришлось бежать, переодевшись в штатское платье. Рассказ звучал правдоподобно, но потом, узнав поближе Д., я стал с большей осторожностью относиться ко всему тому, что он говорил. Гимназист принадлежал к тому типу, который на добровольческом жаргоне получал наименование «заливал». Помимо наклонности к сочинительству, у Д. была еще более вредная наклонность – к паникерству. Она, впрочем, обнаружилась не сразу. Первое впечатление этот козак-поляк производил отличное. Дисциплинированность, преданность делу (она, впрочем, была искренней), разговоры о высоких и похвалы достойных материях. Несмотря на это, за Д. понемногу установилась во взводе репутация довольно-таки жуликоватого парня. Последний раз я виделся с ним в Париже летом 1927 г. Молодой, хорошо одетый человек подошел ко мне в кафе и, к изумлению французов (Ame slave – «славянская душа») бросился целоваться. Все-таки, когда он предложил мне купить обратный билет в Прагу, я отказался. Был предупрежден: денег не давайте – не увидите ни их, ни

билета.

Второй – мой брат. О нем скажу только, что из гимназистов, служивших в Курине, брат был единственным, который получил боевое крещение еще при Великой войне. Из шестого класса поступил в «Ударный батальон свободы, равенства и братства». Время было героическое – в одном взводе с братом простым ударником служил пехотный генерал. Под Тарнополем шесть шрапнельных пуль попали брату в каску. Французская сталь выдержала, но от удара он долго страдал головными болями. На самой границе прострелили ногу. Пришлось серьезно лечиться. Потом, по неопытности, сам прострелил себе руку из нагана. Это ранение зажило скоро. Хуже было в Донецком бассейне в самом начале нашего великого наступления 1919 г. Осколок гранаты попал в пах. Затронут кишечник. Я думал, что это конец. Спасла быстрая операция – дело было недалеко от Ростова, и через несколько часов брат был уже в больнице. Через шесть недель вернулся в строй, но было сказано – на лошадь пока не садиться. Вместо этого сразу же в качестве разведчика принял участие в конной атаке. Рана открылась. Пришлось снова лечь в госпиталь. Потом, поздно осенью, получил еще одну пулю в ногу, но на этот раз ранение было легкое. Словом, к девятнадцати годам на рукаве имелось три нашивки за ранения.

Теперь несколько слов о «простых». Их во взводе было две категории – старые солдаты-артиллеристы и не служившие раньше парни, сыновья «цензовых» селян. И тех и других я назначал главным образом ездовыми. Так обыкновенно делалось и позже, в добровольческих батареях: номера и телефонисты – «интеллигенция», ездовые и обозники – «народ», разведчики – и те и другие. Из ездовых нашего лубенского взвода мне особенно запомнился бравый унтер-офицер Мандрыка, бывший кирасир ее величества. Это был типичный профессиональный солдат, с той только разницей, что земля и хата у него, против обыкновения, имелись. Пахать ее Мандрыка во всяком случае не хотел. Когда ездил в отпуск, щеголял у себя в селе в каске с орлом и безотказно покорял бабьи сердца. Отлично знал конное дело – Овсиевский назначил его старшим ездовым. Долго собирался поступить в белую армию, да так и не собрался. В конце концов поступил к большевикам. Последнее, что я о нем узнал летом 1919 г., – Мандрыка возит за комиссаром красное знамя и состоит на очень хорошем счету.

Немудрено. С таким же успехом он мог служить во французском легионе, у Кемаль-паши или в боливийской кавалерии.

Зато наш рыжеусый фельдфебель – жалею, забыл его

фамилию, – был человек очень убежденный, с вполне сложившимися политическими взглядами. Украина как автономная область Российского государства. О форме правления я вообще избегал говорить, но, кажется, ему хотелось конституционной монархии. Во всяком случае, под понятие профессионального солдата фельдфебель никак не подходил.

Помимо честности, он обладал очень ценным в условиях добровольческой службы качеством – умел ладить и с «народом», и с «интеллигенцией». Добровольцы-учащиеся никогда на него не жаловались, ездовые – тоже. Фельдфебель с первого до последнего дня был нашим надежным помощником. Выбрал его поручик Овсиевский, и, надо сказать, из всех людей взвода не было лучшего кандидата на эту должность. Не знаю, что сталось с этим отличным солдатом. В 1919 г. хотел ехать со мной в Добровольческую армию, и только случайно мы не могли встретиться. Я уже говорил о том, что в обращении со старыми солдатами надо было очень и очень считаться с их «дореволюционными» чувствами. В условиях совершенно добровольной службы приходилось, с одной стороны, укреплять дисциплину, с другой – не забывать, что «старый режим» совершенно неприемлем. Собственно говоря, все сводилось к тому, что у солдат чувство собственного достоинства стало гораздо сильнее и его надо было уважать. Лично я руководился тем, чему нас учили в Михайловском артиллерийском училище, издавна славившемся в старой армии своим «либерализмом». Кроме того, очень внимательно присматривался к нравам, в то время еще императорской германской армии, да и другим офицерам советовал делать то же. Там господствовала строжайшая, математически точная дисциплина, и в смысле обращения с людьми было чему поучиться.

Нелегким материалом были и молодые, не служившие раньше парни, набранные по цензовому признаку. Ненависть к большевикам соединялась у них обычно, по крайней мере в первое время, с полным непониманием смысла дисциплины. Приучить к беспрекословному исполнению приказаний стоило немалого труда. В селянских мозгах сидела занесенная фронтовиками идея о том, что дисциплина признак все того же «старого режима». Переломить это настроение было, пожалуй, самой трудной задачей, и не все офицеры удачно с ней справлялись. Тем не менее наши молодые селяне являлись очень хорошим материалом для военной обработки. Меня поражало, какие, по существу, дети – эти семнадцати-восемнадцатилетние парни, никогда не жившие в городе. Здоровенные кулаки, зачастую плечи взрослого мужика, а душа ребячья, гораздо более

детская, чем у их городских интеллигентных ровесников. Многие из них быстро, совсем по-детски, привязывались к офицерам, и тогда уже с теми становилось легко. Это была, вначале по крайней мере, не преданность воинов начальникам, а уже скорее привязанность учеников к учителям. Как бы то ни было, создавалась спайка, внутренняя связь – то, чем держится часть.

Лично я одному из таких парней обязан тем, что не погиб в одном из первых же боев с большевиками. Не могу не помянуть их добром.

Я дал эту характеристику некоторых из офицеров и солдат, служивших под начальством, чтобы сделать яснее последующие страницы. Скажу еще, что в смысле навыка в обращении с людьми работа в лубенском Курине многому меня научила. Хорошо известно, что командовать гораздо легче, чем управлять. В Лубнах все время приходилось заниматься как раз последним. Механическую смесь предельно разнородных людей обращать в прочное, по возможности, соединение. Работы было много. В восемь часов взвод выстраивался во дворе гимназии на утреннюю поверку. Потом общими силами номера и телефонисты выкатывали пушки на площадь перед нашим флигелем – казармой. Первое время я больше всего налегал на учение при орудиях. Добивался слаженности, а потом и быстроты. В бою прислуга каждого орудия – восемь человек – должна работать как одно целое. Ни лишних движений, ни лишних слов. Это достигается в нормальных условиях долгими месяцами упражнений. Нам приходилось торопиться. Горючего материала в Лубенском уезде имелось много. Могло начаться восстание. Артиллерия должна была быть готова. По-настоящему, конечно, следовало сразу же подучить людей езде и начать выезды в поле, но лошадей во взводе долго, целый месяц, не было. Конная сотня уже перешла в бывшие казармы Лубенского гусарского полка недалеко от монастыря, а мы всё пребывали в гимназии вместе с пехотинцами. Приходилось с теми, кто раньше не знал ухода за лошадью, проходить сначала гиппологию теоретически, благо, мне удалось достать все нужные книги.

Центр тяжести все-таки лежал в «действиях при орудиях». Каждое утро часа по два. Строили параллельный веер, поддерживали и отбивали воображаемые атаки. Я старался вести эти учения так, чтобы они как можно больше напоминали боевую обстановку. Телефонисты протягивали провод куда-нибудь подальше, за угол. Приучал их ясно передавать команды, исправлять повреждения линии, быстро разматывать и сматывать катушки. Иногда, для поднятия интереса к работе, жертвовал несколькими патронами. Снаряды вынимали, разряжали гильзы,

оставляя одни только капсюльные втулки, с их капсюлями гремучей ртути и семью граммами черного пороха. Выстрелы получались все-таки довольно громкие и собирали каждый раз толпу народа. Если дело было во время одной из перемен, сбегалось, конечно, много гимназистов. Их облекшиеся в военную форму товарищи работали тогда с нарочитой серьезностью и лихостью.

Я много раз себя спрашивал, так ли это будет в бою. Все ведь необстрелянные. В полдень, как полагается, занятия прекращались. Люди, основательно помывшись – начинающие добровольцы всегда моются старательно, – обедали. Борщ в Курине варили великолепный. В кашу, не жалея, клали свежее масло. Хлеб тоже был отлично выпеченный. Собственно, большая часть «старшин» (офицеров) и козаков жила дома, но многие из них, особенно самые молодые, навозившись с пушками, без вреда для здоровья съедали два обеда – куринной, в качестве завтрака в полдень, а домашний – в нормальное для русской провинции обеденное время – часа в два-три. Немудрено, что молодежь от такого режима (потом к нему прибавилась каждодневная езда, конные учения и купание в Суле) крепла и здоровела. Все это не относится, понятно, к периоду упадка Куриня, о котором речь впереди. Жившим постоянно в казарме вообще приходилось не очень-то легко. Особенно юнкер Павлович жаловался – надоедала непривычно однообразная пища. Поручик Овсиевский несколько раз отпускал его на два-три дня подкормиться к матери в Киев.

После обеда занятия бывали не каждый день. Довольно много времени у людей отнимала караульная служба. Впрочем, она тоже являлась хорошей школой для начинающих втягиваться в военное дело.

Дни стояли теплые. По-настоящему началась весна. Работалось бодро. Казалось, что с большевиками навсегда покончено. Все мы были очень молоды – и офицеры, и солдаты. Дышалось легко. Во флигеле постоянно пели – на Украине много хороших голосов. Звенел сильный, красивый тенор гимназиста П-ва – «веселого расстрельщика».

Вскормили вы нас и вспоили,
Отчизны родные поля,
И мы беззаветно любили
Тебя, Святой Руси земля…

Офицерско-солдатский хор подхватывал:

Теперь же грозный час борьбы настал, настал,

Коварный враг на нас напал, напал,
И каждому, кто Руси сын,
На бой кровавый путь один…

Окна на площадь были открыты. Проходящие самостийники слушали и, понятно, возмущались. Это в украинской-то части… Впрочем, часто пели и по-украински. И «Заповіт», и «Плачуть, стонуть козаченьки в Турецкой неволи», и «Ой, на гори та женці жнуть». В Михайловском училище, в лагере у Дудергофского Лозера, юнкера-южане, положим, пели то же самое и в царские времена. Вот боевой песни натиевцев, которая привилась и у нас:

Нам поможе Святый Боже
Та Пречиста Мати… —

раньше, правда, не знали, но все-таки это была только подробность.

Мой добрый знакомый, почти приятель обер-лейтенант Артопеус несколькими месяцами позже определил положение верно: «Die sogenannten ukrainischen truppen…»[193]

Желто-голубой флаг – синева неба и зрелые колосья – был терпимым, но чужим знаменем. Особенно для артиллеристов.

Глава XIV

Левые украинские круги в Лубнах, да и в Киеве, с большой подозрительностью относились к Куриню, несмотря на то, что среди наших офицеров и солдат были люди очень разных взглядов. Тем не менее общий облик отряда, опиравшегося на зажиточных крестьян и действовавшего весьма решительно, совершенно не соответствовал видам социалистов всех оттенков – украинских и русских. В кругах Центральной Рады серьезно заволновались. Забила тревогу и «Киевская мысль», к самостийникам относившаяся недоброжелательно. В Лубнах контрреволюция.

Рада прислала анкетно-следственную комиссию. В нее вошел, между прочим, бывший учитель истории Лубенской гимназии г. Мшанецкий. В правительстве Голубовича он стал почему-то товарищем морского министра. Кого допрашивала комиссия – не помню. В Куринь она, если не ошибаюсь, не явилась. Во всяком случае, в номере «Киевской мысли» от 26 или 27 апреля мы прочли подробное изложение прений в Раде по поводу Куриня. Говорилось о том, что в Лубнах под видом украинской части объединились русские офицеры, которые собирают вокруг себя все враждебное революции и Украине. Ораторы требовали немедленной ликвидации монархической шайки. Если не ошибаюсь, один из них заявил даже, что дальнейшее существование Куриня – угроза украинскому правительству. «Киевской мысли» за 1918 год мне за границей найти не удалось. «Народна воля» (26-IV) следующим образом излагает часть заседания Малой Рады 25 апреля, которая касается Куриня:

«Лубеньский комендант-черносотенець

В першу чергу Мшанецькій (с.р.) зробів од імени анкетно-слідчої комисії повідомления про разслідування незакономерных вчипків лубеньского коменданта Шулкова. Комисія вправдовне своэ тыжневої работы выяснила слідуюче:

Як тильки вступило украіньске і німецьке військо в м. Лубні, то зразу объявив себе комендантом м. Лубень і Повіту сотник Петров, а через два дні був призначений отоманом дівізіі Натіевим Д. Шулков, котрий незадовго перед сим оселився в Лубнях і не мав ніякого звязку з украіньскою державою і місцевою людністю. Шулков належит до класу поміщіків, чоловік вихований в прінціпах старого самодержавного уряду. Одразу він

оголосив повгг на восковому стаж, Ыдновив смертну кару, в прикази № 3, установив цензуру на вси видання і оповістки громадьских установ. Д. Шулков русофіл и монархіст. Біля ного згуртувались подібнідо його офіцери, випадково перебуваючі в Лубнях, дрібъязки російскоі армії, які нічого спільного не мають с укражьскою республикою і навпъ вороже ставляються до неі. Шулков, згидно з розпорядженними Натіева, зорганізував куржь, до якого охоче записувались поміщики і землевластники для обстоювання своіх інтересів. До куріня приймали по посвідченияx видатних поміщиків. Комендант призначав своіми помішниками неукраінців (Грубе, Данілевич, бувший військовий начальник), по канцелярії пристава Зубрицького; оттоманом куріня перевертня німецького Літовцева (генерал), сотниками – полковника Лаготіно, Смірнова і инших непевних людей. Свідомих украінців, як Котух, герой Дробницький і инши навмисне одпихались на задній план і могли бути лише рядовыми козаками. Хоч по наказу міністрів вид 14 лютого курінь не повинен перевишать сотні, місцевий куринь мас більше трьох сотень. Під приводом і керуваниям ворогів народности і украінства курінь скоро выявив себе в конт-революційной діятельности: арештувались комітети, сельскі управи (Калайдинці Круглик, Оржиця, Опушки, Чутівка), арештував навмисне громадьских діячів членів земельних комітетів сельских та волостных управ по вказівках землевластників, аби пожувати роботу зазначену в універсалах Центральноі Ради. Було заарештовано голову Оржицького волостного комітету, писаря Онушковського комітету. Старшини куріня залякають народ погрозамй і бійкою, розстрілом.

З арештного дому при лубеньскому земстві було розстріляно трьох чоловік. На селах старшинами куріня робляться реквізіції харчів, фиражу, коней, свиней, арештуваються люде без зазначения провини, займаються помешкания шкіл, роспускаються учні (в Оржиці полковником Лаготіно). Цей же Лаготіно розігнав земельный комітет в Чутовці, одмінив распоряджения Оржицького волостного комітету, вчинив польовий суд над тими, хто виконував законну постанову земельного комітету, зупинив заав хпіба, приказав повернути взяте з е. коноші Мусьмана посівне зерно. Все це робилось нібито для упорядкования кінського заводу, якого в дійсности завсім не було в маэтку при Чутівці, а був він при хуторі Веселому, але в 1916 році проданий і переведений в Сибірь. Комендант Шулков утворив військово-польовий суд, навіть де-килька судів бо при кожному відділі куріня, який посилався на повіт, утворювався окремий суд. Арешти переводились кожним старшиною куріня і сотниками по бажанню. Заарештованних тримали по кілька день

без допиту і обвинувачення а то й цілими тижнями. Комендант робів реквізіції коней навіть для потреб куріня на земьеюй станції, крім того право на реквізіцію, чого кому з вояків хоілось, давалось комендантом без разбору. Приказом № 6 комендант скасував всі закони і роспорядження Тимчасового Россійського Уряду-Що дня находить скарги на курінь на грабіжництво, насильство, розбій і т. ин., але й малоі частини не наказують вони с того, що робиться курінем, бо людність залякана, терорізована і навіть починае вірити в безсудність і беззаконність украіньскоі земли.

Крім того, комисія вияснила, що комендант Шулков, разом и своіми спіобіениками бувшими поліцаями та шпиками, завів у Лубнях попередню цензуру над газетою, яка там виходить; коли ж редактор одмовився давати газету в цензуру, то комендант загрожував йому разстрілом.

Комісія ухвалила коменданта Шулкова усунути з посадя і віддати його, разом з його прибічниками під суд.

Вкінці докладчик Мшанецький заявив, що бешкети й насильства, яки робить лубеньский «Гайдамацький» курінь, були причинились тільки на той час, поки в Лубнях була комісія, а полм, як уже повідомляють, насильства та реквізіції почалися знов»[194].

Отчасти комиссия была права. Полковник Шулков несомненно допустил, с точки зрения существовавшего правительства, ряд превышений власти. В частности, он, как и многие другие коменданты в разных губерниях Украины, по собственной инициативе начал бороться с проведением в жизнь принятого Центральной Радой закона о социализации земли, создавшего в области земельных отношений полнейшую анархию. Что касается уголовных деяний отдельных чинов Куриня, то комиссия была права только в отношении конной сотни. Ее нужно было сразу взять в руки и не оставлять преступлений безнаказанными. В этом отношении генерал Литовцев, безусловно, не проявил должной твердости.

В первые же недели мы убедились, как легко малокультурные, вооруженные и недисциплинированные люди обращаются просто в мародеров. Кроме того, у хуторян-хлеборобов слишком было много чисто личной мелочной злобы к своим односельчанам. Учащиеся ненавидели большевиков, губивших Россию, хуторянин – Степаненко или Гаврийчука, реквизировавшего их землю. И деревенский парень, получив винтовку и лошадь, норовил при удобном случае расправиться сам с деревенским большевиком, а заодно не брезговал и залезть в чужую скрыню. Только строгая дисциплина могла сделать

невозможными эти мужицкие расправы…

Вернее, он мало думал над тем, что делается, и смотрел сквозь пальцы на гайдамацкие безобразия. Несколько самовольных расстрелов, вернее, просто убийств[195], в которых обвиняли хуторян, сильно испортили его репутацию.

Тяжелое впечатление осталось и от некоторых офицеров из крестьян, кончивших во время войны училища и произведенных за отличия. Они крепко ненавидели большевиков, но тоже мелкой хуторской злобой. Никогда не подчинятся в душе советской власти эти офицеры-мужики. Но грубы, малокультурны и мстительны они. И, в конце концов, тоже не прочь ограбить односельчанина.

Противно иногда становилось на душе. Хотелось бросить всю эту «лавочку» и уйти.

Странно, что генерал – опытный офицер Генерального штаба смотрел как-то сквозь пальцы на эти подвиги. Только много позже он, наконец, принялся выгонять наиболее буйных гайдамаков.

У населения постепенно даже выработался взгляд на конную сотню, как на нечто отдельное от Куриня. Так и говорили: «гайдамаки» и «Куринь».

Ряд цитат из моих записей 1922 г., которые я здесь привел, думаю, достаточно характеризует первоначальный состав и нравы нашей конной сотни. Учащиеся и интеллигентные офицеры, за малыми исключениями, туда не шли.

Зато следственная комиссия и члены Рады либо ошибались, либо умышленно искажали истину, считая Куринь монархическим и притом враждебным Украине отрядом. Монархистов у нас было немало, так же как республиканцев и социалистов, но, во-первых, люди очень правые к нам, приявшим хотя бы временно желто-голубой флаг, вообще не шли, во-вторых, русская монархия всем представлялась как некая очень отдаленная цель. Во всяком случае, к украинской государственности и монархисты, не говоря уже о чинах Куриня других политических убеждений, относились вполне лояльно[196]. Многие видели в ней лишь временную стадию, но я не знал в Курине ни одного человека, который бы не считал необходимым и оправданным существование украинского государства при той обстановке, которая сложилась в 1918 г. Впоследствии (уже при гетмане) у нас часто говорили о будущей федеративной монархии, в которую вошла бы и Украина. К императорскому титулу можно было бы добавить: «Великий Гетман Украинский». Для самостийников все это, понятно, неприемлемо, но от тогдашней, совершенно, по-моему, неразумной ненависти офицеров Добровольческой армии к одному слову «Украина» мы,

русские офицеры украинской службы, тоже были очень и очень далеки.

Но государственность – одно, существующее правительство – другое. К правительству Голубовича и Центральной Рады мы в большинстве действительно относились все более и более враждебно. Недовольство Радой особенно усилилось после того, как она в заседании 11 апреля признала действительными выборы в Украинское Учредительное Собрание. Судьбы страны собирались передать в руки депутатов, выбранных в разгар большевицких настроений[197]. Мы не помнили цифр, но хорошо знали, что среди избранных много большевиков.

Это уже казалось совершенной нелепостью[198].

По газетам было видно, что в Киеве положение очень напряженное. Между правительством Голубовича и германцами резкий конфликт из-за приказа фельдмаршала Эйхгорна о засеве полей. В связи с назначенным на 29 апреля съездом «Союза земельных собственников» ходили смутные слухи о том, что готовятся какие-то перемены. Какие – никто не знал.

Утром 28 апреля меня вызвал в кабинет атамана его помощник полковник П. Самого генерала Литовцева не было. Полковник предупредил меня, что все, что я услышу, должно оставаться в строгой тайне, и сказал следующее:

– В Киеве предположен переворот. Собираются разогнать Центральную Раду и провозгласить генерала Скоропадского гетманом. Фактически будет военная диктатура. Возможно, что дело не обойдется без кровопролития, но содействие немцев обеспечено. Несколько человек для поездки в Киев я уже наметил – вас в том числе. Как вам кажется, кого можно послать из артиллеристов? Набросайте списочек.

…Через десять минут список был готов. Я внес в него барона Доршпрунга, мичмана С, всех юнкеров кроме Лысенки, и козака-поляка Д. Своего брата не вписал. Он не струсит – в этом я уверен. Просто духа не хватило. Собой рискну, другими тоже, а братом нет. Кто был на войне, знает, как трудно рисковать близким человеком[199].

Вышел на крыльцо. Солнце светило по-новому, и вообще все было не так, как раньше. Пусть читатель не забывает, что поручику Раевскому еще не исполнилось двадцати четырех лет. Гетман Скоропадский… Слово «гетман» звучало великолепно. Отзывалось столетиями. О гетмане Мазепе я не подумал. Сразу вспомнился памятник в Киеве. Всадник с порначем в руке и надпись: «Богдану Хмельницкому Единая Неделимая Россия». О генерале Скоропадском я слышал мало. Знал, что генерал-адъютант Конного полка Пажеского корпуса. И этого достаточно.

Если пройдет – Украина станет совсем «приличной».

«Переходя от одного к другому и посматривая по сторонам, чтобы не внесенные в список не подслушали, говорю, что в шесть вечера надо собраться на бульваре. Назначаю аллею. Никто не должен ничего знать. Иначе будет беда. Гарвардский студент – летчик-козак, как всегда непроницаемо сдержан. Мичман изумлен. Юнкера так и впились в меня глазами. Пытаются догадаться.

Вечером собираемся в самом укромном уголке. Весь бульварчик совсем маленький, но сюда никто не ходит; оглядываемся. Нет ничего, не следят. Да и что вообще подозрительного… просто компания козаков собралась поболтать. Начинаю говорить:

– Генерала Скоропадского… военная диктатура…

– Ура!.. – Юнкера не выдержали. Хорошие, нечего сказать, заговорщики. А варшавский гимназист Д. еще лучше – снял фуражку и давай креститься от радости. Хватаю его за шиворот.

– Помните, господа – дело может быть опасное… Хотите – едем! Силой никого не тянуть.

Говорим о том, что сначала гетман, а потом, в свое время, Переяславская рада. Юнкера сияют, благодарят, что я внес их в список.

– Господин поручик, а Борька Лысенко как же? Не берем его?

– Нет, господа, не могу… Он слишком тихий.

Иду домой – сложить ручные вещи. Ночью выезжаем с предписаниями отправиться в служебную командировку. Мы не знакомы друг с другом. Случайно едем вместе. Бог его знает, что мы разыграем в Киеве – оперетку вроде… «Запорожца за Дунаем» или примем участие в трагедии…»

На вокзале собираемся ночью, поодиночке. Поезд должен быть в час. Предупреждают, что опаздывает… Станционные телеграфисты (один из оплотов Центральной Рады) явно на нас косятся. Что-то подозревают. Близко утро. Становится холодно. Мы уже забыли, что незнакомы друг с другом. Улеглись кучей в вытоптанном станционном садике и пытаемся как-нибудь согреться.

Утро. На станцию вваливаются желтые гайдамаки[200]. Они, по обыкновению, нетрезвы.

На весь вокзал кричат:

– Вы тоже в Киев едете?[201]

Хорошая получается тайна… Вместо часа выезжаем в девять. Снова мы друг с другом незнакомы. Поезд тащится нестерпимо медленно. Похоже на саботаж. Уже вечер, а мы все еще не добрались до Киева. На одной из станций юнкер отзывает меня в

сторону.

– Господин поручик, петлюровцы[202] за нами следят. Говорят, какой-то червонный Куринь поклялся перерезать всех кто едет делать переворот…

Нам велели ехать без оружия. Кажется, только двое все-таки взяли с собой револьверы. Глупо получается. Разве немцы помогут. Но у них на маленьких станциях только караулы. В Борисполе выхожу на платформу. Несомненно, за нами наблюдают. Стоит сойти подальше от фонаря и за спиной какие-то личности щиро-украинского вида. Велю юнкерам не отходить от вагона.

– Herr Offizier! – Германский солдат в каске, с бомбами у пояса. Козырнул.

Просит меня пройти в задний вагон к его лейтенанту. У наших всех вытянуты лица.

Очень похоже на арест.

Теплушка, полная германских солдат. Мы не заметили, где ее прицепили. Навстречу мне поднимается сухощавый лейтенант.

– Вы едете в Киев?

Очевидно, знает. Говорю правду. Едем в Киев на хлеборобский съезд. По-видимому, на нас готовится нападение.

– Вот поэтому я и просил вас прийти. Вы, надеюсь, вооружены?

– Нет, нам приказано ехать без оружия.

– Странно… Ну, ничего… В случае нужды дайте нам знать револьверным выстрелом. У меня тридцать солдат и пулемет.

Приезжаем в Киев около одиннадцати часов вечера. У выхода нас должен встретить какой-то офицер и сказать условную фразу. После этого мы поступаем в его распоряжение. Вот и он. Оказывается, тот самый низенький артиллерист с седыми висками, который ехал с нами в одном вагоне. Полковник Гоголь-Яновский. Он улыбается.

– Я наблюдал за вами в дороге. Ничего – в заговорщики годитесь».

На вокзале говорят, что Рада разогнана. Днем была небольшая стрельба. Значит, мы опоздали. Лица вытягиваются. Некоторым из наших очень хотелось подраться. На нескольких извозчиках едем в Липки. Двое юнкеров и я в ландо с Гоголь-Яновским. Теплая весенняя ночь. На улицах пусто. Стуча подкованными ботинками, ходят германские караулы.

– А как же с избранием гетмана, господин полковник?

– Такая мысль действительно была, но потом от нее отказались. Решено ограничиться созданием в Раде и министерстве буржуазного большинства. Сейчас, конечно, можно,

пользуясь немцами, провести все, что угодно, но приходится подумать о будущем. Революция не изжита. Гетман – слишком большой риск.

Юнкера разочарованно молчат. Опять, значит, не удалось…

Вот и цель нашего путешествия – квартира Сахно-Устимовича[203]. В маленькой передней стоит пулемет, направленный на дверь. На полу расселись солдаты германского караула. Все почти комнаты обращены в спальни. В гостиной расставлены походные кровати. Кто-то улегся на ковре. Многие уже полураздеты. Все больше пожилые офицеры. Несколько артиллеристов. По облику и говору – малороссы. Хозяин в черном жупане. Нашу компанию – пятнадцать офицеров и добровольцев – встречает радушно.

– Спасибо, что приехали. Народа совсем мало.

– А что же гайдамаки Штакельберга?

– В последнюю минуту ушли с вокзала.

Полковник Гоголь-Яновский делится впечатлениями с обитателями квартиры.

Здесь собрались чуть ли не главные участники гетманского переворота. Да, Скоропадский избран гетманом всея Украины. Г. Я. ошибся – приведен в исполнение первоначальный план. Смотрю на наших – они сияют. Г. Я., смущенно разводя руками, тихо говорит мне:

– А мне все-таки кажется, что сейчас еще не время[204].

Нам предлагают располагаться на коврах, но неловко стеснять и без того стесненных хозяев. Какой-то офицер куда-то нас ведет». Перед тем как уходить, каждый из нас получил немецкое удостоверение на право ношения оружия[205].

У одного из полковников их была целая кипа. Мы сами вписали свои фамилии. На улицах по-прежнему пустота и германские караулы. Встретили только двух штатских, медленно гуляющих по тротуару. Наш провожатый показал на одного из них – пожилого господина с огромными хохлацкими усами. – Это председатель совета министров Устимович.

Ночуем на столах канцелярии автомобильной базы Украинского правительства. Я долго перекладываю неудобные толстые связки дел. Почему-то вспомнилось, что во время франко-прусской войны иностранные послы уехали вместе с правительством в Бордо и папский нунций в первую ночь спал на биллиарде.

Утром 30 мая мы перешли в Императорский дворец и влились в состав «военного отряда», которым командовал полковник князь Оболенский. Отряд состоял из киевских офицеров, юнкеров и небольшого количества учащихся. Всего нас

во дворе было не больше 60–70 человек[206].

Точную численность «военного отряда» установить трудно, так как много людей было разослано в караулы, занявшие министерства, почту, телеграф и другие важные пункты. Так, например, 11 человек были отправлены в министерство земледелия на Софийской площади. Состав этого караула до некоторой степени может служить для выяснения вопроса о том, кем была выполнена военная сторона переворота. Караульным начальником был прапорщик Оглоблин, уроженец Тамбовской губернии. Остальные чины караула – восемь прапорщиков военного времени, 1 гардемарин и 1 студент первого курса Киевского университета. Один только студент знал украинский язык и смог объясниться с арестованным сечевым стрельцом-галичанином[207]. Впрочем, насколько я мог судить, большинство чинов «военного отряда» все же были постоянными жителями Киева. Говорили между собой только по-русски. За три дня, проведенных во дворце, я ни разу не слышал украинской речи.

Несколько раз во дворце появлялся и снова исчезал энергичный, подвижный А. Сахно-Устимович, только что назначенный личным адъютантом гетмана. Чувствовалось, что он один из главных, если не вдохновителей, то исполнителей переворота. Все время носился на автомобиле по городу, арестовывал деятелей «старого режима», занимал караулами министерства, ободрял, торопил. Он же был чем-то вроде казначея. Перед обеденным часом приехал с портфелем с «державной монетой», как шутили наши юнкера. Чины отряда получили по десяти рублей суточных. То же самое повторялось в следующие дни.

Останавливаюсь на всех этих деталях потому, что ни в украинской, ни в русской литературе до настоящего времени не встречал воспоминаний рядовых участников гетманского переворота, ответственные же его руководители зачастую сильно стилизуют события применительно к надобностям сегодняшнего дня.

Днем, исполняя не помню уже какое поручение, побывал вместе с юнкерами в городе. Настроение сильно повышенное. На нас – военных с винтовками, очевидно, гетманцев, смотрят с любопытством. Ни приветствий, ни враждебных возгласов. Киевская толпа наблюдает происходящее. На широких тротуарах Крещатика кучи народа, главным образом евреев. Нечто вроде летучих митингов, но без настоящих речей. Вместе переживают впечатления и передают слухи. Дважды встретили германские и австрийские войска. Очевидная демонстрация вооруженных сил. Идут, как на парадах, – офицеры с обнаженными шашками.

Многочисленные барабанщики отбивают дробь, свистят флейты. Всюду часовые в касках с бомбами у пояса.

…

«Законы о временном государственном строе Украины». Юнкера радостно удивлены. Первое обращение новой власти опубликовано по-русски[208].

На меня самое большое впечатление произвела фраза: «Права частной собственности, как фундамента культуры и цивилизации, восстанавливаются в полной мере, и все распоряжения бывшего украинского правительства, а равно временного правительства российского отменяются и уничтожаются».

Кратко говоря, социалистической чепухе конец.

Когда прочел «Законы», все-таки мелькнула мысль – а не перегнули ли палку… Заглянул и в генерал-губернаторский дом на Институтской, куда переехал гетман после избрания. В вестибюле и на лестнице десятка два офицеров. Первое впечатление – ну и нарядная же здесь публика. У нас, в императорском дворце, винтовки, котелки, вещевые мешки, пулеметы – обстановка вроде боевой. Перед входом темно-зеленый броневик и походная кухня. В гетманском доме атмосфера почти что придворная. Среди офицеров охраны большинство, судя по общему облику и по значкам училищ, кавалеристы. Знакомый звон савельевских шпор, отлично сшитые френчи, отлично расчесанные проборы, мальтийские кресты пажей. Два полковника в мягких золотых погонах. У всех почти офицеров на рукаве перевязь из двух узких лент – малиновой и белой[209]. Говорят, это будут цвета гетманской Украины. Желто-голубой флаг упраздняется. По городу среди офицеров ходит слух, что Скоропадский не то уже подписал, не то сегодня подпишет приказ о восстановлении погон. Настроения первых дней гетманства очень хорошо передал в своей телеграмме от 30 апреля корреспондент «Одесских новостей»:

«Киев. Общее мнение, что гетманство Скоропадского это победа русской ориентации, что за федерацию Украины с Россией стоит и Германия, считающая для себя более выгодным иметь дело с расслабленной, но объединенной Россией, с Киевом, как центром во главе».

Никто из нас не знал, что одно из условий, поставленных гетману германцами, – отказ от «русской ориентации». Во всяком случае, воззвания на русском языке, гвардейская кавалерия в охране гетмана, «российские» офицеры во всех министерствах, очевидно, встревожили даже правое крыло украинцев, сочувствовавших гетману. На него был произведен энергичный нажим со стороны съезда партии хлеборобов-демократов,

сначала, было, запрещенного, который собрался 30 апреля. Впоследствии я узнал, что наш ментор, полковник Гоголь-Яновский, отвез Скоропадскому резолюцию, принятую собранием, шестой пункт которой гласил: «В украіньсксму уряді більша частина людей буде належати до тих, хто давною працею своей показав вірність украіньскій національно-державній ідеі і свое розуміния потреб селян та рабітників. В ньому не може бути місця для людей, яюкі тягнуть до Росіі або до Польши»[210].

Во всяком случае, «переяславские» настроения в Киеве, в первые дни после избрания гетмана, чувствовались гораздо сильнее, чем впоследствии, когда гетманское государство так или иначе стабилизировалось.

К вечеру мы вернулись «домой». В почти пустом здании – дворец невелик, но несколько десятков людей все-таки в нем теряются – застали порядком пониженное настроение. Не все ему поддались, но хмурых лиц было много. Смущала наша малочисленность. За весь день отряд почти совершенно не увеличился. Киев был полон офицерами. К нам не шел почти никто. Получалось ощущение барахтанья в пустоте. Громадный насторожившийся город, за ним огромная страна и мы, совсем маленькая кучка людей, которые пробуют повернуть ее судьбу. Накануне, говорят, хлеборобы, выбиравшие гетмана, устроили ему долгую и торжественную овацию, но во дворец они тоже не идут. Все мы… Правда, за нами «Heeresgruppe Eichhorn». По крайней мере, вчера было так, но, по слухам, немцы, видя, что население нам не сочувствует и никто не присоединяется к гетманцам, собираются нас всех арестовать и ликвидировать переворот. Будто бы с этой целью они не разоружают сечевых стрельцов, отведенных в луцкие казармы. Выпустят галицийских самостийников и умоют руки… Германское командование, мол, соблюдает в украинских делах полный нейтралитет.

Когда стемнело, мы собрались в тронном зале дворца. Зажгли все люстры и канделябры. Все-таки не так жутко, когда освещение как на придворном балу.

Кое-кто чистит оружие. Время от времени слышно, как перед главным подъездом останавливается грузовик и через несколько минут офицеры и юнкера проводят через зал арестованных министров и высших чиновников разогнанного правительства. Их помещают в большую, почти пустую комнату, рядом с залом. Обращаются очень корректно… У дверей в торжественных позах юнкера-часовые. Они горды своей миссией – хоть плохоньких, но все-таки министров охраняют»[211].

Белоколонный зал с красными диванами по стенам, море электрического света, шум автомобилей у входа, арестованные

министры… Кто-то шутит:

– Господа, совсем точно Государственная дума в прошлом году.

Юнкер Павлович, поставив винтовку между ног и опершись на нее взлохмаченной головой, мрачно пускает:

– Дума-то дума, а вот завтра попадем мы на место этих министров…

В Лубнах так хорошо звучало восстановление гетманства, а здесь, оказывается, никто не хочет к нам идти».

Напряженное, тревожное настроение в ночь с 30 апреля на 1 мая, по-видимому, было и у караулов, занявших правительственные здания. По крайней мере, в министерстве земледелия ночью под окнами караульного помещения вдруг раздался выстрел, и пуля, разбив стекло, впилась в потолок. Караул, разобрав винтовки, выбежал на улицу. Оказалось, часовой увидел вооруженного солдата в форме сечевиков, идущего прямо на него, и с перепугу выпалил в окно. Стрельца арестовали. Выяснилось, что он идет с вокзала. Возвращался будто бы из отпуска.

От двенадцати до двух юнкер Павлович и я стояли часовыми, охраняя дворец со стороны парка. Ходили взад и вперед по аллее, вглядывались в темноту, прислушивались к шорохам. Потом юнкер признался мне, что каждую минуту ждал залпа из-за кустов. Сечевики, если им позволят, конечно, в первую очередь нападут на «москалей»-часовых. Наконец зашуршали мерные шаги со стороны дворца. Шел разводящий с очередными часовыми. Мы опять улеглись на малиновые диваны в тронном зале. Я проснулся от залпов под самыми окнами. Уже начинался рассвет, но электричество горело. Офицеры, юнкера, добровольцы, щелкая на ходу затворами, бежали вниз по лестнице. Послышался звон разбиваемых стекол. Мелькнула мысль: «Ну нет, это не оперетка…»

Варшавский гимназист Д. вцепился мне в руку.

– Господин поручик… не ходите туда… вас убьют… господин поручик.

– Молчать!

С отчаянной храбростью труса бежит вместе с остальными. Вестибюль, дверь. Что за черт… Не враги. Какие-то азиаты в черкесках. Лупят в воздух из винтовок и револьверов. Оказывается, черкесский куринь. И такие есть… Пришли нам помогать и приветствуют стрельбой. Объясняют:

– Мы за украинский царь Карападский. Кто Карападский слушать не будет – резать будем.

Передаю факты точно. В восемнадцатом году и не такие вещи

случались, но все-таки мы не могли предполагать… Ведем новых союзников во дворец. Всем весело… Что такое… Разбитые стекла. На мраморных подоконниках кровь. Не хватает троих господ офицеров. Когда началась стрельба, от страха голыми руками разбили рамы и убежали в парк. Потом, понятно, в отряд не вернулись. Уверяли даже, что один прыгнул «мордой в стекло», но за это не ручаюсь.

Перед тем, как еще раз лечь спать, я вышел на берег Днепра. Солнце уже взошло. Тумана не было. Вода горела веселым розовым огнем. Виднелись деревянные стратегические мосты, построенные во время войны на случай отступления наших армий. Было тепло и тихо. Каштаны парка готовились развернуть морщинистые листья-тряпочки. И одна за другой полезли в голову жизнерадостные мысли. Пожалуй, и на самом деле начало нового исторического периода…

К полудню стало известно, что германцы наконец разоружили сечевых стрельцов. Опасности больше не было. Я с удовольствием подумал о том, что ночью можно будет снять сапоги. Перед обедом появился Сахно-Устимович. Вынул из портфеля «державную монету». На этот раз адъютант гетмана не торопился. Гулял со мной по залу и разговаривал: «…пристроим, а потом, когда гетман восстановит на острове Хортице Запорожскую Сечь… И артиллерия будет – вот туда вас и назначим…»

Во второе утро Гетманской державы все казалось возможным. Мне только не хотелось ехать на остров Хортицу. И сразу мелькнула мысль: «Через сто лет-таки попадем в оперетку…» Ответил уклончиво. Во всяком случае, пока вернусь в Лубны. Повторил Сахно-Устимовичу план, который развивал накануне в квартире его брата. Гетману нужно иметь в Киеве надежную и сложившуюся часть. Здесь ее еще надо формировать, а в Лубнах такая уже есть. Надо перевезти лубенский Куринь в Киев и постепенно развернуть его в крупное соединение, пополняя местными надежными людьми. В частности, наш артиллерийский взвод можно превратить в батарею в течение нескольких дней. Адъютанту гетмана моя мысль понравилась. Сказал, что обязательно этим займется[212].

Обедать нас посменно отпускали в город. Мы, лубенцы, компанией отправились в один из больших ресторанов на Крещатике. За здоровье гетмана выпили ситро[213] – на вино нашей «державной монеты» не хватило бы. Вечером я получил приказание отправиться с тремя юнкерами в гостиницу Гладынюка и арестовать там товарища министра «справ морских» г. Мшанецкого, причем мне представилось право произвести обыск и выемку документов. Ордер был подписан начальником

«военного отряда», полковником князем Оболенским. Инициатива этого ареста исходила от нас, лубенцев. Хотелось хоть на несколько дней посадить в тюрьму члена анкетно-следственной комиссии, собиравшейся разогнать Куринь. Юнкера Павлович и Войцеховский сами попросились в наряд. Им нравилась перспектива провести по киевским улицам под конвоем придирчивого и нелюбимого учителя, от которого, говорят, много натерпелись в гимназии.

На улицах та же картина, что и накануне, 30 апреля, только публики на тротуарах еще больше. По-прежнему на гетманцев смотрят с любопытством, и только.

В вестибюле гостиницы оставляю одного юнкера с винтовкой. Приказываю никого не выпускать. Сам, с остальными двумя, в сопровождении лакея быстро иду наверх. Стучим в номер Мшанецкого. Юнкера берут винтовки наизготовку. Товарищ министра, наверное, не бросит в нас бомбы, но это уже так, для большего впечатления… Все мы не так давно кончили гимназию. Отворяет горничная с тряпкой в руках. Вскрикивает, бледнеет, мы ее успокаиваем:

– Где господин Мшанецкий?

– Полчаса тому назад уехали на вокзал…

Юнкера бранятся. Успел-таки удрать. Обыскивать и вынимать нечего. Предлагают взять автомобиль и ехать вдогонку, но я решаю, что не стоит. Все равно либо уже уехал, либо не найдем. Возвращаемся в вестибюль. У дверей с обеих сторон очередь, и в ней вместе с штатскими терпеливо ждут германские офицеры. Извиняюсь перед ними за несообразительность юнкера. Войцеховский о чем-то спорит с офицером в украинской форме. Иду туда.

– В чем дело?

Оказывается, молодой подполковник недоволен тем, что мы между собой говорим по-русски. В корректной форме начинает жаловаться на вмешательство русских в украинские дела. Спрашивает, что мы тут делаем. Войцеховский теребит пенсне. По лицу вижу, что готов взорваться. Показываю подполковнику ордер об аресте Мшанецкого.

– Вот вы пришли арестовывать украинского деятеля… По какому, собственно, праву? Вы даже по-украински говорить не умеете. Кто вы такой? Как вы сами считаете?

– Русский офицер украинской службы, господин подполковник.

– Такую концепцию я понимаю… Но вообще весь этот переворот устроили русские. Сегодня один из гетманцев заявил мне: теперь никакой Украины нет, а есть Малороссия… Имейте в

виду, никто из украинцев не примирится с тем, что в их стране хозяйничают русские.

Разговор шел в мирных тонах, но юнкера потом злились:

– Его бы арестовать следовало. Явно против гетмана.

За самовольный арест мне бы во дворце влетело, да всех ведь и не арестуешь. Места не хватит…

В тронном зале настроение приподнятое. По чьему-то приказанию в соседнюю комнату вкатили бочку кахетинского. Кажется, из подвалов дворца. Отличное вино. Выпили по котелку, улеглись на диван, сняв на этот раз сапоги. Перед тем как заснуть, спрашиваю соседа, киевского офицера.

– Как вы думаете, какой теперь будет флаг?

– По-моему, бело-сине-красный. Какой же больше…

Опять разбудили… Голоса полупьяные. Поют, кричат.

– Господа, за здоровье гетмана, ура-а-а!

– К черту украинскую лавочку!.. За будущего русского царя… ура-а!

Несколько человек затягивают «Боже, Царя храни».

– Господа офицеры, пойдем на улицу… Там споем…

Наделают они дел. Мне очень хочется спать, но нечего делать, приходится натянуть сапоги. Вместе с другими принимаюсь уговаривать. Какой-то вольноопределяющийся заплетающимся языком ораторствует:

– Я монархист… умру монархистом… и никаких гетманов не желаю.

Еле утихомирили. Еще монархической манифестации не хватало… От этой ночи у меня осталось препротивное ощущение. Только дай вина, и взрослые люди обращаются в детей. Кто-то догадался потушить люстры. В зале стало полутемно, и выпившим захотелось спать.

Утром 2 мая нам, лубенцам, разрешили ехать домой. Разошлись по городу за покупками. Когда часов в десять вернулись, чтобы взять вещи, дворец был неузнаваем. Очередь из офицеров всех чинов, записавшихся в отряд, тянулась через весь зал, продолжалась даже на лестнице. У нас появилось грустно-озлобленное чувство. Была хоть маленькая опасность, не шел никто, теперь дело сделано, стоят хвостом. С принципиальной стороны ведь за три дня ничего не изменилось. Кто-то из старых гетманцев пошутил:

– Мавры сделали свое дело, мавры могут уйти…

По правде говоря, «мавров» никто не гнал. Наоборот, предлагали остаться, обещая места в военном министерстве. Из лубенцев остались в Киеве только двое.

Остальные не захотели бросать Куриня. На обратном пути

никаких приключений не было. Только на станции Гребенка на нас набросился комендант-поручик, неистовый самостийник.

– Ганьба! Украинские козаки говорят между собой по-русски. Я их всех арестую…

Мы спросили поручика, какому правительству он подчиняется, прошлому или настоящему. Заявил, что официально о гетмане ничего не знает и его не признает. Посоветовали признать, не то самого, в конце концов, арестуют. Вооруженной силы у него не было, а нам разрешили взять с собой выданные в Киеве винтовки. Поехали дальше.

В Лубнах хозяин местного кинематографа хотел предоставить ездившим в Киев постоянные бесплатные билеты, но мы от этой чести отказались.

Много позже – в феврале 1920 г. – на Дону я, сидя в казачьей хате, рассказывал товарищу по батарее малоизвестные подробности гетманского переворота. Неожиданно из соседней комнаты, дверь в которую была полуоткрыта, послышался уверенный голос:

– Господин поручик, вы в охране гетмана не были!

Вошел среднего роста худощавый офицер лет под тридцать. Представился – корнет Постников. У меня нет полной уверенности в том, что я не перепутал фамилий. Однако тогда же я для памяти связал его с одним Постниковым, которого знал раньше. Недоразумение быстро выяснилось. Корнет не расслышал, что я говорю об императорском, а не о гетманском дворце, и решил разоблачить самозванца. Мы разговорились. Постников превосходно знал гетманское окружение, знал все детали переворота и несомненно принимал в нем близкое участие. Тогда же он рассказал мне интересную деталь, которая кажется мне весьма правдоподобной.

Сцена вторжения немцев в зал заседания Центральной Рады 28 апреля хорошо известна. Она описана в целом ряде мемуаров. Алданов весьма тщательно восстановил ее в «Бегстве». Все источники согласно говорят о том, что в 3.30 часа, кто-то крикнул по-русски без всякого акцента:

– Именем германского правительства приказываю вам поднять руки вверх!

Корнет Постников категорически утверждает, что этим офицером был он. Германцы будто бы переодели его в форму лейтенанта и дали соответствующие инструкции. Рассказ этот можно проверить, если жив и захочет говорить полковник граф Альвенслебен, состоявший представителем германского командования при гетмане. По словам Постникова или, во всяком случае, того кавалерийского офицера, которого я обозначаю этим

именем, Альвенслебен хорошо его знал. По своему служебному положению германский представитель не мог не знать и о будто бы произведенном маскараде. Некоторое сомнение вызывает у меня тот факт, что Постников, по его словам, был личным адъютантом гетмана. Между тем Д. Дорошенко, перечисляя адъютантов Скоропадского, такой фамилии не называет. Ничего не знает о нем и В. Н. Леонтович. Возможно, однако, что либо я перепутал фамилию, либо Постников состоял адъютантом лишь временно. Во всяком случае, мне удалось выяснить, что офицер с такой фамилией и такого же приблизительно внешнего облика в русской коннице действительно был. Кроме того, вряд ли бы сам самозванец решился уличать другого в самозванстве, как это было в начале нашего разговора.

О том, как подготовлялся переворот, пока известно довольно мало. Главные действующие лица, Скоропадский и другие, в своих воспоминаниях, судя по всему, до конца не договаривают. Думаю, поэтому будет небезынтересно привести здесь еще некоторые сведения, за достоверность которых я ручаюсь. Они получены мною от лица мне хорошо известного. Назвать его не имею права.

В Киеве в 1918 г. существовала масонская ложа «Нарцисс», входившая в состав «Великого Востока». Заседания ложи в последние месяцы гетманства происходили на квартире лица, от которого данные сведения исходят. Гетман Скоропадский состоял членом ложи и неоднократно участвовал в собраниях. Приезжал вместе с адъютантом в закрытом автомобиле. Осенью 1918 г. состоялось посвящение Скоропадского в следующую степень или «товарища», или «мастера». В какую именно – мой информатор не помнит. В его памяти остались также расхождения между украинскими и русскими членами «Нарцисса» по национальному вопросу. Гетман защищал украинскую позицию. Однако, уходя, он сказал в передней, что произнес свою речь, исходя из существующей политической обстановки, но, если она изменится, он, Скоропадский, первый готов передать власть императору.

В конце концов было решено разделиться на две ложи – украинскую и русскую.

Одним из мастеров ложи состоял небезызвестный Маркотун. Кроме того, в нее входили: г. Брюхатов, Анохин, кавалерийский офицер Борис Данковский и другие лица.

Соблюдался весь масонский ритуал, шпаги, перчатки, черная материя с черепами по стенам. Сведения эти могут показаться маловероятными, но, повторяю, за достоверность их я ручаюсь. Был ли генерал Скоропадский масоном до избрания гетманом, мой информатор не знает, предполагает, однако, что был, так как

иначе трудно объяснить посвящение в следующую степень через очень короткий промежуток времени. Это не соответствовало обычаям «Нарцисса».

Было бы, мне кажется, интересным выяснить впоследствии: участвовали ли киевские масоны в подготовке переворота. Мне лишь известно, что «ученики» ничего не знали о том, что он готовится. Не исключена, однако, возможность, что, по крайней мере, «мастера» принимали участие в организации киевского действа 29 апреля 1918 г.

Глава XV

В Лубнах установление гетманской власти прошло без всяких инцидентов. Внешне переворот был отмечен лишь арестом начальника милиции. Генерал Литовцев приказал мне взять трех юнкеров и отправиться в здание, которое последовательно занимали менявшиеся власти. Как я узнал впоследствии, атаман возложил это не слишком приятное поручение на артиллеристов, так как был уверен, что ни юнкера, ни я не допустим «эксцессов». Через несколько дней начальника милиции освободили.

Большая часть городской интеллигенции, в том числе и украинцы, кроме левых самостийников, торговцы, военные, учащиеся, все почти «русофилы», за исключением социалистов, встретили переворот с искренней радостью. Всюду, в Курине, в общественных местах, в частных домах, в первые дни чувствовался большой подъем. Безразлично отнеслись к установлению гетманства те немногочисленные в Лубнах русские круги, которые отвергали украинскую государственность, даже «на время» и даже с русским свитским генералом во главе. Там чувствовалось даже известное озлобление против гетманства. Пока «изменой» занимались социалисты, это было в порядке вещей. Генерал-адъютант Скоропадский, с русскими гвардейцами, Генеральным штабом, сенаторами-профессорами, полицейскими, устрояющий украинское государство, вызывал, насколько я мог судить, более враждебное чувство, чем Центральная Рада с ее галицийскими стрельцами и с синежупанниками. Повторяю, однако, что людей, смотревших таким образом на вещи, в Лубнах было чрезвычайно мало.

Гораздо сильнее чувствовалась украинская оппозиция – и национальная, и социальная. О большевизированных фронтовиках, горожанах и селянах и говорить не приходится. При Центральной Раде власти в деревне почти не чувствовалось. С установлением гетманства «начальство пришло»[214]. Лично я уверен в том, что недовольство гетманской властью, поскольку речь идет о деревне, было в значительной мере недовольством властью вообще.

Украинская оппозиция гетману в первые же дни после переворота отозвалась и на составе нашего Куриня.

До киевского переворота в Курине, несмотря на очень пестрый его состав, было нечто объединяющее – ненависть к большевикам. Одни думали так, другие – иначе, но все находили возможным служить вместе. Гетманский переворот заставил уйти сторонников революционной власти. Офицеры из сельских

учителей, часть семинаристов, кое-кто из крестьян решили, что власть перешла к «русским панам» и им больше делать в Курине нечего. Каждый день генералу стали подавать рапорты об исключении из списков. Козаки конной сотни жестоко избили двух семинаристов, явившихся в казарму агитировать за восстановление Центральной Рады.

Однако численный состав Куриня не уменьшился. Наряду с отливом шел прилив. Начали усиленно записываться сыновья хлеборобов, главным образом молодые 17–20-летние хлопцы. Наш отряд принимал все более и более классовый характер. Противники новой власти в селах тоже не оставались пассивными. Назревало столкновение.

В Лубенском уезде во время Великой войны во всех волостных правлениях были развешаны портреты подпоручика Дробницкого, человека выдающейся храбрости, произведенного в офицеры из подпрапорщиков за ряд действительно блестящих дел. После распада фронта Дробницкий вернулся в свое село. Он был ярый украинец, ходил в каком-то фантастическом синем жупане, расшитом желто-голубыми лентами и, как свой человек, пользовался большой популярностью среди части крестьян. Одно время собирался поступить в Курень[215]. Приезжал даже посмотреть и познакомиться, но нашел, что в отряде слишком мало украинского, и уехал обратно. После гетманского переворота скрылся с горизонта.

Вскоре из Оржицкой волости приехали несколько мужиков, членов союза хлеборобов, и сообщили генералу, что Дробницкий организует восстание против гетманской власти, открыто обучает вернувшихся по домам солдат-фронтовиков и терроризирует хуторян. Назвали и центр всей организации – село Денисовку. Мужики просили Курень ликвидировать организацию, так как иначе их, хуторян, неминуемо перережут.

Не было никакого сомнения в том, что к Дробницкому примкнули деревенские большевики.

Фронтовики уже сожгли несколько хуторов и зверски замучили две крестьянские семьи.

…Начиналась Гражданская война, начиналась в самой толще крестьянской массы».

Предпринять что-нибудь без согласия германского коменданта было невозможно, несмотря на отличные отношения между генералом Литовцевым и немцами. В результате переговоров они назначили в экспедицию взвод гаубичной артиллерии, несколько пулеметов и взвод пехоты. С нашей стороны должен был идти весь Курень под командой генерала. Предполагавшуюся экспедицию хотели держать в большой тайне,

но за два дня в Курине все уже было известно.

17 мая чины Куриня получили приказание явиться после обеда в казарму и остаться в ней на ночь. Рано утром 18-го мы должны были двинуться в поход.

Большое, свыше 3000 душ, село Денисовка расположено в западной части уезда при впадении в речку Оржицу ее притока Чевельчи. Места эти довольно глухие. До железной дороги и до уездного города далеко. Население смешанное – крестьянско-козачье, причем довольно много богатых козаков – хуторян. Покойный владелец имения, либеральный украинский деятель Лисевич, продал в свое время по дешевой цене значительную часть земли крестьянам, а остаток завещал Земству. Таким образом, «помещичьего» вопроса в Денисовке не существовало. Зато был силен внутриселянский антагонизм между большевизированной беднотой, особенно фронтовиками, и зажиточными селянами. К северо-западу от Денисовки лежит село Чевельча, считавшееся еще в довоенное время крайне неспокойным – не в политическом, а в уголовном отношении. Большинство хозяев там малоземельные крестьяне.

По данным разведки, фронтовики Денисовского района были настроены весьма воинственно. Вероятно, встретят нас огнем. У них много винтовок и патронов. Говорят, есть и исправные пулеметы.

Решено было во что бы то ни стало запрячь куринные пушки. Лошадей обещали временно дать подгородние помещики. Наступил вечер. В казарме шла оживленная суета. Чистили винтовки, набивали пулеметные ленты, смазывали пулеметы, кавалеристы точили шашки. Я присматривался к невоевавшей молодежи. Впечатление хорошее. Работают с увлечением. Слегка волнуются, но волнение радостное[216]. Завтра первый раз в бой.

Мы с Овсиевским тоже волновались, но из-за другого. Как-то наши будут работать под огнем… Ни одной боевой стрельбы не было. Ни разу не упражнялись в выезде на позицию. Придется маневрировать с совершенно несъезженными запряжками. Хорошо еще, что ездовые опытные. Не оскандалиться бы нам перед немцами…

На Великой войне мы, артиллерийские офицеры, носили шашки и казенные револьверы только на походе и во время смотров. В бою браунинг или какой-нибудь другой автоматический пистолет в кармане, и больше ничего. Только работая с конницей, принято было надевать шашку. Для денисовской экспедиции я собирался ею ограничиться. Знающие люди посоветовали взять и винтовку. На Гражданской войне мало ли что может быть. Из своего маленького арсенала, привезенного

из Ольвиополя, выбрал австрийский карабин. Ремень пригнал туго, так, чтобы карабин не набивал в походе спину. Вычистил браунинг, положил его обратно в застегивающийся суконный футляр. Останавливаюсь на этом, потому что туго натянутый ремень карабина и чехол браунинга имели для меня немалые последствия.

На рассвете дневальный всех разбудил. Поручик Овсиевский и я пошли прежде всего смотреть лошадей, приведенных ночью. Вдоль ограды сквера понуро стояли весьма печального вида животные.

«На тебе, убоже, что мне негоже»… Помещики, не желая рисковать хорошими лошадьми, прислали для орудийных запряжек таких, которые еле были годны для полевых работ. Будь что будет… Мы все-таки решили запрячь эту заваль. Не оставаться же дома из-за помещичьей несознательности. Предназначенные под верх тоже немногим лучше. Мне было стыдно класть свое отличное седло от Вальтера и Коха на спину поседевшей от старости рабочей лошади.

Часов в семь все было готово. Брали с собой только орудия и запас снарядов на подводах. Пулеметная команда тоже не закончила формирования. В экспедицию шел один взвод. Зато конная сотня и три пеших – полностью. Перед гимназией пестрели голубые шлыки пехотинцев, желтые – конников и наши красные – артиллерийские. Подошли германцы. Взвод пехоты в походной форме с двумя пулеметами и взвод десятисантиметровых гаубиц под командой обер-лейтенанта Артопеуса. В этот день я впервые встретился с ним и с его младшими офицерами. – лейтенантом Визеке, сыном сигарного фабриканта из Гамбурга, и еще одним лейтенантом, фамилию которого забыл, хотя впоследствии мы были очень дружны. Буду называть его лейтенантом Х.

Послышалась русская команда «по местам!», потом по-украински: «Куринь, в струнку!» – и немецкая «Gewehr!» Из флигеля вышел генерал Литовцев. Подошел к германским пехотинцам и по русскому обычаю поздоровался, а немцы, по своему обычаю, молча стояли «смирно», так как у них здороваться с войсками не положено. Нас всех немножко рассмешила форма приветствия, которую генерал выбрал:

– Guten Tag, Kameraden!

В колонне шутили, что атаман Куриня, видно, здоровается только с социал-демократами, которых в германской армии очень много, но все-таки не большинство. Впрочем, как надо здороваться с иностранными солдатами, об этом ничего в уставе не сказано.

Вытянулись длинной кишкой. Впереди Куринь, сзади германцы. День теплый, лошади и повозки взбивают пыль, и скоро у нас всех лица становятся серыми.

…Меня преследует неотвязная мысль. Вот едет со мной рядом командир германской батареи. Он – доктор философии Гейдельбергского университета, бывший инспектор женской гимназии в Баден-Бадене. Я – бывший студент. Никогда раньше не виделись, а в походе разговорились с полуслова. О Рабиндранате Тагоре, германском рейхстаге, статьях «Берлинер Тагеблатт», гистологических работах итальянского профессора Гольджи. Мы – недавние враги, идем сейчас стрелять из пушек в бывших русских солдат. Я отлично знаю это, но все-таки чувствую, что между мной, нашими добровольцами и этим германским офицером в стальном шлеме сейчас гораздо больше общего, чем с теми фронтовиками, которые готовятся встретить нас в Денисовке. Отлично понимаем друг друга, сговоримся с кем угодно, но с ними – никогда.

На малом привале адъютант Куриня ротмистр Белецкий, широкоплечий, жизнерадостный человек, показывает мне на конников-гимназистов, отдыхающих на обочине с лошадьми в поводу. Они лежат на животах. На загорелых смеющихся лицах густая пыль, размазанная потом. Желтые шлыки с «дармовисами» лихо свесились на плечо.

– Посмотрите, эти ребята точно никогда не были штатскими. Удивительно быстрое превращение…

К большому привалу выяснилось, что наши горе-артиллерийские лошади совершенно выбились из сил. Генерал решил временно реквизировать хороших крестьянских. Поручился честным словом, что по окончании экспедиции вернем[217].

Быстро подобрали шесть отличных пар. Переменили и вербовых. Я выбрал себе бойкую рыжую кобылу, рабочую лошадь, но совсем приличного вида. Беда только, что она, конечно, ни повода, ни шенкеля не понимала вовсе. Чтобы заставить повернуться, приходилось тянуть повод по-извощичьи и по-крестьянски действовать ногами. После обеда конную сотню выслали вперед. Я получил приказание сопровождать ее в качестве артиллерийского разведчика. Взял с собой прапорщика Мочерета, козака-поляка Д. и еще одного разведчика.

За селом Савинцами перешли речку Оржицу, повернули на юг. Показались крыши и окутанные зеленой дымкой сады Денисовки. Командир конной сотни ротмистр Гречка выслал вперед разъезд. Мы пошли шагом. Надо было выяснить, есть противник или нет. Я ехал рядом с ротмистром. Кругом зеленели

озими, пели жаворонки. Ивы стояли, распустив зеленые волосы. Впереди кучка всадников приближалась к селу. Мы поминутно вскидывали бинокли. Спокойно. Ничего нет. Ничего. Ничего…

А нам всем хотелось, чтобы было. Ротмистру, мне, прапорщику-еврею, «казаку поляку», хуторянам, гимназистам со штыка», молодому черкесу, служившему в конной сотне. Поднимались на стременах, вглядывались в местность. Сдержанно нервничали, не оттого, что будет бой, а оттого, что его может не быть. Неужели просто сдадутся… Ротмистр сказал вслух:

– Никогда я так сильно не чувствовал, как много значит на войне спортивное начало. О нем не принято говорить, но военная психология знает это хорошо. Два дня тому назад мало кто из нас знал о существовании села Денисовки. Лично никому из чинов Куриня тамошние фронтовики ничего не сделали. Соображения о том, что надо бороться с повстанцами, поддержать авторитет власти, разоружить население, все это осталось в Лубнах. Здесь было чувство спортивной команды перед матчем. Вдруг противник сдастся без боя. Неинтересно…

В Денисовке затрещали винтовочные выстрелы.

– Ну вот, слава Богу…

Я обернулся. Это наш разведчик Д. сказал вслух то, о чем другие конфузливо думали. Разъезд полевым галопом на больших интервалах уходил от села. В воздухе ныли дальние пули. Звук был не тот что на германском фронте. Я как-то не сразу сообразил, что пули русские. На пахоти поднимались пыльные облачка. Мы развернулись в лаву. Мне ротмистр приказал скакать на правый фланг в качестве замыкающего унтер-офицера. Благодаря шлыкам, яркому солнцу и обнаженным шашкам, лава казалась нарядной и немножко выдуманной – со времен запорожцев никто не носил таких шапок. Мы медленно шли рысью навстречу противнику. Дальние пули летели беспорядочно, но густо.

– Николай Алексеевич…

У прапорщика Мочерета растерянное лицо.

– Николай Алексеевич, что мне делать… У меня никакого оружия…

– У вас в руке шашка.

– Но огнестрельного…

– Прапорщик Мочерет. На свое место!

Ротмистр Гречка подает команду. Спешиваемся. Я думал, будем атаковать в конном строю. Коноводы отводят лошадей. Залегаем в цепь. Огня не открываем. Повстанцы тоже замолчали. Солнце греет затылки. Жаворонки поют. Довольно конных

упражнений. Я опять артиллерист. Позицию выбрал заранее. Впрочем, стрелять можно отовсюду. Село хорошо видно. Перед входом в него мельницы. Где-то там лежит цепь противника, но ее не видно. Фронтовики хорошо приспособились к местности.

Мы выезжаем на позицию с шумом и с разговорами. Хватаются не за то, что надо. Неумело спешат. Подводы со снарядами отстали. Пришлось отпрячь передки. Вид для артиллерийского глаза конфузный. Рядом, шагах в двухстах, неторопливо, но быстро снимаются гаубицы обер-лейтенанта Артопеуса. Передки отъехали, и сразу почти желтое пламя, негромкий удар по ушам и шелест снаряда в воздухе. У мельниц-ветряков вырастает черный куст. Ну вот, наконец, и мы готовы. Порядка с непривычки мало, но отстали не очень. Овсиевский поручил стрелять мне.

– По пехоте у мельниц, прямой наводкой, по отражателю О, угломер тридцать – ноль, двадцать… Стой-й!

– Слава!.. Слава!.. Слава!..

Наша атакующая цепь. Проходят близко от батареи. Надо подождать. Впереди генерал Литовцев с наганом в руке и ротмистр Белецкий.

– Слава!.. Слава!.. Слава!..

В промежутках между выстрелами гаубиц рев молодых голосов. Пули поднимают фонтанчики. Никакого внимания, идут как во дворе гимназии.

– Не вырываться… не вырываться!

Командиры сотен, поворачиваясь к цепи, сдерживают. Сзади поддержки.

Тащут по озимям пулеметы. Все как следует.

Слава!.. слава!.. слава!..

Двести сажен есть. Можно начинать.

– Двадцать, трубка двадцать… Орудиями, правое… Огонь!

Лязгнул затвор. Прапорщик Мочерет, исполняющий обязанности фейерверкера, поднял руку. Наводчик смотрит на меня.

– Ребята, зажмите уши! – команда неуставная, но они впервые.

– Первое!

Гулкий удар по ушам. Первая шрапнель. Белый клубок над полем. Слишком близко от своих. Надо увеличить.

– Тридцать, трубка тридцать! Взводом, огонь!

Пошло на лад. Уже не суетятся. Беглый огонь! Беглый огонь! Я прочищаю… не видно, но они должны быть там, на окраине деревни. Больше негде. Над нашими головами густо летят пули. Бризантные бомбы Артопеуса рвутся около мельниц. Наша

граната попала в крышу ветряка. Фонтаном взвились дранки.

– Здорово…

Пехота подходит к деревне. Увеличиваю прицел еще на десять делений. Шрапнель рвется над хатами.

– Пустяки!

– Никак нет, смотрите, германцы…

Да, германские пулеметчики занимают бугор в направлении на село Чевельчу. Оттуда контратака повстанцев. Пока далеко. Не стреляют. Ну, ничего, отобьемся. Германская пехота наготове. Все-таки переплет не из приятных… Еще несколько очередей. Больше стрелять нельзя. Наши вошли в Денисовку.

– Лошадь!

Еду вперед узнать, что там делается и куда двигать пушки. Вот и мельницы. Убитых не видно. В пыли бьется раненая лошадь. Стрельбы не слышно. Широкая улица. Бабы пугливо выглядывают из окон. Снарядная воронка. Наша цель поперек улицы. Наготове пулеметы. Я рысью еду дальше. Зачем? Сам хорошенько не подумал. Просто, когда тебе двадцать три года, верхом, с шашкой в руке, в бою очень трудно остановиться. Никто меня вовремя не одернул.

Впереди двое без винтовок в серых шинелях. Шпоры кобыле. Пошла галопом. Рубить я не собирался. Хотел захватить. Серые шинели бегом в боковую улицу. Расстояние быстро сокращается. Я вижу только убегающих врагов. Все остальное не существует. Площадь, церковь, какие-то люди шарахнулись в сторону. Прыгают через плетни.

Вз-вз… вз…

Меня расстреливают со всех сторон. С крыльца матрос в белой рубахе садит из револьвера. Дымки, пули мимо ушей. Сначала растерялись. Думали, за мной конница. Успел повернуть кобылу. Не хочет идти. Чует лошадей. Изо всех сил обухом шашки по плечу. Я доживаю последние секунды. Ясно. Винтовки из-за плетней. Только бы проскочить на улицу. Наперерез мужик с вилами. Руки заняты. Браунинг в левом кармане и еще чехол… Шашкой готовлюсь отвести удар. Кобыла сама шарахнулась в сторону. Я еще жив. Из двора двое. Винтовки со штыками. Шагов двадцать расстояние. Кобыла уперлась в плетень. Ни шагу больше. Мозг повторяет училищную команду:

– С переносом ноги через шею…

Хорошо, что много цукали. Соскочил гладко, не поскользнулся. Но двое с винтовками в десяти шагах. Не стреляют – все равно не уйду. Приколоть интереснее. Топот нагоняющих сапог. Баба истошно воет, оплакивая мою смерть. Широкая улица. Поток пулеметных пуль. Сапог не слышно.

Остановились. Машу своей шашкой. Из пулемета пульсирующий дымок. Пули через голову. Фу, ты черт… Одна рядом со мной. На стене хаты серая рана. Еще, еще… так и убить могут.

Нет, я спасся. Обступили, поздравляют. Меня считали покойником. Так и немцам передали. Обер-лейтенант Раевский убит. Топот, звон, пыль. Наши пушки въезжают рысью. Снимаются на улице. Поручик Овсиевский решил отомстить за мою смерть. Хотел открыть огонь картечью в упор. У брата ликующая физиономия. Он не расплакался, но уже просил разрешения пойти искать мой труп. Ну, словом, жив. Потом разберемся, как и что. Стрелять картечью поздно. Правофланговая рота уже впереди. Опять я на площади. Никого нет, одни бабы за окнами. Конная сотня идет повстанцам в тыл. Все, у кого есть винтовки, собираются на южную окраину села. Повстанцы выбиты из Денисовки. Отступают. Первые, выбежавшие на берег Оржицы, видели, как по болотистому лугу между кустами пробираются серые фигуры. Мы их уже не видим, но стреляем по зарослям беглым огнем. Мой карабин накалился. С непривычки начинает болеть плечо. Оба пулемета кончают запасы лент. Обер-лейтенант Артопеус поставил цепь передатчиков. С улицы бьет по лугу то бомбами, то шрапнелью. Надрывный грохот бризантных, белые густые комья.

Рядом со мной офицер останавливает козака-гимназиста. Сгоряча тот не поставил прицел и, зажмуриваясь, пулю за пулей укладывает в двадцати шагах от себя.

– Не балдеть!

Схватил его за плечо, потряс. Наконец гимназист понял. Свистки. Прекратить огонь. Можем попасть по коннице.

Смеркается. Перепутавшиеся, разбредшиеся по селу сотни собираются на главной улице. Бой обошелся нам недорого. Один только тяжелораненый – семнадцатилетний пехотинец-хуторянин. Пуля в живот. Сразу потерял сознание. Вероятно, умрет. Остальным повезло – пробитые полы шинелей, простреленные фуражки. У одного оцарапана пулей рука, у другого пропорот сапог. Потери повстанцев еще не выяснены. На лугу немало убитых и изрубленных конницей. После атаки ротмистр Белецкий встретил молодого черкеса из конной сотни. Черкеска изорвана, на груди кровь.

– Ты что, ранен, Ахмет?

– Зачэм ранен? Совсем нэ ранэн! Большевика резал… шестнадцать раз резал! На трупе фронтовика, действительно, насчитали больше десяти ран. Офицеры в один голос говорят, что новички селяне и учащиеся шли в атаку великолепно. Сначала кричали, как полагалось «слава», а когда разгорячились, перешли

на «ура». Вот только, когда близко сошлись на улицах с повстанцами, некоторые как будто нарочно мазали.

– Знаете, не привыкли в людей стрелять…

В некоторых местах фронтовики оборонялись ручными гранатами. Исправных пулеметов у них, к счастью, не было. Иначе не избежать бы нам больших потерь. О том, что нам в тыл наступали цепи со стороны Чевельчи, большинство узнало только после боя. До атаки дело не дошло. Должно быть, услыша артиллерийский огонь, чевельчанские повстанцы не решились подойти ближе. Все же, по соглашению с германцами, решено было в Денисовке не ночевать. В случае ночной атаки, имея в тылу речку, отряд мог бы попасть в тяжелое положение. Конечно, нас бы не разбили, но ни Куриню, ни немцам не хотелось зря рисковать людьми. Мы отошли за Оржицу и, если память не обманывает, расположились на ночлег в селе Савенцах. Мне перед сном пришлось еще раз подробно рассказать свою авантюру. Общее мнение было таково, что из подобной истории можно выйти целым не больше, чем раз в жизни. Я думаю, на площади меня спасло как раз то, что повстанцы стреляли со всех сторон. Они боялись перебить друг друга и метили в голову. Понятно, я многим обязан и офицеру пулеметчику, он сразу сообразил, в чем дело, и рискнул открыть огонь. Вот некоторые добровольцы, хотевшие мне помочь, те едва не убили в самую последнюю минуту. Начали стрелять по преследователям из винтовок, забыв, что пули своих от чужих не отличают. К счастью, моих отца и матери уже не было в Лубнах – в город кто-то успел передать по телефону, что я убит, и только на следующий день меня по телефону же восстановили в правах живых.

Утром 19 мая генерал Литовцев приказал мне проводить на земскую телефонную станцию лейтенанта Х., который должен был доложить о вчерашнем бое, германскому коменданту Лубен, а затем пройти в больницу и узнать, как здоровье раненного накануне козака. Во время телефонного разговора я оставался в соседней комнате, чтобы не мешать. Впрочем, дверь была открыта, и я все слышал. Лейтенант говорил о том, что молодые козаки прекрасно выдержали боевой экзамен.

– Ja… Ja… glänzend… замечательная молодежь… да, да… ожесточенно сопротивлялись… Strassenkampf… Kampf auf zwei Fronten… Handgranaten… glänzend… нет, офицер спасся, он здесь… только лошадь досталась повстанцам…

В больнице я узнал печальную новость. Раненый хуторянин ночью скончался от перитонита. Нельзя было ничего сделать. Кишки изорваны. Мальчик сильно мучился перед смертью.

Сказал фельдшеру, что за телом пришлем. Вернулся, когда

отряд уже был готов к выступлению. Генерал Литовцев, несколько наших офицеров и германцы сидели в головных уборах.

– Ваше Превосходительство, раненый козак скончался. Der verwundete Kosak ist gestorben…

Все встали. Генерал перекрестился. Германцы просто сняли каски и затем опять надели.

Снова мы перешли Оржицу и всем отрядом вошли в Денисовку. Перед обедом состоялся военно-полевой суд над захваченными повстанцами. Я на нем не присутствовал и не помню, был ли суд чисто германским – на основании общего приказа фельдмаршала Эйхгорна – или смешанным, германско-украинским. Во всяком случае несколько человек, в том числе одного агитатора, приехавшего из Советской России, приговорили к смертной казни и сейчас же расстреляли. Любовница одного из казненных в тот же день утопилась в колодце. Дробницкого, по-видимому, в Денисовке не было.

По окончании суда генерал Литовцев собрал командиров сотен, пулеметной команды и артиллерийского взвода[218] для обсуждения вместе с германцами дальнейшего плана действия. Это не был настоящий военный совет, но все же генерал хотел узнать, как мы оцениваем результаты вчерашнего боя и что считали бы полезным предпринять дальше. Германцы, судя по всему, хотели, чтобы инициатива исходила не от них.

Все в один голос высказывались за то, что село Чевельча, пытавшееся накануне напасть на нас с тыла, должно быть наказано. Если мы уйдем отсюда, ничего не предприняв, весь эффект боя пропадет. Итак, вечером между офицерами шли разговоры о том, что наш отход за речку Оржицу селяне поймут как признак слабости. Против наказания Чевельчи генерал не возражал. Насколько помню, не все были единодушны в том, следует ли обстрелять село артиллерийским огнем. Во всяком случае, когда генерал Литовцев своей властью решил вопрос положительно и мы уже вышли на улицу, он, обращаясь к обер-лейтенанту Артопеусу и нескольким куринным офицерам, ко мне в том числе, сказал в форме не приказания, а скорее – пожелания:

– Я считаю, что следовало бы сначала предложить им вывести женщин и детей…

Артопеус ответил уклончиво:

– Да, это было бы лучше…

Помощник командира конной сотни и я вежливо, но решительно запротестовали. Я считал, что либо совсем не надо стрелять, либо никаких предупреждений. Посылать к мятежникам парламентеров – напоминать им о временах Керенского. Генерал на своем пожелании не настаивал.

Мы заняли позицию верстах в трех от Чевельчи. Село разбросано по обоим берегам реки того же имени. Как и во многих полтавских селах, есть пруды. На этот раз снялись с передков гладко. Я предварительно напомнил номерам все их вчерашние ошибки.

Работали хорошо, но надо больше порядка. Гаубицы Артопеуса стали почти рядом. Хотели даже построить общий параллельный веер, но потом я вспомнил, что деления германской панорамы несколько разнятся от наших. Высчитывать не было времени. Одновременно открыли огонь. Я решил про себя, что единственное послабление, на которое можно пойти, это – не стрелять по деревне гранатами, если только оттуда не откроют огня по нам. Действие трехдюймовой шрапнели на разрыв по постройкам равно нулю, а страху натерпятся немало.

Так и сделал. Пристрелялся по передней окраине, потом начал менять прицел скачками в 2–3 деления. Стрельба Артопеуса неартиллеристам в этот день была непонятна. Потом говорили, что под Денисовкой германский командир стрелял на двенадцать баллов, а под Чевельчей – самое большее на шесть. Ни одного попадания по хатам и все больше перелеты. Мне было ясно, в чем дело. Не сговариваясь, мы оба вели огонь «на моральное поражение», а если бы из деревни началась стрельба, тоже без сговора изменили бы команды.

Через четверть часа на холме появилось двое людей с белым флагом. Пушки и гаубицы замолчали. Германские офицеры со своими разведчиками, Овсиевский, я, еще несколько конных дали лошадям шпоры. Револьверы у всех наготове – браунинги, наганы, парабеллумы, кольты – целый арсенал. Могла быть засада. Лошадь из конной сотни, которую мне временно дали, хорошо поспевала за воронымиа «Зигфридом» и «Брунгильдой» германских артиллеристов. Скакали рядом. Овсиевский сдерживал своего отличного коня, приведенного с фронта. Зато ротмистр, племянник генерала Мусмана, увязавшийся специально в эту экспедицию (он не состоял в Курине), сразу вырвался на много корпусов вперед. Его чистокровная английская кобыла шла по пологому скату полным махом. Вот и люди. Оказывается, один из них – батюшка в елитрахиди с крестом. Поднимает его над головой. Мы сдерживаем лошадей. Снимаем папахи, фуражки, шлемы.

Батюшка объявляет, что деревня сдается и просит ее не разрушать. Мы вообще ничего больше не собираемся предпринимать в Чевельче. И так хватит. У каждого дома белый флаг – простыни, платки, просто тряпки. Раненых и убитых нет. Шрапнель разбила несколько стекол. Гаубичные воронки все на

выгонах и в огородах.

Несколько бомб попало в пруд.

Пока мы оставались в Чевельче, пришла депутация еще от одной деревни. Сдаются и просят не стрелять. Мы не имели понятия о том, что там тоже есть какая-то организация. В доказательство своей лояльности привели мою рыжую кобылу, брошенную повстанцами. Отдельно принесли седло, найденное на том болотистом лугу, по которому мы накануне стреляли. Пропал только из кобуры сафьяновый несессер, проделавший со мной почти два года войны. У лошади на передней ноге запекшаяся кровь. Чиркнула пуля, оттого она, должно быть, в самый опасный момент и остановилась.

Вечером отслужили панихиду по убитому козаку. Гроба еще не успели сделать. Тело лежало на носилках, убранных цветами и распускающимися ветками. Кругом поставили подсвечники. Офицеры и солдаты один за другим подходили, крестились и ставили свечи. На желтом, совсем еще детском лице убитого дрожали размытые тени. На настоящей войне смерть мало волнует. Привыкаешь. А тут все мы были взволнованы – и воевавшие и невоевавшие. Как-то сразу почувствовали, что эта первая жертва нас сблизила. Каждый ведь вчера рисковал тем же.

– Новопреставленному рабу Божию, на брани убиенному…

Вечную память пели все. Несколько человек помоложе вытирали слезы. Потом, когда вышли из церкви, никто громко не разговаривал. Была тихая, хорошая грусть.

Утром двадцатого выступили в обратный путь. Впереди конная сотня пела:

Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили и враг бежит…
Итак за гетмана, за нашу веру…

Вообще возвращение было веселое. Понюхали пороху и, по крайней мере, перед немцами не оскандалились. Получившим первое боевое крещение особенно хотелось поскорее домой. Рассказывать, рассказывать… За двое суток столько переживаний.

Белый дощатый гроб везли в самом хвосте колонны. В Лубнах нас встретили толпы народу. Оказывается, рассказывали о нашей судьбе ужасные вещи. Отряд окружен, огромные потери, много убитых. Матери плакали. Германской комендатуре не давали покоя телефонные звонки. Всю эту панику развели двое учащихся, не выдержавших нервного напряжения и бежавших с поля сражения. Как всегда уклонившимся от боя казалось, что все погибло. Окружены, разбиты… Им вот удалось спастись, а об

остальных ничего не знают.

Убитого мальчика-хуторянина провожал весь Куринь и множество публики. Было много гимназистов и гимназисток. За колесницей, полной венков, шел отец – пожилой, высокий крестьянин и горько плакавшая мать. На родителей было тяжело смотреть – хоронили единственного сына. За ними – генерал Литовцев, комендант и германские офицеры, участники боя, в походной парадной форме.

Когда гроб опускали в могилу, артиллерия дала троекратный залп, а в промежутки, между пушечными выстрелами, салютовали пешие сотни. Почести, положенные при погребении генералов, но мы решили отдать их первому солдату, павшему на поле брани в рядах Куриня.

Денисовская экспедиция показала, что наш отряд – вполне боеспособная часть. Пессимисты думали, что под пулями новички лягут и будут лежать, а то и просто разбегутся. Я, положим, был в числе оптимистов.

Вместе с тем совместное участие в бою внутренне сблизило Куринь с немцами. Повторилось то же самое, что было в дивизии Натиева. На германцев, и на офицеров, и на солдат, атака молодежи произвела большое впечатление. Наши тоже оценили по достоинству немецкую пехоту. Особенно те, которые сами видели, как навстречу густой цепи, наступавшей со стороны Чевельчи нам в тыл, молча пошло отделение с одним пулеметом.

Очень всем понравилось – и своим, и немцам, – как вел себя в бою атаман Куриня и его штаб. Впоследствии генерала Литовцева обвиняли в печати во многом – и в том числе в недостатке личного мужества во время Великой войны. Думаю, что это неверно. Литовцев во время атаки шел в своей генеральской шинели впереди цепи и, несомненно, рисковал жизнью не меньше, а больше других.

Тем не менее после первого боя состав отряда, хотя немного, но уменьшился. «Некоторые из крестьян, сыновья которых служили в Курине, испугались мести односельчан и велели хлопцам вернуться домой. Они не думали, что дело примет такой серьезный характер, и боялись дальнейшей борьбы. Интеллигентные же и полуинтеллигентные родители оказались устойчивее. Тревоги, даже отчаяния и слез во время экспедиции было много, но, когда молодежь вернулась невредимой, все успокоились и дело пошло по-старому».

Ушло еще несколько офицеров, бывших студентов, в том числе прапорщик, упрекавший меня в том, что во мне совсем не чувствуется студента. Опасности они не боялись, но в них заговорила, как я считал, «керенская» психология. В принципе

применения вооруженной силы не отвергали. На практике хотели бы только грозить стрельбой, а не «стрелять в народ».

Проверяя свои собственные впечатления, я чувствовал, что не стрелять нельзя. Иначе вообще ни о какой борьбе говорить нечего. Деревня подчинится только силе, готовой не грозить пушками и пулеметами, а на самом деле пустить их в ход. Может быть, менее, чем многие из моих товарищей, я понимал, что ослабей мы, нас и наших близких в конце концов перережут, замучат, сожгут на кострах. Надо во что бы то ни стало продержаться, пока не пройдет переходный период. Успокоение наступит тогда, когда в деревне поймут, что бороться с властью безнадежно. Вопрос только в том, какой должна быть сама власть.

Некоторых смущала не необходимость стрелять вместе с германцами по русским деревням, а выкрик одного повстанца, который атакующие услышали в пылу боя:

– Бей изменников родины!

Когда об этом шли разговоры в Курине, я вспоминал о том, как год тому назад во время войны мы, офицеры, безнадежно боролись на фронте с братанием. Теперь братались с немцами мы, но внешняя война по желанию фронтовиков кончилась и не им кричать об измене.

Глава XVI

Опять потянулись мирные недели. По субботам в кабинет Литовцева собирались его помощник, командиры пеших и конной сотен, начальник пулеметной команды, поручик Овсиевский и я.

«Обыкновенно на этих собраниях мы единогласно настаивали на дальнейшем усилении дисциплины и постепенном превращении Куриня в «муштрову частину» – строевую часть. Нередко разбирались крупные проступки чинов отряда. Благодаря неофициальному его положению, высшей мерой наказания было исключение из списков».

По-прежнему больным местом Куриня оставалась конная сотня. Мне было ясно, что без основательной чистки ее личного состава не обойтись. Необходимо удалить разбойный, подлинно гайдамацкий элемент, в изобилии поступивший туда в первые дни формирования Куриня. Среди козаков сотни, помимо профессиональных солдат, весьма склонных к грабежу, были авантюристы, выдававшие себя за кавалерийских офицеров, всевозможные «пройдисвиты» и более или менее уголовные личности, в отношении которых большевицкий термин «белобандиты» был недалек от истины.

Во время еженедельных заседаний мы разбирали дела о самовольно реквизированной коже и разных нарушениях дисциплины, касающихся внутреннего быта. Между тем по уезду ходили упорные слухи о том, что отпускные козаки сотни совершили в селах несколько убийств. Надо сказать правду – в то жестокое время огромное большинство офицеров, я в том числе, не считали преступлением бессудные расстрелы большевиков, если они совершались по приказанию начальников. Речь, однако, шла о том, что некоторые козаки конной сотни сводили личные счеты с односельчанами и расстреливали людей, не имевших к большевизму никакого отношения. Этих убийств было немного, но они были. Генерал Литовцев ценил в козаках сотни надежный боевой элемент и проявлял мало энергии в борьбе с «эксцессами». На этой почве его помощник – полковник П. резко разошелся с атаманом и ушел из Куриня, заявив, что с разбойниками он в одной части служить не может. Я считал, что уходить и разваливать только-только налаживающееся дело нельзя. Надо выгонять «разбойников». Однако нерешительность генерала очень меня угнетала.

«В конце концов несколько офицеров, и я в том числе, поставили перед генералом вопрос ребром – либо удалить из Куриня явно уголовный элемент, либо разрешить уйти нам».

Кой-кого из сотни исключили, но дисциплинированной частью она все-таки не стала. Не хватало твердой руки.

Вскоре после экспедиции в Денисовку весь Куринь, в том числе и наш артиллерийский взвод, переселился за город в казармы, выстроенные незадолго до войны для Лубенского гусарского полка. Там же стояла германская гаубичная батарея Артопеуса, рота пехоты и конский запас. Места хватило на всех. Обширные одноэтажные корпуса и конюшни были построены незадолго до войны и рассчитаны на шесть эскадронов со всеми командами. Во время революции население растащило всю мебель, отвинтили даже много дверных ручек, но здания уцелели. Правда, много разбитых стекол, центральное отопление не действовало – с котлов сняли арматуру, но для теплого времени помещения годились вполне.

Во внутреннем быту отряда, в связи с переходом за город, произошли значительные перемены. Первоначально каждый из чинов Куриня мог в любой день подать рапорт об уходе. Как я уже упоминал, большинство «козаков» жило на частных квартирах. Такой порядок вещей и раньше представлял огромные неудобства. Он был, однако, терпимым, пока все находились относительно недалеко от сборного пункта. Теперь, чтобы отряд мог дальше существовать, пришлось жизнь в казармах сделать обязательной для всех солдат, установить регулярное дежурство офицеров и, самое главное, – обязать всех подпиской прослужить в Курине определенный срок. В Добровольческой армии, как мы знали, вновь поступившие подписывали обязательство не уходить раньше шести месяцев[219]. Штаб Куриня решил, что в наших условиях, особенно принимая во внимание неопределенность финансового положения отряда, полугодовой срок слишком велик. Ограничились тремя месяцами.

Очень многие не пожелали дать подписки и ушли. Офицеры, рассчитывавшие получить рано или поздно места на официальной службе, не хотели себя связывать какой бы то ни было подпиской. Другие собирались в Добровольческую армию и смотрели на Куринь как на переходный этап, где не стоит засиживаться. Все они подали рапорты об исключении из списков. По той же причине ушли некоторые учащиеся. Трехмесячный срок потерей учебного года им не грозил, но в то время мало кто из них думал о продолжении учения. Начиналась тяга на Дон и на Кубань. Короткий, сам по себе, срок казался слишком долгим. Охотнее всего давали подписку профессиональные солдаты и вновь поступавшая сельская молодежь. Их интересы в большинстве случаев ограничивались Лубенским уездом, и перспектива служить три месяца нисколько не смущала.

Мы пытались упорядочить наш маленький добровольческий отряд. В то же время в Киеве велась энергичная работа по созданию регулярной вооруженной силы Украинской Державы. Уже 19 мая начальник Генерального штаба полковник Сливинский представил доклад об организации армии на основе территориального комплектования.

1 июня гетман письмом на имя военного министра неожиданно приказал расформировать все иррегулярные воинские отряды, возникшие на территории Украины после изгнания большевиков: «Всі приватні и вільно-козачш організації, Київский відділ і печаткі, з настоящего дня касуються і объязляються не дійсними, також і посвідчення видані за ними»[220]. Вместе с тем Скоропадский отдал распоряжение создать «козацьку раду» для выработки статуса украинского казачества. Мысль сама по себе казалась правильной. Большинство сторонников гетманской власти считало, что пора революций, переворотов, партизанщины, любительско-военных предприятий кончилась. Говоря теперешним языком, начинается «строительство».

В лубенском Курине, отлично снабженном и относительно дисциплинированном, за исключением конной сотни, уголовные деяния являлись все же исключением. В других отрядах, судя по рассказам очевидцев, творилось бог знает что. Сплошь да рядом курини «вольного козачества» больше походили на шайки грабителей и насильников, чем на воинские части. Их самовольные карательные экспедиции жесточайшим образом подрывали авторитет власти. Гетманское правительство, распуская самочинно образовавшиеся отряды, ликвидировало наследие, предыдущих полуанархических месяцев[221].

Наряду с этим все мы считаем, что распоряжение гетмана к организациям, подобным нашей, не относится. Курень сформирован не самочинно, а по приказанию соответствующих властей. По своему облику он никак не подходит под понятие «приватной организации». Надо удалить сомнительный элемент и усилить дисциплину. В то же время отряд, доказавший свою боеспособность и слаженность, нужно не только сохранить, но и усилить. Как-никак он является единственной реальной опорой власти в уезде. Конечно, по существу, хозяева страны и защитники гетманского правительства – германцы, но рано или поздно они уйдут.

Тогда что?

Нам, чинам Куриня, казалось, что пока германцы на Украине, надо во что бы то ни стало создать дисциплинированную и хорошо вооруженную силу, которая смогла бы удержать в руках

деревню, пока будет длиться переходный период. Организовать всех, на кого может опереться буржуазная государственность. Само собой разумеется, что воинская сила должна быть создана на регулярных началах. Однако в возможность немедленно сформировать армию на основе всеобщей воинской повинности, даже при условии, если на это согласятся немцы, мы не верили.

Предварительная организационная работа, которая ведется в Киеве, выработка уставов, инструкций с учетом опыта Великой войны[222], создание офицерских и унтер-офицерских кадров – все это отлично и в свое время принесет пользу. Однако собрать без всякого отбора хотя бы только неслуживших парней в казармы и дать им винтовки было бы совершеннейшим безумием. Результат мог получиться один – торжество большевиков.

Летом 1918 г. вопросы, касавшиеся формирования украинской армии, служили в Курине постоянной темой разговоров. Одни думали о личной своей судьбе – куда бы устроиться. Куринь ведь не век будет существовать, да и нельзя же долгое время жить на сорок «карбованцев». Те, у кого кругозор был пошире, старались заглянуть в будущее. Разрешат германцы гетманскому правительству создать собственную вооруженную силу или не разрешат? Удастся сформировать надежные части или нет? К начавшемуся в первых числах июля набору гвардейской сердюцкой дивизии, куда зачисляли главным образом добровольцев – сыновей «гетманских» хлеборобов, мы отнеслись очень сочувственно. Большая часть «сердюков» были молодые полтавские хлопцы. Они охотно ехали в Киев на службу. (Губерния недаром считалась наиболее «гетманской».) Сам генерал Скоропадский, многие участники переворота, министры и чины гетманского двора – коренные полтавцы. Во время моих наездов в Киев по делам Куриня я нередко чувствовал в разных учреждениях эту «полтавскую атмосферу». Кстати сказать, в Курине служил двоюродный брат гетмана, молодой помещик С. В. Милорадович, прапорщик запаса, и благодаря ему наш отряд имел возможность адресоваться в нужных случаях непосредственно в «сферы». Позднее, ближе к осени, стало известно, что на 15 ноября назначен призыв новобранцев. Я, как и многие другие офицеры, отнесся к этому проекту как к предприятию весьма неразумному. Получалось впечатление, что в киевских военных кругах побеждает «народническое» течение – вера в то, что деревня замирена и на нее, как на целое, можно опереться. В эмигрантской украинской литературе мне не удалось найти по этому поводу каких-либо воспоминаний, но я считаю чрезвычайно вероятным существование такого настроения, созданного несколькими месяцами внешне мирной жизни. В

конце концов, украинскую армию создавали русские генералы, а русским генералам вера в «народ», в серую массу, была свойственна не меньше, чем социалистам-революционерам. Привычные формулы, повторяемые с первого класса корпуса до седых волос, входили в плоть и кровь и мешали видеть очень грустную действительность[223].

Я часто говорил о принципах организации вооруженной силы в переходный период с генералом Литовцевым. Постепенно хорошо с ним познакомился, и генерал нередко приглашал меня по вечерам к себе на квартиру. С удовольствием вспоминаю эти разговоры за чашкой чая в летние лубенские вечера. У генерала Литовцева был непростительнейший, особенно для военного, недостаток – слабость воли и наряду с личной храбростью отсутствие гражданского мужества. Кроме того, он очень легко поддавался влияниям интриганов и, как мне кажется, не всегда умел должным образом разграничить служебные и личные отношения. Должен сказать, что эти свойства характера генерала Литовцева стали для меня ясными много позже. В Лубнах я видел в нем только умного и образованного офицера Генерального штаба, человека с большим военным кругозором и несомненной духовной гибкостью. Обязательные рукопожатия между всеми чинами Куриня вне службы, конечно, небольшая и неважная деталь, но все-таки, когда гвардейский генерал, бывший командир корпуса, по доброй воле подавал руку семнадцатилетнему парубку, это производило отличное впечатление как раз в нужном в то время направлении.

Лично ко мне, совсем еще молодому поручику, гостеприимный хозяин относился более чем внимательно. Часто я совсем не чувствовал, что говорю с человеком, который старше меня лет на тридцать. В Киеве однажды, к большому своему удивлению, услышал, что атаман Куриня будто бы ничего не предпринимает, не посоветовавшись со мной. Это, конечно, совершенно не соответствовало истине, но и в Лубнах и позже, когда генерал Литовцев стал начальником штаба Южной Армии, он очень доверял мне и сплошь и рядом делился со мной сведениями, предназначенными лишь для самого ограниченного круга лиц.

Своих взглядов на русскую крестьянскую массу, как на стихию безгосударственную, а частью и антигосударственную, у генерала Литовцева я не заимствовал. Они уже вполне сложились к тому времени, когда я ближе познакомился с нашим атаманом. Точно так же я самостоятельно пришел к убеждению, что в эпоху Гражданской войны формировать армию, опираясь на «народ», – предприятие заранее обреченное на неудачу. Ни за правыми, ни

за левыми, ни за средними деревня добром не пойдет. Меня, однако, очень ободряло то, что мои, для большинства еретические, убеждения совершенно совпадают со взглядами человека, у которого и житейский и боевой опыт неизмеримо больше моего.

Впоследствии в Добровольческой армии, особенно в 1919 г., мне приходилось несчетное количество раз спорить на эту тему с моими товарищами по батарее и другими офицерами. Во время наступления на Москву народнические настроения – слепая вера в мужика – были в армии настолько сильны, что еретикам вроде меня приходилось тяжело. Нередко принципиальные расхождения отзывались и на личных отношениях. Мои товарищи никак не хотели понять, что вера в нацию и вера в деревню – это совсем не одно и то же.

Должен сказать, – конечно, это только личный мой взгляд, – что в гетманской Украине, по-моему, вообще трезвее и последовательнее смотрели на вещи, чем в героическое время Добровольческой армии. Генерал Литовцев в этом отношении не составлял исключения. Не хватало крупных людей, действовали плохо, но мне кажется, хоть умели ясно видеть действительность.

Не всегда, правда… По разработанному Генеральным штабом плану формирования украинской армии в Полтаве должен был стоять штаб корпуса, в Лубнах – штаб 12-й дивизии и управление артиллерийской бригады. Предполагалось, что в эту дивизию войдут кадры трех полков 9-й дивизии русской армии (Орловского, Северского и Брянского), переименованных в Лубенский, Прилукский и Кременчугский. Фактически этих кадров на Украине, по-видимому, не существовало. Естественно было думать, что киевские руководители армии используют наш Куринь, как фактически уже существующую боевую часть, и он послужит основой при формировании регулярной дивизии. Генерал Литовцев хлопотал об этом в военном министерстве. По-видимому, намечалось его назначение начальником дивизии. Однако на этот пост и на все вообще командные должности кандидатов было много. Им совсем не улыбалась мысль о том, чтобы офицеры Куриня получили полки, батальоны и роты. Наш отряд был помехой не только для лубенских большевиков, но и для всех жаждавших назначений. Они оказались сильнее. Несмотря на поддержку влиятельных организаций, Куринь остался в стороне. Его не упразднили, но не давали ни кредитов, ни штатов. По-прежнему отряд жил на деньги, отпускаемые для «охоронной сотни» (приблизительно треть того, что было нужно), и на займы, предоставляемые частными лицами. Овес и сено получали, правда, в изобилии путем реквизиций у помещиков.

Законность этих реквизиций находилась под большим сомнением, но до поры до времени крупные земельные собственники, надо отдать им справедливость, мирились с таким положением вещей. Становилось, однако, ясно, что без денег Куринь долго не просуществует. Было необходимо найти постоянный источник средств и так или иначе упрочить наше положение. Единственной организацией, которая могла нас поддержать в Лубнах, явилась партия хлеборобов-демократов[224]. По существу, мы и так были в постоянной связи с ней. Предстояло эту связь оформить и укрепить. Начались переговоры, подробности которых я не помню. Если память не обманывает, партия – во главе с инженером У. С. Шеметом – первая пошла нам навстречу.

9 июня в Лубнах состоялся многолюдный уездный съезд партии. Политика гетманского правительства подвергнулась критике. Правительству ставили в упрек малонациональный характер его деятельности и переполнение учреждений людьми, чуждыми Украине. Вместе с тем партия настаивала на ускорении работ комиссией по выработке земельного закона и по реформе городского самоуправления[225].

Съезд постановил приветствовать наш Куринь за его работу. Я не был на заседании, но, как мне передавали, речь шла и лично обо мне. Съехавшиеся козаки и крестьяне находили, что ротмистр Белецкий и я «умеем формировать добровольческие части». Партия не ограничилась приветствием. Постановили оказать Куриню материальную поддержку. С этой целью было постановлено установить обязательное обложение – если не ошибаюсь, пятьдесят копеек с десятины в месяц. При условии, что обложение будет поступать регулярно, ожидаемая сумма вполне обеспечивала существование Куриня при таких низких ставках жалованья, которые у нас были установлены. Хлеборобы пошли и дальше. Решили произвести в своей среде добровольную мобилизацию и пополнить отряд, состав которого значительно сократился с переходом в казармы.

Казалось, что перед Куринем открываются – в уездном масштабе, конечно, – широкие перспективы. Во всяком случае, предстоял интересный опыт создания ополчения из богатых крестьян. Я считал, что жизнь упорно борется с киевскими канцеляриями военного министерства.

Мобилизация, – вернее, набор – была произведена быстро. Уже дней через десять казармы конной и пеших сотен наполнились молодыми парнями, подписавшими обязательство прослужить три месяца. Всех поступивших немедленно одевали в военную форму. На плацу молодые кавалеристы обучались

обращению с пиками. Смотря на этих восемнадцати-девятнадцатилетних парубков, прилежно размахивавших древками, мы надеялись, что наконец-то теперь и конная сотня из партизанского отряда превратится в «муштрову частину».

Что касается артиллерийского взвода, на нем хлеборобская мобилизация отразилась мало. Мы приняли всего пять-шесть человек. Людей было и так достаточно. Казарменная жизнь понемногу налаживалась.

Наши люди – сорок с лишним человек – помещались в чистой, просторной и светлой комнате, рассчитанной, кажется, человек на шестьдесят. У всех были кровати с полным комплектом постельного белья и ночными столиками, подаренными нам расформировавшимся лазаретом. Кроме того, в нескольких маленьких комнатах помещались цейхгауз, канцелярия, фельдфебель. Одну комнату занимал я.

Кстати сказать, в Лубнах интеллигентные люди еще настолько жили понятиями мирного времени, что о моем переселении в казарму (все остальные офицеры жили в городе) было немало разговоров. Хвалили, но удивлялись. Я же чувствовал, что, живя на отлете, никак не наладить ухода за лошадьми, да и вообще в наших условиях все время нужен хозяйский глаз. Я являлся и на утреннюю уборку, и на проверку, потом производил езду и занятия, и только обедать уезжал в город. К вечерней уборке опять возвращался в казарму.

Не без труда удалось приучить добровольцев к вставанию в пять часов утра. Со старыми солдатами было легче. Вначале наиболее молодые никак не могли проснуться. Повторялось то же самое, что я наблюдал в Михайловском училище на своих товарищах – кадетах. Как будто бы человек проснулся, собирается натягивать штаны, а потом валится на кровать и моментально засыпает. Часто приходилось вместе с дневальным поднимать самых упорных сонь.

Постепенно учащиеся втянулись и сами полюбили раннее вставание. Стояли тихие светлые дни горячего украинского лета. На заре чуть заметный пар шел от росистой травы, из монастырского парка тянуло ночной душистой сыростью. Вода в Суле казалась парным молоком. От казармы было рукой подать до прибрежного луга, влажного, чуть топкого, продолжавшего зеленеть, несмотря ни на какую жару. Туда дважды в неделю спускались мы на неоседланных лошадях, раздевались и купали их в реке. На просторе, вдали от жилья, скинув зеленые шкурки, добровольцы окончательно забывали о своем солдатском звании. Визжали, кричали, гонялись друг за другом… «Старые солдаты» – ездовые, парни лет по двадцать шесть – по двадцать семь, тоже

дурили вовсю. Нередко на берегу усаживались немцы постарше. Покуривая свои трубки и снисходительно улыбаясь, они смотрели на нашу суету. Немцы помоложе сами раздевались, лезли в воду и начинали водяное сражение с ukrainischen Soldaten. Германские солдаты, кстати сказать, никак не могли понять, почему это Ober-Leutnant сам купает свою кобылу. Чувствовалось, однако, из разговоров, что наша «демократизация» им нравится. Облик Куриня, правда, сильно изменился по сравнению с первыми неделями его существования. Еще до гетманского переворота понемногу явочным порядком офицеры, не занимавшие командных должностей, начали именоваться не «казаками», а по чинам старой армии, только в переводе на украинский язык. Такие случаи, как назначение караульным начальником унтер-офицера, а часовыми офицеров, прекратились сами собой, но все-таки весь наш быт отличался крайней близостью начальников и подчиненных. Денщиков и вестовых не было. Мою лошадь убирал один из ездовых.

После купания, чтобы разогреть лошадей, ехали домой галопом. Иногда кто-нибудь летел через голову, и, если повод при этом не оставался в руке, лошадь продолжала скакать, предоставляя седоку плестись пешком и попасть в конюшне под град насмешек товарищей».

Больше всего мне было работы с лошадью. Конное дело я и раньше любил. Благодаря хорошим учителям – моим кадровым товарищам – знал его неплохо, но все-таки во время Великой войны на мне лежала только небольшая часть ответственности за конский состав батареи. Теперь приходилось делать все. Во время экспедиции по уезду отбирать у крестьян отощавших, зачастую израненных казенных лошадей. Смотреть, чтобы не попали сапные и чесоточные. Лечить[226], подкармливать, определять возраст, составлять описи. Потом подъезжать и напрыгивать. В то же время каждый день я обучал молодежь езде – сначала в манеже, потом в поле. Часто устраивал взводные учения и дальние поездки. Изо дня в день следил за уборкой лошадей и за чистотой конюшни. В нормальных условиях военной службы все делается почти само собой. Теперь ничто само собой не делалось. С утра до вечера приходилось стоять над душой, действовать на самолюбие, настаивать, требовать. Зато результаты, по крайней мере что касается лошадей, получались, по совести, хорошие. Было приятно войти в чистую, просторную конюшню, потрепать по крупам отличных упряжных и верховых лошадей, бодрых, сытых, с лоснящейся шерстью. Моя гнедая Мэри косила на меня глаз, вбирала дыхание хозяина, гремели цепи, постукивали копыта. Не бог весть какое достижение эти полсотни коней, но у

меня было приятное сознание, что работаю не впустую. Дома штудировал «Книгу о лошади» князя Урусова – лучший труд по гиппологии на русском языке. История древней философии ожидала лучших дней. Советовался с помещиками, коннозаводчиками, ветеринарами. К концу лета через мои руки так или иначе прошло сотни четыре лошадей. (Большую часть приводимых крестьянами во время экспедиций приходилось браковать.) Образовался порядочный опыт. Мне предлагали даже место члена-приемщика ремонтной комиссии. Положение Куриня в то время было почти безнадежным, и я в принципе согласился, но потом, не дождавшись назначения, уехал на Дон. Увлекался я и барьерной ездой. Мэри свободно брала барьер в два аршина два вершка. Случалось, понятно, и падать. Однажды я так хлопнулся виском о твердую землю (лошадь попала ногой в незаметную дыру от столба и перекувырнулась), что потерял сознание. От этого случая осталось воспоминание в виде периодически повторяющихся мигреней.

По субботам обыкновенно устраивались дальние поездки, верст за пятнадцать-двадцать. Выезжали на заре, проводили целый день где-нибудь в селе, там же обедали и возвращались поздно вечером, когда спадет жара. Эти поездки любили все – и офицеры, и старые солдаты, и учащиеся. У кого не было коней, старались достать. Артиллеристам охотно доверяли лошадей и из других частей нашего отряда.

По утрам поля пахли зреющей пшеницей и полынью, кричали невидимые перепела, с первыми лучами солнца начинали заливаться на разные голоса бесчисленные кузнечики. Свежие, сытые лошади шли широким шагом… В такое утро хорошо дышалось, хорошо пелось и хорошо мечталось. Иногда мне чудилось, что на самом деле воскресли времена гетманов. И козаки запорожские воскресли. Звонкими молодыми голосами поют о славе далеких походов, о степях, где буйно и весело гуляет рыцарство вольной Украины… Захватывало очарование старых песен».

Много смеялись и смеются над украинской самостийностью. Я сам смеялся и смеюсь. Но все-таки остается какое-то «но». Я видел его у очень многих – и у природных жителей Юга, и у случайно туда попавших. Служили в фантастических отрядах фантастической страны, сами потешались над своей службой, потом ушли в Добровольческую армию, а все-таки то «украинское» в них осталось.

В своей первоначальной записи я пытался объяснить это почти подсознательное «но» очарованием украинской старины. Думаю теперь, что ошибался. Просто мы очень одни любили,

другие полюбили не самостийную Украину, а просто Украину. Лично для меня при мысли о России прежде всего вспоминается Подольская губерния. Этого не вытравить. Вероятно, поэтому мы и относились к украинской государственности иначе, чем коренные жители Великороссии.

Иногда взводу поручалось самостоятельно произвести разоружение того или другого села. Времена наступили спокойные. Можно было без риска посылать пятнадцать-двадцать человек. Кроме того, в штабе Куриня знали, что артиллеристы не учинят в деревне «эксцессов». В отряде шутили, что меня посылают специально для «деликатного обращения». Проходили эти маленькие экспедиции по той же примерно программе, что и походы всего Куриня в начале его существования. Прибытие в село. Созыв схода. Мужики снимают шапки. Я велю надеть, произношу короткую речь с обязательным упоминанием о том, что теперь не «старый режим» и от имени коменданта приказываю сдать оружие, военное имущество и казенных лошадей. Сносят, главным образом, винтовки, преимущественно неисправные, иногда в значительном количестве. Приказываю наложить их на подводы. Вечером или, в крайнем случае, на следующее утро выступаем в обратный путь.

Во время самостоятельных походов я старался как можно тщательнее следить за дисциплиной. Больше всего боялся, чтобы ездовые не начали, мягко говоря, «самовольных реквизиций». За добровольцев-учащихся я был спокоен. Ненадежных вообще не принимал в взвод. Раз один из ездовых забрался-таки в хату предполагаемого большевика и взял его бритву. Юнкера подняли бучу. Собирались подать рапорт об отчислении.

– Не желаем служить с ворами…

Еле их успокоил. Бритву велел вернуть, а ездового поставил под шашку. Помню еще два случая, когда пришлось пробрать кадет. Деревенский лавочник представил мне «реквизиционную квитанцию» на… полфунта конфет, тщательно выведенную полудетским почерком и подписанную моим козаком – шестнадцатилетним кадетом, перешедшим из конной сотни. Решил, что у нас надо действовать «по закону». Раз влетело и Мосолову. Он стоял караульным в парке. Около лотков с патронами лежало две гусиных головы. Доложил, что «несмотря на троекратное предупреждение» гуси продолжали объедать казенную смазку со снарядов, и он был принужден действовать оружием. Тела унесены «для погребения». Поставил его на два часа под шашку.

«Не знаю, что думали про себя мужики, но в тех случаях, когда «украінско війско» вело себя прилично, встречали в селах

даже приветливо и не одни только богатые хуторяне».

Одна из таких самостоятельных экспедиций очень мне запомнилась.

«Не избалованы были бедные хохлы властями и войсками революционного времени. Как-то раз приезжаю в одно большое село с пятнадцатью добровольцами и подводами для военного имущества… Часа через три все окончено. Собираемся. Перед моей хатой появляется кучка стариков. Подходят еще крестьяне. Хотят видеть начальника. Выхожу на крыльцо. Начинается, видимо, нечто торжественное. Мужики снимают шапки, откашливаются. Опять велю надеть. В чем дело? Оказывается, пришли благодарить… за то, что мы никого не выпороли и ничего не украли. Пришли, мол, большевики – пороли, петлюровцы – тоже, гайдамаки – это, видно, наша конная сотня – еще хуже, и вот только вы, господин офицер, никого не тронули. И паничи ваши хорошие. Общество постановило благодарить…

У меня мелькнула было мысль – не издеваются ли они, пользуясь тем, что нас мало. Ничего подобного. Самым серьезным образом благодарят. Одна пожилая баба еще долго рассуждала о преимуществах «буржуазной красной гвардии»?! (ведь надо же было выдумать!..) над большевиками».

Позже, особенно в 1919 г., я часто вспоминал этот случай. Думал о том, как, в сущности, просто обеспечить нейтралитет крестьянской массы и как мы плохо это понимаем. «Стоило привести для производства довольно щекотливой операции пятнадцать мальчиков с винтовками, которые никого не пороли шомполами, не лазили в скрыни, не ругались по матушке и по крайней мере часть мужиков уже довольна такой порядочной властью».

Так проходили летние месяцы восемнадцатого года. О некоторых чрезвычайных событиях расскажу в следующей главе. Эту закончу описанием того, как мы присягали на верность «Українській Державі і Ясновельможному Гетьманові».

Закон о присяге на верность украинскому государству был обнародован еще 30 мая. Не желавшим считать себя гражданами Украины представлялось право подать властям соответствующее заявление. Насколько я знаю, ни в Лубнах, ни в уезде ни одного отказа от гражданства не было. Впрочем, этот факт еще не дает права считать молчание знаком внутреннего согласия. Я лично знал людей, рассуждающих приблизительно так:

– Мы этой украинской лавочки знать не знаем. Пусть пишут, что хотят, – отвечать не будем. Немцы оккупировали южную Россию, набрали разных изменников и диктуют им законы. Какая там «Держава»…

Когда 20 июля был опубликован текст присяги и генерал Литовцев решил, что Куринь, как воинская часть, также должен ее принести, не желавшие присягать нашлись и у нас. Служить, мол, можно, а присягать – значит, отказываться от России. Должен сказать, что такого взгляда я не понимал ни прежде, ни теперь. Много спорил с братом – он тоже вместе с несколькими товарищами присягать Скоропадскому не хотел. В конце концов генерал Литовцев решил, очевидно, не обострять вопроса и не исключать из Куриня упорных «русофилов». Сказавшихся больными и не явившихся на общую присягу вторично к ней не приводили. Церемония состоялась в последних числах июля. Куринь построился развернутым фронтом на плацу между казармами. На правом фланге стояли чины штаба в парадных темно-зеленых не то черкесках, не то жупанах, изобретенных в Лубнах специально для депутации, ездившей поздравлять гетмана с избранием. Эффектные одеяния, смахивавшие, правда, на театральные костюмы, тогда очень понравились Скоропадскому и его приближенным. К высокой фигуре генерала Литовцева очень шел этот жупан с приколотым к нему Георгиевским крестом и звездой, кажется, Анненской, которую он надевал в торжественных случаях. Вот только папаха с желтым шлыком и золотым «дармовисом» плохо гармонировала с его очень петербургско-немецким лицом[227] и золотым пенсне. Наоборот, ротмистр Белецкий – широкоплечий, рыжеусый – смело мог сойти за малороссийского старшину былых времен.

Остальные офицеры были большей частью в кителях при орденах – у кого, конечно, они сохранились. В общем, картина получилась живописная и пестрая. Пришло посмотреть много горожан – родственников и знакомых чинов Куриня. Присутствовал и президиум местного отдела партии хлеборобов-демократов с С. Шеметом во главе.

Священник, сильно запинаясь, читал украинский текст присяги: «Обещаю й присягаю Всемогущим Богом і святим Евангеліэм, шо буду служити, не жалточи свого життя, вірно і шіро аж до останньош краплі крови Україньскій Державі і Ясновельможному Гетьманові…»[228] После каждой фразы на плацу нестройный гул повто Третий раз в жизни присягал. Впервые – царю в манеже Михайловского училища, потом весной семнадцатого на высоте 1526 в лесистых Карпатах – Временному правительству и вот теперь пришлось еще раз – во дворе лубенских казарм Державе Украинской и гетману ее. После Денисовки слова «не жаліючи свого життя»[229] повторял с некоторым правом, но все-таки на душе был разлад.

По окончании молебна говорил Шемет о гетмане, о

козачестве, но больше всего об украинской самостийности. Мы слушали с тоскливым чувством. Так надо, но неприятно, что нельзя иначе…

Глава XVII

В предыдущих главах моей работы я нередко упоминал о германцах и привел ряд фактов, относящихся к их пребыванию на Украине в 1918 г. Необходимо, однако, помнить, что немцы были в то время основным фактором, определявшим весь ход событий на юге России (я имею в виду не только украинские губернии). Даже Добровольческая армия, при всей своей враждебности к центральным державам, по существу, могла вести борьбу только потому, что ее глубокий тыл был обеспечен армейской группой Эйхгорна и австрийскими оккупационными частями. Все почти снаряжение и значительная часть пополнения притекали на Дон и на Кубань именно с Украины, где большевизм был, к несчастью, лишь на время ликвидирован и установился относительно прочный государственный порядок.

Мне кажется поэтому необходимым более подробно изложить свои воспоминания, относящиеся к германцам, тем более что я имел возможность наблюдать жизнь некоторых германских воинских частей гораздо ближе, чем большинство русских офицеров, живших в то время на юге.

Лубенский германский гарнизон был, как я уже отмечал, невелик. Рота (позднее две пехоты), легкая гаубичная батарея и конский запас. В конце мая или в начале июня прибыл с французского фронта первый драгунский императора Франца-Иосифа полк. Два эскадрона и пулеметная команда расположились в подгородних селах. Все германские части подчинялись коменданту – пехотному майору, обосновавшемуся в Лубнах.

Очень интересно было говорить с офицерами, приезжавшими впервые на Украину из оккупированных французских и бельгийских областей. Общее впечатление мы определяли, конечно в своей среде, кратко:

– Как святые…

– Эта публика с луны свалилась…

Когда драгуны императора и короля Франца-Иосифа прямо из Шампани прибыли в село Засулье и разошлись по квартирам, германский комендант обратился с просьбой к генералу Литовцеву послать туда офицера, говорящего по-немецки, который мог бы дать нужные справки. Атаман Куриня приказал съездить мне. Предупредил, что офицеры-драгуны еще совсем не знают здешней обстановки. Кроме того, они не привыкли видеть офицеров без погон, и лучше, если я поеду в Засулье в русской форме.

Я так и сделал. Дал портному нашить на френче (кстати сказать, это одеяние в то время еще было известно под именем английской куртки) золотые погоны I Финляндского горного артиллерийского дивизиона, водрузил на свое место снятую после большевицкой революции офицерскую кокарду. В качестве ординарца со мной поехал кадет Владимир Мосолов, тоже в погонах русского вольноопределяющегося.

Старая форма в сочетании с украинским флагом не противоречила той линии, которую я все время вел, – считал себя русским офицером украинской службы. Все-таки когда увидел себя в зеркале – все старое при совсем новом положении вещей, появилось какое-то чувство неловкости. Не то контрабанда, не то маскарад. Финляндского дивизиона ведь не существует. Кроме того, чувствовалось, что мои золотые погоны, хотя крепко пришиты, но все-таки плохо держатся на плечах. После гетманского переворота некоторое время с погонами вообще была неопределенность. В Лубнах германцы, не вмешиваясь в наши распорядки, все-таки выражали недоумение по поводу того, что офицеры ходят без всяких внешних знаков своего звания («петлюровской» формы никто носить не хотел, новой не вводили, русской в большинстве случаев не решались надевать во избежание осложнений). В Киеве погоны стали появляться все чаще и чаще. «Настоящие» украинцы заволновались, и 15 июня киевский комендант издал приказ, в котором разъяснялось, что русскую форму имеют право носить только чины посольства Всевеликого войска Донского. У нас, в Лубнах, германские власти ничего не имели против старой формы. Когда я явился в новом или, вернее, в прежнем виде в офицерское собрание гаубичной батареи, меня встретили очень приветливо. Даже поздравляли. Само собой разумеется, «щирые» украинцы относились к «русофильству» крайне враждебно, но никаких открытых выпадов не было. Боялись фактических хозяев в касках со штыками-кинжалами.

Впрочем, когда началось сближение Куриня с партией хлеборобов-демократов, генерал Литовцев предупредил меня; что больше русской формы носить нельзя (сам он ее не надевал). Неприемлемо для Шемета и других руководителей партии. На этот раз погон не спорол. Повесил френч в шкаф, а затем, когда записался в Южную армию, нашил на рукав шеврон и ходил в таком виде уже на законном основании. К этому времени официальное отношение к русской форме изменилось. В конце июня была, наконец, введена новая украинская форма. Мы все, офицеры Куриня, надели очень изящные круглые кокарды с лазоревой эмалью и золотым плетеным трезубцем, который

почему-то почитался гербом Владимира Святого[230]. Гетманские погоны были двоякого типа – парадные на манер германских из серебряного жгута, и походные – из зеленой материи с соответствующего цвета просветами и кантами. Звездочки полагались типа принятого в болгарской армии – в виде вытянутых выпуклых ромбов. Таким образом, вопрос о погонах был разрешен, хотя и не так, как хотелось очень многим офицерам, состоявшим на украинской службе, но все-таки беспогонное состояние окончательно прекратилось[231].

Возвращаюсь к своей поездке в Засулье. Мне уже не раз приходилось говорить о воспитанности и корректности германских офицеров по отношению к своим бывшим врагам. Готов сознаться, что «воспитанности» и «корректности» я не склонен придавать, может быть, большее значение, чем эти качества заслуживают. В этом отношении меня «заела среда», в которой я вырос. Мне всегда было трудно справляться с неприязненным чувством по отношению к добрейшей души человеку, который режет котлеты ножом. Вероятно, известная доля моего уважения к германцам должна быть отнесена именно за счет того, что я видел в них людей, безукоризненно и притом во всех случаях жизни выполняющих тот комплекс условностей, который принято называть воспитанностью[232].

Сделав эту оговорку, все-таки скажу, что в Засулье я попал в общество «perfect gentlemen» (истинный джентльмен. – *англ.*). Меня очень приветливо встретил пожилой подполковник, если память не обманывает, помощник командира полка. Познакомил со своими офицерами. С ними же помещался высоченного роста, совсем еще юный вольноопределяющийся, который потом, встречаясь со мной, мгновенно обращался в соляной столб с приросшими к бедрам ладонями.

Начали с делового разговора. Подполковник извиняющимся тоном заявил, что он только что прибыл в страну и незнаком с украинскими законами. Имеет ли он право приказать старосте доставить за плату нужные для эскадрона продукты?

Я говорил с пожилым почтенным штаб-офицером, и это помогло мне остаться совершенно серьезным. Будь на его месте корнет, пожалуй бы, не выдержал и рассмеялся. Сразу представил себе: из Шампани, оккупированной вражеской территории, приехали в «союзную страну» и не хотят на первых же шагах наделать неловкостей. Заверил подполковника, что по украинским законам он имеет право потребовать доставки продуктов, а я со своей стороны готов перевести все, что нужно, старосте.

Потом мне предложили «ein Glas Moselwein». Сидели в чистой

прохладной хате, пили хорошее вино и говорили о чем пришлось. Я сразу почувствовал, что попал в крепко спаянную полковую семью. Чувствовалось только, что у германцев при всей сердечности отношений меньше, чем у нас, разграничивается служебная и частная жизнь. В русском кавалерийском полку все были между собой на «ты». Здесь не только штаб-офицеров, но и всех старших молодежь называла по чинам. Тем не менее беседовали просто и дружно, без всякой аффектации дисциплинированности. Просто другие, непривычные для нас формы воинской жизни. Русскому они были бы, вероятно, стеснительны именно благодаря непривычности, у германцев эти формы, видимо, вошли в плоть и кровь.

Очень мне понравилось отношение к вольноопределяющемуся. Этот отлично дисциплинированный юноша, видимо, считался членом офицерской семьи. Участвовал в общем разговоре, за столом сидел с лейтенантами. Меня почтительно спросил:

– Господин обер-лейтенант, вы говорите только по-украински или умеете говорить и по-русски?

Опять я едва не рассмеялся. Как мог серьезно, объяснил, что в России раньше все офицеры должны были знать русский язык. Совсем как в Англии или во Франции. Об украинском вообще умолчал. Впрочем, мне уже вторично пришлось услышать от германца тот же вопрос. Впервые меня спросил, умею ли я говорить по-русски, один унтер-офицер через несколько дней после взятия Лубен. Тот был в большом недоумении, когда услышал, что господин обер-лейтенант вообще по-украински не говорит.

В собрании кавалеристов бывали только офицеры и вольноопределяющиеся «einjährige Freiwilligen». Артиллеристы гаубичной батареи приглашали к себе и унтер-офицеров, по крайней мере, некоторых. Я встречал их там всякий раз, как бывал в гостях у гаубичников. Очень культурный, относительно молодой фельдфебель обычно участвовал и в ужинах, которые от времени до времени устраивались то германскими, то куринными артиллеристами в ресторане «Давида». Насколько был распространен в военное время в германской армии обычай приглашать заслуженных унтер-офицеров в офицерскую среду, я не знаю. В мирное время в офицерские «казино» они не допускались, но имели свои собрания. Во всяком случае, в Лубнах я не раз одновременно сидел за столом с ними и с драгунскими офицерами, гостями артиллеристов. Фельдфебель и унтер-офицер держали себя прекрасно. По правде сказать, мне было обидно сознавать, что по своему культурному уровню, да и по

профессиональным знаниям они выше девяноста процентов наших пехотных прапорщиков военного времени. С другой стороны, в отношении к ним офицеров не чувствовалось и тени высокомерия. Видимо, в приглашении унтер-офицеров в «казино» никто не видел для себя обиды.

Когда теперь я читаю «Im Westen nichts Neues» («На западном фронте без перемен») и другие книги этого типа, не могу узнать той германской армии, нравы которой я наблюдал изо дня в день. Основное впечатление было – строжайшая дисциплина, возможная, кстати сказать, только в культурной среде, и полное уважение к человеку-воину. Смотря на этих людей и их взаимоотношения, я не раз с горечью думал: «Звание солдата высоко и почетно, да только не у нас…»

Вскоре после прибытия драгун Франца-Иосифа Куринь устроил в здании гимназии танцевальный вечер – единственный за все наше существование. Ходили слухи, что местные большевики собираются сделать нападение на «танцующую буржуазию». Слух был довольно маловероятный – после Денисовки Куриня боялись, да и немцы ведь не остались бы зрителями. Все-таки на всякий случай мы приняли меры. В вестибюле трое хорошо одетых козаков сидели за столом, на котором стояло нечто покрытое шелковой материей, убранной букетиками цветов. Кругом грудами лежала сирень. Козаки проверяли билеты, а под цветами был спрятан готовый к открытию огня пулемет. Кроме того, наготове был сильный караул, вооруженный винтовками и ручными гранатами. Каждый час охранители сменялись. Отдежурившие шли танцевать. Как и следовало ожидать, никакой попытки нападения сделано не было.

Танцевальный зал выглядел непривычно. За киосками, очень хорошо сделанными под руководством матери кадета Мосолова, «дамы общества». Много помещиц, приехавших с дочерьми из ближайших сел, весь уездный «свет» – надо сказать, довольно элегантный и очень хорошо одетый. В Лубнах, наряду с типичными провинциалами, жило, особенно в то время, немало людей настоящего общества. Во всяком случае, этого старинного украинского города по всему его облику нельзя сравнить, например, с Серпуховым – единственным великорусским уездным городом, который я довольно хорошо знаю. Мосолова, Волконская, Милорадович, Штакельберг – эти напоминали о временах, когда лубенская жительница, семнадцатилетняя жена генерала Керна, уговаривала императора Александра I приехать взглянуть на ее любимый город. Но вперемежку с ними – парадные свитки бородатых хлеборобов, отцов наших козаков. Крестьяне, надо сказать, очень хорошо держали себя на вечере.

Осторожно пожимали хрупкие руки барынь. Чокались с офицерами, выпивали солидно и в меру. Сыновья их, те, что побойчее, даже прикладывались к ручкам и вальсировали с барышнями, стараясь не отдавить ног тяжелыми сапогами. Остальные стояли по стенам и, видимо, с большим интересом наблюдали, как все это у господ делается.

Довольно много было девушек в украинских костюмах с лентами и цветами – гимназисток и сельских учительниц. Сестры наших козаков-селян прийти все-таки не решились.

Германские офицеры явились почти все. В парадных походных мундирах, многие с железными крестами, отлично выправленные, сдержанные, они были очень эффектны. Отдельным выводком в нескольких экипажах приехала драгунская молодежь. Потом появились и старшие. Лейтенанты ухаживали за гимназистками. Все шло по-хорошему. Только с языком трудно было – средне-школьных познаний не хватало. Впрочем, девочки, храбро перевирая спряжения и склонения, все-таки кое-как сговаривались. Учительницам с монистами и лентами приходилось тяжелее – вокруг них особенно толпились серые мундиры, а разговаривать приходилось через переводчика. Как всегда на русско-иностранных вечерах большим успехом пользовалась водка, и, конечно, несмотря на наши уговоры, германцы пили ее без закуски.

После полуночи ко мне подошел один из моих телефонистов, гимназист седьмого класса и немножко смущенно попросил ему помочь. Какой-то лейтенант его обнимает, что-то от него хочет, твердит – Herr Kamerad… а в чем дело – непонятно. Вроде того, что пьян. У меня мелькнула в памяти фамилия графа Эйленбурга. Подошел к корнету и очень сухо спросил, что ему угодно.

– Господин обер-лейтенант, прикажите господину товарищу меня спрятать…

Мне сразу стало смешно. Бедняга офицер, почти ровесник гимназиста, опять его обнял. Не мог стоять на ногах.

– Господин обер-лейтенант… я вас умоляю, прикажите меня спрятать… я выпил… водка ужасна… начальство может увидеть…

У него на самом деле были умоляющие глаза. Повели наверх по задней лестнице. Гимназист предложил уложить в шинельной. До утра туда никто не придет. Отоспится. Уложили на ворох пальто. Расстегнули мундир. Корнет все время повторял:

– Спасибо, господин обер-лейтенант, спасибо, господин товарищ…

На прощание еще попросил запереть дверь на ключ. Ему все время чудился полковник. Ключ я положил себе в карман, а с гимназиста взял слово, что он мне напомнит о запертом немце.

Всякое бывает. Гетманская водка с трезубцем Владимира Святого действует не только на германцев. Все, впрочем, обошлось благополучно. Когда полковник собрался уезжать, я самолично освободил заключенного. Он сначала не мог понять, как, что и почему, но сознание быстро вернулось. Был очень бледен. На ногах уже держался вполне твердо.

Наши отношения с германцами, с самого начала хорошие, постепенно приобретали дружеский характер. Постоянные совместные путешествия по уезду и частые встречи в городе сближали с ними в особенности тех, кто говорил по-немецки. Лично я, порядком забыв разговорный язык во время Великой войны, быстро его вспомнил благодаря постоянной практике и к концу лета говорил вполне бегло. Это, конечно, очень мне помогало ближе знакомиться с настроениями германских офицеров и их взглядами на вещи. Была одна область, которой мы не касались совершенно – операции на Западном фронте. О всем остальном и, в частности, о положении на Украине, говорили откровенно. С самого же начала меня поразила легкость, с которой германцы, не зная языка (в Лубнах никто из офицеров и унтер-офицеров не говорил и не понимал по-русски), ориентировались в местных делах. Правда, к их услугам были многочисленные явные и тайные информаторы, данные разведки Куриня и хлеборобских организаций[233], но все-таки тут, мне кажется, сказывалась и та, несомненно, присущая немцам способность быстро ориентироваться в жизни других народов, благодаря которой они так легко захватывают торговые рынки. Через месяц-другой жизни в Лубнах немецкие офицеры не только отлично разбирались в общем политическом положении на Украине (в этом им, вероятно, помогали недоступные для наших глаз секретные сводки), но, что важнее, отдавали себе ясный отчет во взаимоотношениях местных партий, удельном весе руководителей, настроении различных групп населения и т. д. «Клюква», вроде знания или незнания русского языка русскими офицерами, очень быстро исчезла из наших разговоров.

Впоследствии мне приходилось говорить с очень интеллигентными французами, прожившими по несколько лет в России и наблюдавшими революцию. Несмотря на все мое франкофильство, должен сказать, что, за очень редкими исключениями, они разбирались в русских много хуже, чем лубенские лейтенанты и обер-лейтенанты после нескольких месяцев пребывания на Украине. Как общее правило[234], средние немецкие офицеры (особенно бывшие на Восточном фронте) приезжали на Украину с крайне преувеличенным представлением о силе сепаратистских устремлений. Многие были убеждены в

том, что на юге разговорным языком всей вообще интеллигенции является украинский. Они были склонны сравнивать украинскую проблему с польской – коротко говоря, смотрели на Украину глазами самостийников. У некоторых чувствовалось нечто вроде симпатии к угнетенному русским владычеством народу. Насколько мы могли судить в Лубнах, и киевское германское командование первоначально относилось к Украине гораздо более «всерьез», чем впоследствии. Постепенно, однако, стала чувствоваться перемена взглядов и в центре и на местах. Отлично осведомленные германцы не могли не знать и не видеть, что гетманский переворот произвели «русофилы» и просто русские. В Лубнах мы тоже наблюдали, как наряду с официальной поддержкой самостийности, отношение к ней становилось все менее и менее серьезным и под конец моего пребывания в Лубнах (начало сентября) носило уже несколько иронический характер.

Германские офицеры, присмотревшись к местной жизни, поняли, что по крайней мере для большинства интеллигентных людей Украина – средство избавиться от большевиков, а не цель. У меня создалось впечатление, что в длительность отторжения юга от севера они верили не больше, чем мы. Как-то незадолго перед моим отъездом лейтенант Х. в артиллерийском офицерском собрании сказал мне в присутствии своего командира:

– После заключения мира Украина нам не нужна. Делайте с ней, что хотите…

Конечно, ни лейтенант Х., ни капитан Артопеус не авторитеты, но то, что я не раз слышал в «казино» уездного города, по всему судя, отражало и «столичные» настроения.

У меня создалось впечатление, что немалую, а может быть и решающую, роль в смысле перелома настроений германцев сыграло их общение с «русофилами». Я вовсе не хочу утверждать, что среди украинцев-самостийников не было вполне интеллигентных и культурных людей. Конечно, были, но, надо сказать правду, гораздо меньше, чем среди сторонников будущего единства России. Средний уровень украинцев-самостийников, по крайней мере 1918 г., все-таки деревенский полуинтеллигент. Нет никакого сомнения в том, что ни в центре, ни на местах левые самостийники не сумели внушить себе уважение со стороны немцев. Очень быстро их перестали принимать всерьез.

Остаются самостийники правые – гетманцы, в большинстве случаев по-настоящему культурные люди, типа министра иностранных дел Украинской Державы профессора Дорошенко, министра земледелия Леонтовича и др. К ним отношение было иное, но германцы не могли не видеть, что самостийники-

гетманцы очень немногочисленны. После переворота администрация, армия, полиция, все те отрасли государственной жизни, с которыми по преимуществу имели дело немцы, перешли в руки в большинстве случаев весьма почтенных местных людей, которые, однако, с самостийностью имели весьма мало общего. Я невольно вспоминаю нескольких видных «гетманцев», которых имею честь знать лично – б. министра юстиции сенатора С. В. Завадского, члена Государственного совета Н. П. Савицкого и др.

В Лубнах местные старшие представители гражданской и военной власти (повитой староста С. Н. Грачев и начальник дивизии генерал Александрович) относились совершенно лояльно к временно существующему строю, но немецкому коменданту, как и нам всем, было хорошо известно, что ни тот ни другой не в состоянии связать самой простой украинской фразы.

Насколько я слышал в соседних уездах, да и вообще по всей Украине, повторялось то же самое – немцы, благодаря общению с более культурным русским обществом, усваивали взгляды тех русских кругов, которые принимали Украину в качестве временного состояния.

Нечего и говорить о том, что к большевизму германские офицеры (с солдатами я лично, по понятным причинам, избегал говорить на политические темы) относились с самой подлинной ненавистью. Впрочем, раз я имел случай убедиться в том, что большевицкие жестокости вызывали отвращение и у солдат. Надо еще заметить, что и те и другие все-таки до конца не могли понять русской действительности – приходится снова сделать оговорку – по крайней мере тогда, во времена императорской Германии.

Очень запомнился один вечер в Оржицкой волости. Солнце заходит. Дымятся развалины сожженного местными большевиками хутора. Обгорелые трупы скотины. Изломанные сеялки, жатки, конные грабли. Кругом германские драгуны, артиллеристы, наши куренные добровольцы. Хозяин – пожилой мужик – всхлипывает:

– Ваше благородие… всю жизнь работал… за что… вот смотрите, и матку сожгли, не дали выпустить…

Страшно вздутый обуглившийся труп жеребой кобылы. Рассказывает, как лошадь отчаянно ржала в огне. У кадета Мосолова бегут по щекам частые слезы. Еще один берется за платок. Сам чувствую, что мне начинает сдавливать горло. Странное дело, эта сожженная лошадь страшней человеческих трупов. Среди немецких солдат хмурый ропот. Ко мне подъезжает лейтенант Х. Лицо взволнованное и злое.

– Обер-лейтенант Раевский, наши люди хотят знать, что это

значит. Я в здешнем варварстве ничего не понимаю… Объясните им.

Драгуны и артиллеристы окружают меня. Вижу по лицам, что и германских мужиков взяло за живое.

– Soldaten… – Хотел было сказать – вот социализм на практике, но подумал – процентов тридцать социал-демократов… Нельзя.

– Солдаты, вот большевизм на практике. Видите сами, что получается… Это надо искоренить во что бы то ни стало.

– Господин обер-лейтенант, что сделал этот крестьянин?

– Ничего. Работал целую жизнь и стал богаче тех, которые его сожгли.

– Поручик Раевский! Остановите их… Скорее…

В версте от нас туча пыли. Кто там – не видно. Шестеро моих артиллеристов с шашками наголо несутся по полю. Самовольная атака. Не выдержали… Даю Мэри шпоры. Карьером догоняю скачущих, Шашкой велю перейти в шаг. Собираю. Перекошенные лица. У Мосолова распухшие от слез глаза. Мы оторвались от своих на полверсты. К счастью – не конница. Всего-навсего стадо. Драгуны Франца-Иосифа рысят нам на помощь. От них видна туча зажженной солнцем пыли, надвигающаяся на семерых всадников.

Я выбранил своих за глупую атаку. Не имели права сами. Будь там на самом деле вражеская конница, все бы погибли. Все это так, но они все еще не могут прийти в себя после хутора. Увидели и бросились вшестером рубить.

В этот вечер я, как никогда, сильно чувствовал моральную оправданность того, что мы делаем. Самостийность, германцы, желто-голубое знамя – все в конце концов пустяки. Самое главное, какой угодно ценой и, ни перед чем не останавливаясь, спасти Южную Россию от большевизма. Все остальное поправимо. Раз немцы здесь, надо действовать с немцами.

Не раз долго и откровенно говорил я с капитаном Артопеусом (его летом произвели в этот чин). Ни я, ни он друг друга не обманывали. Цели у нас пока разные, но враг сейчас общий. Однажды я рассказал капитану о Делагарди и Скопине-Шуйском – не для сравнения, понятно. Кандидатом в психиатрическую лечебницу я не был. Просто мне казалось, что в настроениях русских людей того времени, бившихся против «воров» бок о бок с пришельцами-шведами, должно было быть что-то общее с нашими переживаниями во время украинско-германских экспедиций.

Перейду теперь к отношению или, вернее, к обращению германских войск с крестьянами. В этом отношении существует

не только большевистский, но, насколько я мог наблюдать и слышать, добровольческий[235] трафарет. Сожжение целых сел, расстрелы, реквизиции, грабежи, насилование женщин… Когда при мне говорили о всем этом, я неизменно спрашивал:

– Где, кто, когда?

В отношении германцев конкретных данных мне так и не пришлось услышать (австрийские войска, по-видимому, в отдельных случаях допускали беззакония и не оправдываемые военной необходимостью деяния). Защищать честь германской армии совсем не входит в мою задачу. Отрицать те безобразные жестокости, которые немецкие войска творили, например, в Сербии, я не могу, да и не собираюсь. Пишу просто, как «свидетель истории» и как таковой по совести должен сказать – в Лубенском уезде немецкие части вели себя превосходно. Я видел их изо дня в день, наблюдал во время походов, на ночлегах, в казарменной обстановке. Не раз говорил о германцах с крестьянами – и в восемнадцатом году и позже, при добровольцах, когда о каком-нибудь подлаживании не могло быть и речи. В начале 1920 г. в Донской области один пожилой мужик на мою просьбу сказать совершенно откровенно, какая из менявшихся властей, по его мнению, лучше всех себя вела, ответил кратко:

– Немцы[236].

Как ни обидно для самолюбия, но я лично считаю, что этот крестьянин прав.

В Лубенском уезде по крайней мере деревенское население менее всего терпело от германских войск. Ни одного случая грабежа мне неизвестно. За реквизируемые продукты и фураж немцы платили по казенной таксе, которая для того времени не явилась слишком низкой. Нечего и говорить о том, что самочинных расстрелов и порки и в помине не было. Отличная дисциплина германских частей в особенности чувствовалась во время стоянок по деревням, где, вообще говоря, люди значительно легче распускаются, чем при казарменном расположении.

С повстанцами германцы дрались и, так же как и мы, рассматривали захваченных с оружием в руках не как воюющую сторону, а как мятежников, надлежащих преданию военно-полевому суду. В Лубенском уезде с повстанцами, оказавшими упорное вооруженное сопротивление, мы столкнулись только однажды в Денисовке. На село германцами была наложена контрибуция, и несколько человек расстреляно по суду. Ни одной хаты сожжено не было. Вообще мне известен лишь один случай[237], когда в качестве репрессии германцы (насколько я

знаю, по соглашению с генералом Литовцевым) применили разрушение жилища. После восстания в Денисовке и ряда разбойничьих нападений на хутора, произведенных людьми из банды или, если угодно, из отряда Дробницкого, решено было сжечь его усадьбу в селе Оржице. По просьбе крестьян, боявшихся, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения, им разрешили самим разрушить хату и надворные постройки. Часа через три на месте усадьбы осталась груда развалин. Корову Дробницкого и его шарабан передали нам в артиллерийский взвод.

Другой раз, по приказанию капитана Артопеуса, было конфисковано имущество крестьянина, оговоренного односельчанами, утверждавшими, что он состоит в разбойной банде. К вечеру мужик доказал свою невиновность, был освобожден, а имущество было возвращено ему по описи. Я лично при этом присутствовал.

По отношению к Куриню, в особенности к нашей конной сотне, германцы неизменно служили сдерживающим началом. Большевиков они ненавидели, но вместе с тем для них были неприемлемы и «эксцессы». Однажды разъезд конной сотни обнаружил спрятавшегося в пшенице фронтовика. Раз прячется, значит – большевик – логика в восемнадцатом году была весьма упрощенная. Не слезая с коней, начали хлестать нагайками. Сзади себя я услышал тихий механический треск. Обернулся. Щелкали затворы фотографических аппаратов, вытащенных немецкими офицерами и унтер-офицерами. Снимали «бытовую сцену». Нам стало неловко. Генерал распорядился, чтобы больше при немцах пороть не смели.

В Курине рассказывали, что немецкие солдаты вообще крайне недовольны нашими методами. Германский комендант будто бы в конфиденциальном порядке просил генерала Литовцева считаться с тем, что на Западе так не принято. Верно ли это – не знаю, но судя по тому, что я наблюдал и слышал во время наших совместных экспедиций, похоже на правду.

В середине июля во время экспедиции, отправленной для разоружения очередной группы сел, произошел гораздо более серьезный инцидент. Командовал отрядом Артопеус. От Куриня был наряжен наш артиллерийский взвод и конная сотня. Когда мы, офицеры, собрались обедать, вошел взволнованный лейтенант Х. Против обыкновения, он грубо заявил мне:

– Ваши козаки – бандиты… Их вешать нужно…

Оказалось, вольноопределяющийся конной сотни, о котором я упоминал в главе VIII в связи с его разбойными деяниями в гордиенковском полку, был послан в разъезд и, вместо розысков

большевиков, ограбил и убил крестьянина – сборщика податей. Артопеус распорядился арестовать весь разъезд, а вольноопределяющегося немедленно отправить под конвоем в Лубны для предания германскому суду. Меня начальник отряда попросил сказать по совести, что я думаю об арестованных и можно ли их освободить, так как доказательств соучастия нет. Дал мне список. За некоторых я готов был поручиться, что на убийство они не способны, другие сомнительные… Сказал все-таки, что, по-моему, следует их всех отпустить. Что касается вольноопределяющегося, то чем скорее его повесят, тем лучше. Это мое личное мнение. Думаю, что и другие офицеры Куриня думают то же самое.

Я считал и считаю, что есть положения, когда жестокость не только необходима, но и обязательна[238].

Возвращались мы в тот вечер молча. И германские офицеры, и я одинаково смотрели на вещи, но все-таки и мне и им было не по себе. Козак Куриня, и притом интеллигентный человек, оказался грабителем и убийцей.

Этот печальный случай имел неожиданные последствия лично для меня. Германцы заявили, что впредь будут брать конную сотню в экспедиции только при том условии, что в это время их сотня будет подчинена обер-лейтенанту Раевскому. Так, по крайней мере, мне сказал генерал Литовцев.

Мое служебное положение становилось все более и более путаным. Считаюсь старшим офицером батареи. В то же самое время на походе я командующий конной сотней. Дело, правда, облегчалось тем, что в это время мой командир, поручик Овсиевский, взял отпуск и я официально его замещал.

Немецкий комендант организовывал более серьезные экспедиции по всем правилам германского устава[239]. Перед выступлением раздавался приказ. Один из них долго у меня хранился. Хорошо помню:

Rechte Kolonne
Oberleutnant Rajewsky
30 Ukrainische Reiter
2 Geschutze

Как я ни втянулся в сотрудничество с германцами, все-таки, прочтя этот листок, напечатанный на тонкой бумаге машинистом комендатуры, мне захотелось потянуть себя за волосы. Не во сне ли все это делается…

Я был далеко не уверен в том, что мне удастся удержать в руках наших буйных конников. Сотня в это время находилась в полном упадке. Ни одного кавалерийского офицера. Командует пехотный прапорщик. Конский состав сильно запущен – плохая

уборка, плохие тела. Я, правда, распоряжался только во время походов, но все-таки было неловко перед немцами. Больше всего боялся «эксцессов». Оказалось, значительно проще и легче, чем я думал. Стоило германцем предать одного негодяя своему суду, и люди стали шелковые. Слушались меня беспрекословно.

Знали, что кричать и ругаться не буду – терпеть этого не могу, но в случае чего преступника не покрою. При тех условиях, которые сложились к концу лета, оказалось вполне достаточно. Вероятно, помогало и то, что мне, постороннему в Лубнах человеку, легче было воздерживаться от «студенческих» способов командования, чем местным офицерам, связанным целой сетью всевозможных отношений со своими подчиненными.

Вскоре мне захотелось еще сильнее потянуть себя за волосы – украино-германский сон поручика-значкового – обер-лейтенанта Раевского становился все пестрее и необыкновеннее. Ввиду слабости конной сотни мне стали придавать в помощь драгун императора и короля Франца-Иосифа… Обыкновенно взвод под командой унтер-офицера. Первый раз германский командир эскадрона, решившись доверить мне своих людей, побоялся дать немецких кавалерийских коней в руки русского артиллериста. Под тем предлогом, что лошади утомлены, их оставили отдыхать, а «моих драгун» посадили на взятых на несколько часов крестьянских (по возвращении разъезда их сейчас же вернули мужикам). Должно быть, унтер-офицер доложил, что лошадей я берегу. По крайней мере, в дальнейшем пересаживание уже не практиковалось. Жаль, что у меня не было фотографического аппарата. В моей пестрой военной жизни, пожалуй, самые экзотические моменты. Разыскиваем повстанцев, будто бы разбежавшихся по полям. Так говорит хлеборобская разведка. Моя гнедая Мэри идет широким шагом, на ходу сгоняя мух с лоснящейся шеи. В нескольких шагах за мной двое – вахмистр конной сотни с желтым шлыком и немецкий унтер-офицер в каске. Дальше украино-германская лава. Черно-белые флюгера драгун Франца-Иосифа, шлыки, фуражки, пики, черкески.

Никаких повстанцев нет. Я оборачиваюсь к унтер-офицеру.

– Скомандуйте вашим людям собраться.

– Nach rechts sammeln! (Собраться направо! – *нем.*)

Сразу пыль, скачущие вороные кони. Потом песни по очереди, то наши – «Ой щожь то за шум учинився…», то драгуны – что-то унисонное о победах вообще и храбрости лихих германских кавалеристов.

Одна экспедиция в районе севера от села Лукомья, где Сула образует многоверстный лабиринт рукавов, заросших камышами, особенно мне запомнилась. По сведениям разведки, повстанцы

будто бы обосновались на совершенно не наблюдаемых с берега и труднодоступных островах. Нам предстояло отправиться туда и попытаться их захватить. Надо было действовать внезапно и быстро. Мне была дана задача незаметно подойти к селу и сразу захватить «плавучие средства», чтобы мужики не успели угнать. С большого привала сотня, конные разведчики, номера нашего взвода и обычный взвод драгун под моей командой выступили в умышленно неправильном направлении. Потом, отойдя от деревень, повернули на Лукомье и по проселкам на рысях пошли к селу. На всякий случай, чтобы не нарваться на засаду в сомкнутом строю, я версты за две до Лукомья развернул своих и германцев в лаву. Для большей внушительности впечатления скомандовал:

– Пики к бою, шашки вон!

Драгуны тоже изготовились. Поднимая тучи пыли, пошли галопом, отрезая село от берега. Испуганная скотина разбегалась, мужики поспешно снимали шапки. «Плавучие средства» оказались душегубками, каждая, самое большее, на двоих. Нашлась только одна большая исправная лодка-плоскодонка. Собственно говоря, следовало немедленно организовать речную экспедицию, но мне было велено только выставить караулы на берегу и ждать подхода артиллерии и пулеметов. Осмотр островов отлагался на утро. Переночевали, не торопясь позавтракали, отправились на берег. Никто из нас никогда еще в камышах не воевал. Расспросил мужиков, есть ли свободная вода перед островами или заросли до самого берега. Выходило так, что должно быть с полверсты открытого пространства. Германский ротмистр, командовавший отрядом, поручил речной поиск мне. На этот раз дали в помощь человек тридцать драгун. Всего со своими около девяноста «штыков и сабель».

Был жаркий летний день. Над камышами вились голубые сверкающие стрекозы. Недовольные драгуны рассаживались по душегубкам. Совсем не кавалерийское дело болтаться по камышам. Мне было забавно. Всякие вещи случались, но флотилиями еще не командовал. Тоже немножко мальчишеское настроение было у пожилого уже толстого человека о спортивном костюме с огромным парабеллумом через плечо, который «шел» вместе со мной на первой большой лодке, поветовый староста Грачев даже взял с собой сына – юношу лет семнадцати, в противоположность отцу – худощавого и стройного. Молодой человек, тоже в спортивном костюме, неумело сжимал между колен приклад карабина. На руле сидел германский унтер-офицер. Двое мужиков гребли. На корме, чуть не касаясь воды, висел большой украинский флаг. Около сотни душегубок – на

каждой мужик и солдат – вытянулось за нами в «кильватерную колонну». Начались камыши. Окружили нас со всех сторон. Канал сужался. С шумом срывались потревоженные дикие утки. Староста, отстегнув кобуру парабеллума, курил и болтал. У меня настроение падало. Мы в лабиринте. Видим пять-шесть ближайших душегубок, дальше зеленые стены. Канал превратился в коридор сажени в три шириной. Гребцы положили весла, взялись за шесты. Хорошо, если повстанцев нет. Если есть, могут перебить нас, как мышей в мышеловке. Ни вправо, ни влево. Самолюбие не позволяет повернуть мой «флот» обратно. Влипнем, значит, судьба. Впереди, над камышами, деревья. Остров. Никакой свободной воды нет. Ну, будь, что будет… Снимаю карабин. Староста, глядя на меня, вытягивает парабеллум. Немец невозмутимо поглядывает на приближающийся остров. Мне приходит в голову сцена из Майн-Рида. Только чем все это кончится…

Кончилось беспрепятственной высадкой на твердую землю. Густая трава. Стаи уток над головами. Девяносто человек с винтовками наготове идут цепью. Обнаружено: семь или восемь недоумевающих коров, переправленных сюда на все лето, и двое мальчишек-пастухов, гревшихся в голом виде на солнце. Рассказали, что какие-то с винтовками были тут дня четыре назад, но уехали… Хлеборобская разведка опоздала.

Возвращались весело и шумно. Украинская флотилия все-таки открыла огонь из винтовок по диким уткам. Выстрелы трещали по всей линии. Драгуны, дисциплинированные солдаты, с любопытством смотрели – попадут или не попадут, но сами не стреляли. Оказывается, на берегу за нас волновались. Германские офицеры-кавалеристы тщетно искали пункт, с которого было бы видно сражение в камышах. Мы, очевидно, столкнулись с повстанцами. Помочь ничем нельзя. На много верст сизо-зеленые заросли, а огонь все ближе и ближе. Значит, флотилия отступает… Когда узнали, в чем дело, сначала рассердились, потом самим стало смешно. Вечером, по случаю сражения с коровами и дикими утками, долго пили мозельвейн и шнапс.

– Prosit!.. Prosit!.. Да здравствует драгунский императора Франца-Иосифа полк!.. за украинскую конницу… за украинских добровольцев…

– Silentium!.. Meine Herren! (Прошу Тишины!.. Господа. – *нем.*) Я знаю, чего хотят так называемые украинские добровольцы… За будущую Россию[240]…

…Prosit!

Не все походы заканчивались так благополучно. Думаю, что уже из описания опереточной экспедиции на острова Сулы

читателю, знакомому с военным делом, ясно, что немцы при всей их огромной опытности, систематичности и других положительных военных качествах, не умели вести «малой войны». Может быть, в других уездах было иначе, но в отношении Лубенского гарнизона я готов это утверждать самым категорическим образом. Должен оговориться, что после тревожной весны, лето и ранняя осень прошли, собственно говоря, спокойно. Раз только на территорию уезда проник крупный повстанческий отряд из Черниговской губернии. О нем речь впереди. Мы постоянно колесили по уезду, но все сводилось к систематическому разоружению сел и демонстрации «вооруженных сил» в неспокойных по своим настроениям районах. Чины Куриня в форме свободно ездили к себе в деревни в отпуск. Ни одного случая нападения на них не было. Враждебная нам часть населения отлично знала, что не позже чем через сутки после убийства кого-нибудь из наших людей мы придем с пушками. Нечего и говорить о том, что на германцев никто нападать не решался. Надо сказать правду – в Полтавской губернии крестьяне не только боялись, но и уважали немцев. Германские корпуса всем казались такой силой, бороться с которой совершенно невозможно. Внутриселянская война сказывалась главным образом в нападениях, довольно, впрочем, редких, на хуторян и еще реже – на помещичьи имения. Чаще случалось, что то там, то здесь на территории уезда замечали вооруженную группу, которая больше пряталась от властей, чем нападала. Давали знать в город. Германский комендант телефонировал в Куринь. Собиралось совещание. Писали приказ. На следующий день выступали. Неизменно брали с собой артиллерию. Тяжелые колонны шли только шагом – германцы берегли лошадей. В результате мы неизменно опаздывали. Повстанцы успевали скрыться.

Я систематически тренировал орудийных лошадей для переходов переменным аллюром на большие расстояния. Думалось, что немецкий комендант наконец поймет, что для преследования легкоподвижных шаек нужны маленькие быстро передвигающиеся, но сильно вооруженные отряды, которые были бы способны гнаться за повстанцами по пятам. Многое могла бы сделать авиация. Тактика, однако, оставалась прежней. Некоторые офицеры Куриня порой даже сомневались в том, желают ли немцы вообще всерьез бороться с повстанцами или по каким-то неизвестным нам соображениям предпочитают только обозначать борьбу. Проработав с германцами бок о бок несколько месяцев, я уверен, что желание было, но не было умения. Прекрасно обученные для полевой и позиционной войны части

совершенно не умели вести типичной «малой войны». Советы вежливо выслушивались, но им не следовали.

Иногда задумывались довольно сложные операции, причем наши «вооруженные силы» делились на несколько колонн. Отряды передвигались точно по диспозиции, подходили к назначенным пунктам буквально минута в минуту. Результат получался прежний, люди, которым в случае поимки грозил расстрел, не хотели ждать, пока мы закончим наши марш-маневры.

Одна наша экспедиция закончилась хуже, чем безрезультатно. Вероятно, если даже архив лубенской германской комендатуры сохранился, там о ней не найти никаких данных кроме оперативного приказа. О таких вещах, когда возможно, тщательно умалчивают.

На село, где, по сведениям хлеборобов, сосредоточились повстанцы, было нацелено три колонны, которые должны были охватить его полукругом[241]. Точно в назначенный час мы подошли к заранее указанному перекрестку дорог. Оставалась верста до первых хат. Противника не было. На всякий случай послали разъезд – наших разведчиков-артиллеристов. Все офицеры отряда – германцы и наши – ехали впереди. Как сейчас помню, я говорил с капитаном Артопеусом об окраске нервных клеток насекомых метиленовой синью по методу Догеля. Совершенно неожиданно над нашими головами густо полетели пули. Откуда-то из-за села стреляли ровными, выдержанными залпами. Надо сказать, никто не растерялся. Артопеус со своими офицерами карьером бросился к гаубицам. Комендант, не повышая голоса, сказал мне:

– Herr Oberleutnant, bitte Feuer! (Господин обер-лейтенант, открывайте огонь! – *нем.*)

Залп, пули, залп, пули… Возьмут ниже – перебьют. Второй выезд на позицию в боевой обстановке. На этот раз я спокоен за своих – не то что под Денисовкой. Командую шашкой. Четыре запряжки, держа равнение, скачут галопом.

– Налево кругом… стой… с передков!

Отстали от немцев на несколько секунд. Низкое баханье гаубиц и почти сразу режущие удары моих пушек. Хоть недаром учил… Бьем по деревне гранатами беглым огнем. Пыль, черные столбы разрывов, фонтаны щепок. Когда противник в одной версте, о гуманности думать не приходится. Только бы наших не перебили.

– Господин поручик, кавалерия драпает!

За селом по лугу во все стороны несутся всадники. Командую шрапнель.

– Два патрона, беглый огонь! Два патрона, беглый огонь!..

Над лугом белые, брызжущие пулями комки. Молодчина юнкер Войцеховский… Руки так и бегают по рукояткам. Павлович тоже старается. Мы стреляем с предельной для полевых пушек скоростью. Я чувствую себя именинником.

С наблюдательного пункта майора полным карьером несется драгун. Машет пикой в сторону пушек. Гаубицы замолчали. Что такое…

– Стой. Вынь патрон!

Не дошло до сознания. Пушки еще раз выбросили желтые языки. Козак-поляк Д. вкладывает новый патрон. Хватаю Войцеховского за плечо.

– Стойте! – У германского драгуна смущенная физиономия.

– Unsere…

Вот это называется… иду к майору. У него лицо апоплексически красное. Отводит меня в сторону.

– Я прошу Вас, как офицер офицера… Не рассказывайте в Лубнах об этом скандале. Это дискредитирует германские войска…

Впрочем, комендант был невиновен. Всякий офицер на его месте приказал бы открыть огонь. Рассуждать было поздно.

Оказалось, предприимчивый командир драгунского эскадрона, стоявшего в соседнем уезде, узнав от мужиков о том, что в селе ночует вооруженная шайка, решил ее ликвидировать на свой страх и риск и вторгся на «нашу территорию», никого не предупредив. В селе[242] никого не было, но в то же утро в среде крестьян пошли слухи о том, что повстанцы крупными силами наступают со стороны Лубен. Каким образом нашу колонну – германцев и людей с гетманскими погонами и кокардами могли принять за большевиков, – совершенно непонятно. Должно быть, какой-нибудь бабе почудилось… Предприимчивый драгунский капитан решил встретить врага и рассыпал свой эскадрон в цепь на опушке леса сейчас же за селом. Позицию выбрал так неудачно, что не мог видеть приближающейся колонны. Крестьянам приказал, как только появятся неприятельские разведчики, хватать их живьем. Мосолов и Д. едва вырвались из села. На них со всех сторон бросились мужики, вооруженные вилами и косами. Отстреливаясь на ходу, разведчики ускакали. Ротмистр открыл по ним залповый огонь. Часть эскадрона с пулеметами оставалась в селе. Неожиданно попала под дождь наших снарядов. По-видимому, возникла форменная паника, так как кавалеристы побросали пулеметы и обоз, о чем нам не без злорадства рассказывали потом крестьяне.

Мы втягивались в село с тяжелым чувством. После такого

обстрела, да еще с близкой дистанции, не могло не быть жертв. В стенах некоторых хат виднелись черные дыры. Шрапнельные пули выбили много оконных стекол. По счастливой случайности, граничащей с чудом, как оказалось, не было ни убитых, ни раненых. Немного пострадала только учительница. Крохотный осколок гранаты, попавший в школу, занятий, к счастью, не было, оцарапал ей кожу пониже спины. Немецкий врач смазал ранку йодом.

Погибла одна свинья, которой вырвало кишки, и две или три курицы. Немцы щедро – на этот раз не по казенной цене – заплатили хозяину. Взяли жирную свинью для своего котла.

Таким образом, немецкая неразбериха окончилась благополучно, но все-таки у нас всех осталось очень тяжелое чувство. Ходили по хатам, осматривали повреждения. Разбитые зеркала, изуродованные кровати, сбитые со стен иконы вперемежку с мусором. Особенно в одной хате мне стало жутко, несмотря на всю привычку к войне. Моя граната разворотила чистую половину. В жилой в момент взрыва находилось шестеро детей. Не успели спрятаться в подвал. Окружили меня и уже оправившимися от страха звонкими голосами начали рассказывать, как рядом «бахнуло», стекла посыпались и пошел вонючий дым. Отклонись снаряд на одну сажень влево, и было бы шесть трупиков… В другом доме граната разорвалась в комнате, где двое детей забились под печку. Они не были даже контужены. Судьба спасла нас от клейма невольных убийц. Религиозные люди говорили иначе…

Крестьяне, надо сказать, чувствовали и себя виноватыми. Я пытался объяснить, как они могли принять подъехавших вплотную людей в форме с погонами и кокардами за повстанцев. Мужики разводили руками. Сгоряча, мол… Мои добровольцы, особенно юнкер Войцеховский, были совсем убиты.

– Мы поступили в Куринь не для того, чтобы расстреливать ни в чем не повинных людей. Надо уходить…

У меня самого было очень нехорошо на душе, но я, как мог спокойнее, напомнил, что несчастные случаи на войне неизбежны. Говорил, а сам думал о развороченной хате и шести чудом уцелевших детях. Кто бы ни был виноват – ротмистр, мужики, комендант или все мы вместе взятые, – они-то, во всяком случае, не виноваты. От этого случая надолго остался мутный осадок на душе.

Самые редкостные события нередко происходят сериями. Этот закон подтвердился на следующий же день. Мне поручили вернуться в Лубны отдельно от остальной колонны. Адъютант Куриня подчеркнул:

– Никаких повстанцев там нет. Просто надо, чтобы население видело, что у нас есть пушки.

В указанных мне селах восточной части уезда Куринь еще никогда не был. На всякий случай, в прикрытие к орудиям придали взвод нашей пехоты с одним пулеметом. На прощание ротмистр Белецкий еще раз напомнил:

– Только, пожалуйста, не воюйте. Все спокойно… Майор на вас полагается. Державная варта предупреждена.

Раз все спокойно, я решил не высылать и походного охранения. Неровен час, опять за кого-нибудь примут. Перед большим привалом отправил квартирьеров в первое попавшееся село. Отпуская их, предупредил, как было приказано:

– Никаких повстанцев здесь нет. Найдите старосту, предупредите, что понадобится сено. Потом поезжайте к батюшке, спросите, нельзя ли у него остановиться офицерам.

Мы были в версте от села, когда мне показалось, что я схожу с ума. Мимо ушей визжали пули. Нет, все их слышат… Моя маленькая колонна без команды остановилась. Квартирьеры несутся, пригнувшись к шеям лошадей. Пули чаще. Это какой-то бред, но ничего не поделаешь… Надо вывертываться. Уходить поздно. Меньше чем в версте от нас разворачивается конница. Подаю команды. На позиции все, что у меня есть – два орудия, с десяток стрелков и один пулемет Максима. Пожилой пехотный капитан со строгим лицом сам ложится за пулемет. Если мы не отобьемся – конец. Кругом ровное поле. Перед тем, как скомандовать «огонь!», еще раз поднимаю бинокль. Никакого сомнения… Пиджаки, свитки, у одних винтовки через правое плечо, у других через левое. Лава медленно подвигается на нас. Люди следят за каждым моим движением. Им, беднягам, хочется жить. Чтобы казаться спокойнее, кладу руки в карманы. Орудия уже заряжены, пулемет наготове, стрелки тоже. Осталось немногим больше тысячи шагов. Больше медлить нельзя.

– Огонь!

Слабый ружейный залп. Пушки, щелкнув курками, не выстрелили. В пулемете задержка после первого патрона. У меня в ладонях ледяные иголочки. Бросаюсь к орудиям. В одном заел патрон, в другом отлупившийся кусок краски попал в стреляющее приспособление. Капитан возится с пулеметом. Утром все было в порядке. Конница топчется на месте. Если пойдут в атаку, мы кончены…

Чтобы не волновать номеров, не тороплю. Разбирают затвор меньше чем в версте от конницы. Секунды нестерпимо длинные. Нащупываю в кармане предохранитель браунинга. Перевожу на «Feu». Живым я мужикам, во всяком случае, не сдамся. Одной

хлеборобской семье недавно прибили руки к столу и оставили так умирать.

Нет, всадники остановились. Слава Богу, пушки готовы. Номера снова вкладывают спасительные шрапнели. Открываю беглый огонь. Лава быстро отходит в село. Надо расчистить себе дорогу. Еще два патрона, еще два патрона… Пулемет никак не может выздороветь.

– Господин поручик, мужики говорят, что там немцы.

– Стой! Вынь патрон!

Когда же этот бред кончится… Взяв с собой нескольких конных, еду на разведку. Приближаемся редкой лавой к окраине села. Винтовки у всех наготове. Кучка парней в серых шинелях. Безоружные. Подъезжаем вплотную.

– Кто здесь в селе? Говорите правду!

– Та якись бандити…

Больше, собственно, разговаривать нечего. Надо галопом уводить разъезд, пока не поздно. Все-таки я переспрашиваю:

– Какие бандиты?

– Хиба ж я знаю… Паны, буржуи и немцы.

Ругаться не люблю, но на этот раз, должно быть, далеко было слышно, как я помянул восходящих родственников этого парня. Велел ему сейчас же идти к начальству «бандитов» и рассказать, в чем дело. Пусть вышлют человека с белым флагом. Жду четверть часа, а потом открываю огонь. Ехать сам я не решился. После того, как едва не погиб под Денисовкой, не хотелось рисковать.

За пять минут до срока ультиматума из села показался экипаж с поднятым верхом. Над ним трепыхалось большое белое полотнище. Люди сразу повеселели. Значит, правда, не повстанцы. С двумя разведчиками я выехал навстречу «мирной делегации». Какой-то штатский с винтовкой, начальник державной варты в серой полицейской шинели и германский офицер. Вид у всех сконфуженный.

Повторение вчерашней истории… На этот раз, никого не предупредив, сюда отправился оперировать хорольский Куринь вместе с немецкой пехотой. Обмундирования у хорольцев пока нет, ездят кто в чем попало. Моих людей приняли за разведку повстанцев. Открыли огонь в упор. Едва не убили. Согласны с тем, что мы все одеты по форме и совершенно не похожи на большевиков, но вот так вышло… Когда открыла огонь артиллерия, сразу поняли, что это должен быть лубенский Куринь, но уже не могли предупредить. Моя первая шрапнель – перелет по коннице – едва не перебила германский штаб. Впрочем, смертельно ранена только одна лошадь: люди не пострадали. Все – и германцы, и начальство хорольского Куриня –

согласны с тем, что при данной обстановке я не мог не открыть огня. Стоим посредине улицы с картами в руках и мирно беседуем. Острый разговор, положим, был, но при первой встрече. Наши офицеры упрекали хорольских «парламентеров» в том, что они выводят людей в поле в таком виде, что их на самом деле не отличишь от большевиков.

Всей компанией идем пить чай. Мужики и бабы изумленно на нас смотрят. Стреляли, стреляли друг в друга, а теперь разговаривают и даже ссоры никакой нет. Должно быть, у крестьян в головах полная путаница. Довольно того, что парни, судя по возрасту и шинелям, побывавшие на войне, приняли меня и моих разведчиков за большевиков. Чтобы сделать приятное предполагаемому повстанческому командиру, назвали «немцев, панов и буржуев» – бандитами. Надо и то сказать, видели собственными глазами, как я их обстреливал. Должно быть, подумали, что погоны и кокарды – только военная хитрость.

Во всяком случае, большей несогласованности действий, чем та, которую проявили германские начальники соседних уездов в эту несчастную экспедицию, трудно придумать. За два дня – два междоусобных боя. Для поднятия авторитета власти способ необыкновенно удачный. Несмотря на наши добрые отношения с немцами, у некоторых офицеров и добровольцев Куриня в разговорах чувствовалось немалое злорадство. Тоже, мол, не боги…

В Лубнах я сейчас же явился с докладом к генералу Литовцеву. Он уже обо всем знал. Встретил меня, шутливо грозя пальцем.

– Опять немцев разогнали? Ну, рассказывайте…

В приказе по Куриню мне была объявлена благодарность «за быстрое открытие огня по приказанию германского коменданта». О том, что огонь велся по германской кавалерии, атаман умолчал.

Одновременный выход из строя обоих орудий и пулемета в тот момент, когда мы готовились расстрелять хорольский Куринь, снова произвел большое впечатление на религиозно настроенных людей. Совпадение, во всяком случае, получилось удивительное…

Думаю, что изложенные в настоящей главе события могут быть небезынтересны для историка. Вероятно, очень немногие из русских офицеров имели возможность наблюдать и слышать то, чему были свидетелями мы, чины лубенского Куриня. Мне остается еще охарактеризовать отношение тех немцев, с которыми я встречался, к Добровольческой армии и другим русским антибольшевистским формированиям, но я сделаю это в

главе, посвященной Южной армии.

Глава XVIII

Приближалась осень. Дела нашего Куриня, полулегализованного в начале августа месяца под наименованием «Охранной сотни при коменданте», шли все хуже и хуже. Численный его состав сильно сократился. Ушло много офицеров, особенно в старших чинах, принятых на официальную военную службу. Тем, кто навсегда решил себя связать с украинской армией, был, конечно, прямой смысл поступать в формировавшиеся кадры регулярных дивизий. В Курине мы в служебном отношении все висели в воздухе и крайне нерегулярно получали наше маленькое жалованье. Принятые на официальную службу сразу упрочивали свое положение и материально были вполне обеспечены. Гетманское правительство установило для офицеров и унтер-офицеров очень недурные по тому времени оклады. У всех почти офицеров существовало убеждение, что Украинская Держава – прочное государственное образование, жизнь в котором будет постепенно налаживаться[243].

Многие ушли из-за личных отношений – весенний подъем прошел, начались ссоры и интриги. Атаман Куриня при всей своей служебной опытности не умел по-настоящему объединить своих подопечных и очень легко поддавался влиянию интриганов. Казавшиеся нам очень хорошими отношения между генералом Литовцевым и ротмистром Белецким быстро испортились. В конце концов после резкого столкновения с атаманом адъютант ушел. Ввиду наличия за ротмистром какой-то недоимки Литовцев временно конфисковал собственную лошадь Белецкого, великолепную тракенку Леди, вывезенную из Восточной Пруссии. Кобылу передали под мою ответственность в артиллерийский взвод, и я обыкновенно сам ее проезжал. В конце концов лошадь Белецкому вернули, но эта конфискация, хотя бы временная, была, конечно, чистейшим беззаконием.

Сильнее всего, однако, сократился солдатский состав. Очень быстро выяснилось, что добровольная мобилизация хлеборобов, на которую возлагалось столько надежд, не удалась. Эти молодые парни, в противоположность добровольцам, совершенно не желали подчиняться дисциплине. Считали, что раз Курень содержится на крестьянские средства, то, значит, они в нем и хозяева. Представитель партии хлеборобов-демократов даже пробовал проверить дневальных по конюшне, пока его в конце концов не попросили о выходе.

Офицеры попробовали было прибрать к рукам мобилизованных крестьянским союзом. Парни решили тогда, что

мы вводим «старорежимную дисциплину», и почти полностью разбежались по домам, унеся, понятно, казенное обмундирование. Ввиду упадочного состояния конной сотни некоторые умудрились свести и лошадей вместе с седлами. После ухода ротмистра Гречки за имуществом там следили плохо.

Союз хлеборобов только один или два раза выдал обещанное пособие, потом взносы почти перестали поступать.

Если бы каким-нибудь чудом можно было тогда показать лубенским хлеборобам то, что их ожидает в случае торжества большевиков: конфискация всей земли до последней десятины и массовые высылки на север, не говоря уже об убийствах и расстрелах, – вероятно, они не так бы нам помогали. Вся беда была в том, что в 1918 г. и они и многие другие очень плохо понимали подлинное положение вещей. У интеллигентных людей тоже удивительно быстро появилось совершенно иллюзорное чувство прочности, благополучия, миновавшей опасности. Психологически, правда, гораздо легче верить в то, что все обстоит более или менее благополучно, чем бороться и готовиться к борьбе. То же самое впечатление у меня осталось и от настроений периода успехов Добровольческой армии в 1919 г.

В Лубнах, как только непосредственная опасность как будто миновала, началась начальственная междоусобица. Существование Куриня, да еще во главе с генералом Литовцевым, претендовавшим на получение 12-й украинской дивизии, не отвечало видам командного состава этой дивизии, в частности генерала Александровича, назначенного ее начальником. Мы догадывались, кроме того, что интригу против Куриня плетет главным образом начальник штаба дивизии полковник Петров, о котором мне много раз пришлось упоминать в этой работе. После гетманского переворота его, как противника Скоропадского, отрешили от командования гордиенковцами, но затем снова приняли на службу и назначили в Лубны. Таким образом, на ответственных – в провинциальном масштабе – постах оказалось три бывших офицера лейб-гвардии Литовского полка – Александрович, Петров и Литовцев.

Атаман Куриня опирался на свои прочные связи с хлеборобами и хорошие отношения с германцами. У генерала Александровича было больше связей в военном министерстве. Однако благодаря тому, что в делах Куриня принимал большое участие двоюродный брат гетмана, местный помещик С. Б. Милорадович, имевший непосредственный доступ в «сферы», генералу Александровичу не удавалось добиться расформирования Куриня. Наибольшей остроты борьба достигла в начале августа, когда я на короткое время уехал в отпуск к

родным. Вернувшись, узнал, что во время моего отсутствия уже была получена телеграмма из министерства с приказанием немедленно распустить отряд, так как его существование противоречит приказу гетмана о расформировании частных военных организаций. Крайне огорченный поручик Овсиевский приказал тогда фельдфебелю открыть батарейный цейхгауз и раздать людям все, что там есть. Однако это приказание, отданное со зла, не было приведено в исполнение. Как раз в этот момент была получена вторая телеграмма, на сей раз за подписью Скоропадского. Гетман приказывал расформирование лубенского Куриня приостановить. Александровичу и Петрову пришлось скрепя сердце подчиниться. Чтобы спасти организацию, было решено отказаться от наименования «Куринь» и впредь именоваться «Охоронной сотней при комендантe». Однако, хотя непосредственная опасность миновала, кампания комсостава 12-й дивизии против нас продолжалась. Должно быть под влиянием своего начальника штаба, Александрович решил в пику Литовцеву и старосте Грачеву сблизиться с более левыми элементами, чем те, на которые мы опирались. Начальнику дивизии удалось привлечь на свою сторону городское самоуправление, выбранное по закону Временного правительства и состоявшего из левых украинцев. Начальник его штаба пошел дальше. Если Петров говорит в своих воспоминаниях «правду»[244], то у него были связи с повстанцами, боровшимися против гетманской власти. («Спомини», ч. IV). Таким образом, увольнение его в резерв чинов за левизну было, видимо, вполне обоснованно.

Восстанавливать подробности лубенской междоусобицы, мне кажется, не представляет интереса. Петров старается доказать, что он и его начальник стремились разрушить Куринь, как антидемократическую организацию, чинившую насилие над населением. Поскольку речь идет об его личном участии в кампании против Куриня, наличие в ней политического элемента несомненно. «Петлюровец» – искренний или нет, другой вопрос – боролся против «гетманцев». Что же касается общего смысла происходившей в Лубнах борьбы, то дело, по моему глубокому убеждению, обстояло проще. Генерал, у которого были деньги и штатные места, но не было ни людей, ни имущества, Александрович стремился обезопасить возможного конкурента – Литовцева, а самое главное – переманить к себе его людей и завладеть для дивизии имуществом Куриня. Идеологические обоснования в сильной мере пристегнуты пост фактум. Когда приказ о расформировании не удалось провести в жизнь, командование 12-й дивизии переменило тактику и всеми силами

старалось использовать наше безденежье. Помимо прекращения пособий от хлеборобов, произошла какая-то путаница с ассигнованиями на содержание охранной сотни, которые до этого времени все-таки позволяли нам кое-как существовать. В июле жалованье выдали в уменьшенном размере, в августе задержали полностью. Денег совершенно не было. Для Куриня наступили тяжелые дни.

Пища, до последнего времени очень хорошая, становилась все хуже и хуже. По утрам люди получали уже не настоящий, а морковный чай. Его прозвали «державным пойлом».

…Одно утешало меня – наши люди держались очень крепко. У кого родители были в городе, тем, конечно, не приходилось терпеть лишений, но остальные частенько ходили с полуголодными желудками, совершенно без денег и все-таки не хотели бросать Куриня. У них постепенно появилась[245] настоящая солдатская любовь к своей маленькой части…

Все надеялись, что как-нибудь уладится, достанут денег, разрешат реквизиции и опять дело пойдет по-хорошему.

В августе одно время пошли проливные дожди. В казарме протекал потолок, обилие разбитых стекол, незаметное, пока было жарко, теперь сильно чувствовалось. Было сыро, холодно, и вечно дул сквозной ветер.

По вечерам часто добровольцы набивались в мою просторную комнату, рассаживались где попало и при тусклом свете единственной свечки вели долгие задушевные разговоры. Все больше о том же: как бы уехать на Дон и по возможности со своими пушками и лошадями. Это было явно невозможно, но многие мечтали и придумывали несбыточные планы, вплоть до похода из Полтавской губернии в Ростов через местности, занятые немцами.

Мысль все больше и больше обращалась на восток, но из взвода артиллеристы не уходили. Зато полковнику Петрову удалось переманить в кадры полков 12-й дивизии большую часть наших пехотинцев – три сотни были после этого свернуты в одну очень слабого состава – и немало кавалеристов. По его словам – Ч. IV – «…45 Лубеньский піший полк дістав біля 150 охотників, а в гайдамацькому гетьманському Куріні залишилася лише горстка безнадшних шибайголів»[246].

В качестве одного из «шибайголів», остававшегося в Курине до последнего дня существования, должен сказать, что после отъезда генерала Литовцева из Лубен во второй половине августа командир 12-й артиллерийской бригады генерал Лукин несколько раз предлагал мне перейти к нему «конным, людным и оружным». Командование дивизии хотело принять наш взвод в

полном составе – с пушками, людьми и лошадьми. Я отвечал милому старику, очень внимательно ко мне относившемуся, уклончиво, так как в это время уже решил уехать в Южную армию и увезти туда же своих людей. С полковником Петровым в Лубнах я не был знаком, хотя не раз командовал ему «смирно», ведя взвод на конное учение. Как он относился к артиллеристам, мне неизвестно – в своих записках Петров, не скупясь на всевозможные эпитеты по адресу конной сотни, об артиллерии не упоминает ни одним словом. Зато с генералом Александровичем мне приходилось говорить не раз. Несмотря на один эпизод, о котором речь будет дальше, когда начальник дивизии остался недоволен докладной запиской гетману, написанной не мной, но по моим материалам, он до самого моего отъезда из Лубен относился ко мне очень хорошо. Уговаривал остаться на Украине и перейти к нему в дивизию. Предлагал мне должность старшего офицера, по моему тогдашнему возрасту и чину, в регулярной армии весьма почетную. Последний раз мы говорили за два-три дня до моего отъезда. Генерал по-прежнему советовал подумать и остаться в Лубнах. Видимо, Александрович мне доверял, так как однажды вызвал меня в штаб специально для того, чтобы спросить, честный ли человек ротмистр Белецкий и можно ли его, по моему мнению, назначить начальником жандармской части, которую тогда было решено сформировать при старосте (точное название ее не помню).

Все это дело уже далекого прошлого. Мне, двадцатитрехлетнему поручику, было приятно, что пожилые, опытные люди меня ценят. Я мог бы перейти в дивизию без ущерба самолюбия – Куринь явно умирал, а отъезд генерала Литовцева показал, что и сам атаман потерял надежду отстоять свое детище. Лично я отказался от перехода на регулярную службу потому, что к тому времени вообще решил уехать из Украины. Кроме того, еще не приняв этого решения, я всячески противился переходу наших людей в кадры дивизии. Делал это потому, что считал кадры бесполезными с точки зрения антибольшевицкой борьбы. Не верил, что германцы разрешат сформировать регулярную украинскую армию. У нас была, хоть импровизированная, но все-таки воинская часть, доказавшая свою боеспособность. Переходя в дивизию, люди поступали, как нам казалось, в хорошо оплачиваемую, но пока что совершенно бумажную организацию.

Генеральские свары, интриганство, бестолочь, хлеборобская темнота, непонимание грозящей всем нам опасности производили на меня тяжелое впечатление. Я вложил много молодой энергии в лубенские дела. Работал много. Не жалел ни

себя, ни других. Надеялся, что это только начало чего-то многообещающего и большого. Постепенно, наоборот, создавалось грустное и обидное ощущение никчемности нашей работы.

Не настоящее все это… Надо искать чего-то другого.

Впрочем, в первой половине августа в Лубнах на несколько дней интриги и раздоры были забыты. Сильно запахло порохом, и общность интересов, хотя ненадолго, опять выступила на первый план.

Однажды утром, точной даты не помню, между 7 и 15 августа, поручика Овсиевского и меня экстренно вызвали по телефону в германскую комендатуру. Там уже находился генерал Литовцев. Через несколько минут подошел Артопеус и другие немецкие офицеры. По полученным в комендатуре сведениям, с запада к нашему уезду приближаются крупные силы повстанцев, вытесненных германскими войсками из Звенигородского уезда Черниговской и Таращанского – Киевской. У них есть орудия, по-видимому, доставленные большевиками с севера, и довольно много пулеметов. Повстанцам удалось переправиться через Днепр[247]. Есть основание думать, что они двинутся прямо на Лубны. Генерал Литовцев предложил немедленно погрузить Куринь в вагоны и через станцию Гребенка перебросить его на линию Гребенка – Черкассы. Мы успели бы тогда преградить дорогу наступавшим и при поддержке германцев не допустить их в Лубенский уезд. Предложение принято не было. Немцы, по-видимому, считали наши силы слишком незначительными для этой задачи. Они сами сосредоточивали к Гребенке конницу. Нам было поручено прикрыть город с юго-запада и с этой целью двинуться в Оржицкую волость. Это направление, по всему судя, считалось наименее ответственным[248].

Подробно описывать операции против черниговских повстанцев, как мы их называли, я не буду, тем более что действия немцев в деталях остались мне неизвестными. Могу судить только об общем результате. Должен сказать, что нам сразу показался странным тот факт, что повстанцам, окруженным в Таращанском уезде крупными германскими силами, не только удалось выйти из кольца, но и переправить через Днепр свою артиллерию. Было очевидно, что немцы, по обыкновению, прозевали противника – иначе он не смог бы проникнуть в Левобережную Украину.

Около полудня в город начали стекаться беженцы – хлеборобы. На улицах появились деревенские брички, телеги, груженные всяким добром, женщины и дети в деревенских платьях. Приезжали целыми семьями, скотину бросили, лошадей

вели с собой. Быстро сформировался вспомогательный кавалерийский отряд коней в полтораста, который придали в помощь Куриню. Мы встретили много старых знакомых-хлопцев, разбежавшихся из нашей конной сотни из-за «старорежимной дисциплины». Теперь они всячески тянулись перед начальством. Представитель партии хлеборобов-демократов, с которым у меня вышел конфликт из-за самочинной проверки дневальных по конюшне, тоже почувствовал себя военным. Он командовал отрядом хлеборобской конницы, а приказания получал от генерала Литовцева через меня. Очень хорошо заговорил по-русски и, поминутно беря под козырек, то и дело повторял: «Так точно, господин поручик… Слушаюсь, господин поручик». Молодой хлопец возил за ним большой, только что сшитый украинский флаг. Много любопытных деталей, касающихся Лубен в «черниговские» дни, имеется в записках Петрова[249]. Мы, чины Куриня, общую обстановку знали тогда мало. Как оказывается, повстанцы двигались на восток будто бы с целью проникнуть в расположение Запорожской дивизии, расквартированной на северо-востоке Харьковской губернии и относившейся враждебно к гетманской власти. Крупные силы – 10–12 тысяч, по Петрову, были разделены на 2 колонны. Одна, меньшая, шла к северу от железной дороги Киев-Полтава и должна была быстрым маршем в направлении на Прилуки создать у немцев впечатление, что повстанцы направляются на север и таким образом отвлечь их внимание от главных сил, которые тем временем смогли бы переправиться через Сулу к югу от Лубен. Задуман маневр был неплохо – повстанцами руководил полковник Шинкарь[250], бывший киевским губернским комендантом во времена Центральной Рады. Само собой разумеется, что оперативный план таращанцев не был в Лубнах известен. Не знали мы и того, что на сей раз имеем дело со сторонниками Центральной Рады, а не с большевиками. Впрочем, вели они себя скверно так же, как и большевики, – убивали попадавшихся в плен представителей администрации, помещиков и в особенности членов хлеборобских организаций. По пути колонн горели имения и хутора. Наступал враг, и с ним надо было драться – этого с нас было достаточно.

Никто, понятно, не знал и того, что повстанцам помогает советами и указаниями бывший начальник штаба 12-й дивизии полковник Генерального штаба Всеволод Петров, вернувшийся внезапно из Киева как раз в дни восстания. От моральной оценки его деяний я воздержусь – она в мою задачу совершенно не входит. Упоминаю об этом факте только потому, что он существенно меняет всю обстановку операции – снова оговариваюсь – если соответственные места воспоминаний

Петрова не являются простой беллетристикой. Я, как и многие офицеры, считал, что немцы действуют плохо, потому что не умеют вести «малую войну». Оказалось, что в данном случае они действовали неудачно, так как были умышленно введены в заблуждение.

«Стежи 45 полку, яки не хотіли виконати наказу[251], поіхали вже зі звязновими Шинкарівцями, які декому з начальників представлені як провідники, ну й природно донесли, що все иде на північ від Лубнів, куди й пігнала німецька кіннота захоплювати повстанців на переправах, залишивши оборону міста німецький піхоті»[252].

Как бы то ни было, наш маленький отряд (человек 30 пехотинцев при 2 пулеметах, 25–30 конных, 2 орудия и хлеборобская конница, боевая ценность которой была весьма сомнительна), посланный на наименее ответственное направление в Оржицкую волость, в действительности встретился с главными силами Шинкаря, двигавшимися по большой дороге Титень-Оржица. Высланная генералом Литовцевым разведка выяснила, что целый ряд сел перед нами занят противником, численность которого во всяком случае измеряется тысячами. По всей вероятности, повстанцы выслали боковые авангарды, которые и обнаружила наша разведка.

Литовцев решил, что с имеющимися у нас силами двигаться дальше и вступать в бой невозможно. Мы рисковали быть окруженными. Оставалось занять оборонительную позицию, обрекогносцировать которую атаман Куриня поручил мне. Во время этого похода я исполнял обязанности, соответствующие начальнику отряда.

По телефону генерал связался с германской комендатурой. С картой в руке перечислял занятые противником села, тщательно выговаривая трудные для немцев украинские названия. Сообщил, что принужден ограничиться обороной, так как повстанцы очень многочисленны. Немцы одобрили принятое решение.

Ночь мы провели в поле. На выбранном мною гребне среди скирд стояли орудия, готовые к открытию огня. На флангах позиции были размещены пулеметы. Хлеборобская конница, которой я приказал не расседлывать коней, расположилась в ближайшей ложбинке. С генералом Литовцевым, ночевавшим на телефонной станции, я связался полевым телефоном. Всю ночь не спал. Ночь была лунная. Вдали виднелось какое-то зарево, и от времени до времени вспыхивали зеленые ракеты повстанцев. Для чего они их пускали – непонятно, скорее всего по привычке, образовавшейся у солдат-фронтовиков на Великой войне. Утром выяснилось, что в занятом накануне районе противника уже нет.

Повстанцы, никем не потревоженные, ушли по направлению к Суле[253]. Жители рассказывали, что ими распоряжался какой-то «пан» с длинными усами, ехавший в экипаже. Настроение у «черниговцев» плохое. Много раненых на подводах. Лошади в артиллерийских запряжках заморенные, снарядов мало. Очень боялись, что попадут под огонь на длинной плотине, по которой пришлось идти.

В Лубны мы вернулись с неприятным чувством. Предоставлялся случай нанести повстанцам поражение, может быть, отобрать пушки, и мы этот случай упустили. Ротмистр Белецкий сказал мне со злорадством:

– Генерал Литовцев просто струсил.

При всей моей тогдашней любви к решительным действиям, я, однако, считал, что атаман прав. Будь с нами одна-две сотни германской пехоты и эскадрон драгун, можно было использовать выгоду флангового положения и рискнуть атаковать повстанцев. Без этого вторжение в занятый ими район было бы совершенно неразумной авантюрой, на которую генерал Литовцев, как опытный офицер, пойти не мог.

Кроме того, несмотря на подавленное настроение, прорвавшиеся из Черниговской и Киевской губерний вооруженные селяне в это время, несомненно, еще были боеспособны. Сообщение УТА[254] «из авторитетного источника», помещенное в № «Рабочей газеты» от 21 августа 1918 г., говорит о боях германских войск с прорывающимися с запада повстанцами у Монолеи[255] и Зенькова. Правда, по словам официозного сообщения, банды были окончательно разбиты и уничтожены, но известно, что в действительности значительной части повстанцев удалось, пройдя почти всю Украину, перейти к большевикам, где из них была сформирована Таращанская дивизия, не раз отличавшаяся во время Гражданской войны.

В Лубенском уезде повстанцы разорили несколько хуторов, принадлежавших членам союза хлеборобов, и дотла сожгли родовое имение С. В. Милорадовича, причем не позволили открыть горящих конюшен и хлевов.

Через два-три дня после возвращения из научной экспедиции против таращанцев я поехал в Киев по делам Куриня[256]. Погода опять поправилась. Стояли горячие душные дни.

В гетманской столице было нарядно, людно и весело. Венская оперетка делала полные сборы. Процветал фешенебельный «Соларіум-Пляж». Из Советской России то и дело приходили поезда с украинскими «репатриантами». Добрая половина их носила великорусские, немецкие и польские фамилии – превратились в «украинцев» благодаря «старым связям» с людьми,

оказавшимися теперь на видных «посадах» гетманской Державы. Многим помогли знакомые иностранцы. «Репатриантам» – я нарочно ходил взглянуть на них на вокзал – казалось, что они попали в сказочную страну. Набрасывались на белый хлеб, пирожки, ветчину. Молодежь с места в карьер начинала объедаться пирожными[257].

На Крещатике и в Липках встречались «весь Петербург» и «вся Москва». Уверяли, что в Киеве собралось две трети сенаторов Российской империи. В южно-русской столице стали появляться богатые и родовитые австрийские и германские семьи. Ехали «на дачу» в богатую и привольную страну, где веер было вдоволь и жилось гораздо лучше, чем в Центральных державах. Я видел Киев в разные годы. Никогда, даже в эпоху предвоенного расцвета, он не был, внешне по крайней мере, таким блестящим, оживленным, людным городом, как при гетмане. Собственно, будь у настоящих украинцев немножко больше широты взгляда, они должны были бы радоваться. Силою вещей Киев стал подлинной столицей огромного и сравнительно упорядоченного государства. Под охраной немецких штыков аппарат управления быстро налаживался. Несмотря на все свои недостатки, Украинская Держава была, конечно, несравненно больше похожа на государство, чем любое южнорусское государственное образование, кроме, пожалуй, маленького героического Крыма 1920 г. Разница в том, что последний все время оставался осажденной крепостью, в то время как Украина Скоропадского никакой внешней войны не вела. Что касается восстаний, вроде Таращанского или Звенигородского, то для наблюдателя, не слишком задумывавшегося над положением вещей, – огромному большинству задумываться не хотелось, – это были в конце концов эпизоды местного значения, не нарушавшие мирного хода в общей, несомненно, налаживавшейся жизни[258].

Быт гетманского Киева иногда стараются представить либо как оперетку, либо как «пир во время чумы». Элементы оперетки в Украинской Державе, несомненно, были, но наряду с ними было и подлинное государственное строительство, особенно в некоторых областях. Основанная при Скоропадском Украинская академия наук пережила Державу. Думаю, что переживет и большевиков.

Что касается «пира» и «чумы», то, по правде говоря, во время моих наездов в Киев я не видел ни того, ни другого. Зато сильно чувствовалась радость избавления и радость жизни, особенно это касается молодых офицеров, долго пробывших на войне. Бросить все и ехать на Дон и Кубань для «устроившихся» было очень нелегко.

Крепко держались за веселую киевскую жизнь и те, кому приходилось очень нелегко в гетманской столице. В переполненном городе открывалось множество новых ресторанов и кафе. В качестве лакеев в них служили главным образом бывшие офицеры. Тогда, в 1918 г., мысль вообще плохо мирилась с возможностью такого сочетания понятий – «бывший офицер» и «лакей». Кроме того, многие из новых ресторанных слуг, чтобы показать публике, что они не «простые», нацепили на лакейские фраки значки военных училищ. Большей моральной безвкусицы действительно трудно себе представить. Насколько помню, это безобразие в конце концов было воспрещено властями.

Впрочем, некоторые шли в лакеи далеко не с легким сердцем.

«Как-то в одном из больших кафе на Крещатике я увидел своего товарища по старой батарее[259], разносившего мороженое. И он, и я почувствовали себя сначала очень неловко. Потом, освободившись, он подошел ко мне. Словно за что-то извиняясь, начал говорить о Добровольческой армии и в заключение, оглядываясь по сторонам и сделав таинственное лицо, протянул мне небольшую бумажку. Это было воззвание организаторов Южной армии. Таинственность, положим, была ни к чему…»

Незадолго перед моим приездом Киев был очень взволнован убийством фельдмаршала Эйхгорна (30 июля). Я еще застал расклеенные по городу белые извещения германского командования о суде и исполнении смертного приговора над убийцей Борисом Донским (казнен 10 августа). И в Киеве и в Лубнах решительно все, с кем приходилось встречаться, осуждали убийство и жалели старика-фельдмаршала. Некоторые украинские газеты писали о том, что будто бы сторонники «Единой-Неделимой», хотя молчат, но злорадствуют. Это совершенно не соответствовало действительности. В самых интимных разговорах с глазу на глаз очень разнообразные люди, в большинстве не украинцы, отзывались о террористическом акте эсеров с негодованием. Считали, что они льют воду на большевистскую мельницу.

Впоследствии интересные подробности о суде и казни Донского мне передавал тот самый корнет Постников, который будто бы был переодет германским офицером в день разгона Центральной Рады. Германцы якобы подвергли убийцу фельдмаршала мучительным пыткам с целью заставить его выдать сообщников и рассказать, как был организован заговор. Донского резали ножами. Потом перевязали раны, перевели на больничный режим, очень хорошо кормили. Затем опять подвергли пыткам. Убийца скончался в тюрьме, а публично повешен был якобы труп.

Постникову обо всем этом рассказал граф Альвенслебен, руководивший и допросами и истязаниями. Я не могу, конечно, утверждать, что офицер, представившийся мне как корнет Постников, не выдумал этой истории. Должен, однако, сказать, что тогда, в начале 1920 г., его рассказ показался мне очень правдоподобным. Некоторые детали придумать было трудно. Отлично помню слова Постникова:

– Все-таки, знаете, у них другая психология… Вы представляете себе Альвенслебена? Блестящий гвардейский офицер, культурный, воспитанный. Отлично говорит по-французски. Что вам еще о нем сказать?.. Всегда великолепно отполированные ногти. И вот этот джентльмен руководит пыткой…

Повторяю, я не могу поручиться за точность излагаемых здесь сведений. Ограничиваюсь тем, что точно передаю слышанное.

В Киеве я пробыл недолго – дня четыре, но, как всегда, было много разговоров и встреч. Одна из них имела немалые последствия не только для меня лично. В первый же день меня пригласил к себе в гостиницу С. В. Милорадович. Бедняга был совсем убит гибелью своего имения и в особенности не мог примириться с мыслью, что его любимых лошадей сожгли живыми. Я вполне понимал его чувства. Милорадович собирался в гетманский дворец для доклада Скоропадскому о случившемся. Он вполне правильно, по-моему, считал, что, будь действия войск более умелыми, повстанцы не могли бы пройти сотни верст по Украине. Мы разговорились на эту тему. Я старался, как умел, обосновать с военной точки зрения свою давнишнюю мысль о неправильности германской тактики борьбы с повстанцами. Тяжелые, излишне сильные колонны, передвигающиеся только шагом, обычно опаздывают и всегда будут опаздывать. Привел целый ряд примеров из практики лубенского Куриня[260]. Рассказал об отсутствии связи между начальниками и бестолковщине, которая иногда приводит к трагическим последствиям. Помня просьбу германского коменданта, об обстреле драгун Франца-Иосифа по приказанию майора умолчал. Зато подробно рассказал о столкновении с хорольским куринем и хорольскими немцами – я в этом отношении не был связан никакими обязательствами. Упомянул и о том, что прими германцы предложенный генералом Литовцевым план, вероятно, повстанцам вообще не удалось бы проникнуть на территорию Лубенского уезда. Во всяком случае даже такому малоопытному военному, как мне, совершенно ясно, что общая картина получается скандальная. Территория Украины занята превосходными и очень многочисленными германскими

войсками, снабженными всеми техническими средствами. Им помогают добровольческие отряды, державная варта и хлеборобские организации. Местность тоже не благоприятствует повстанцам. При движении с запада на восток им необходимо преодолеть ряд серьезных водных преград – в первую очередь Днепр – и пересечь железнодорожные линии, идущие с севера на юг, по которым можно подавать войска в любой пункт. Если при этих условиях плохо вооруженные отряды повстанцев могут осуществлять марши в несколько сот верст, значит, тактика никуда не годится и ее надо изменить. Операции так, как они до сего времени ведутся, дискредитируют в глазах населения и германские войска и гетманское правительство.

По мере того как я говорил, Милорадович делал для себя заметки. Этим наша беседа и ограничилась. Возвращаясь в Лубны, я на станции Гребенка встретил генерала Литовцева, ехавшего в Киев. Его поезд должен был отойти через одну-две минуты, и мы успели обменяться только несколькими словами. Генерал подозвал меня к окошку вагона и с несколько смущенным, как мне показалось, видом сказал:

– Раевский, я не советую вам возвращаться в Лубны. Немцы собираются вас арестовать.

– За что, ваше превосходительство?

– Вы там написали какой-то доклад с критикой их действий. Советую вам уехать в какой-нибудь город.

Поезд отошел. Я был очень удивлен, но решил все-таки ехать в Лубны. Прямо с вокзала, не заезжая в казармы, отправился к Милорадовичам. Маленькая бытовая деталь – во время этой поездки в Киев я в первый раз в жизни два дня не обедал из-за отсутствия денег. В конце концов сначала продал за бесценок серебряную монету в пять лей – память о румынском фронте, потом поехал на бега в членскую беседку и занял у знакомого сахарозаводчика «керенку». В Лубны возвращался опять с голодным желудком и вдобавок по пути с вокзала в город сильно промок. У Милорадовичей попал как раз к ужину и все думал о том, не слишком ли я много ем.

Оказалось, С. В. на основании моих данных написал докладную записку Скоропадскому. Гетман передал ее Кирбаху, заместившему покойного фельдмаршала Эйхгорна. Главнокомандующий германскими войсками приказал произвести расследование. Судя по всему, в первую очередь попало лубенскому коменданту. Милорадович обещал немедленно телеграфировать гетману, если немцы меня на самом деле арестуют, но сказал, что считает это очень маловероятным.

Я вернулся в казармы. Утром, как всегда, встретился с

Артопеусом и его офицерами. Никто из германцев не сказал мне ни слова о докладе. Скоро мне стало ясно, что бурю подняли совсем не немцы, а командование 12-й дивизии, оказавшееся «plus germanophile que les Allemands». По-видимому, решили кроме того воспользоваться запиской Милорадовича как орудием против Литовцева.

Выяснилось и еще одно любопытное обстоятельство. Меня вызвал к себе в штаб генерал Александрович. Говорили мы сначала с глазу на глаз. Начальник дивизии, надо сказать, был со мной очень корректен. Сказал, что доклад Милорадовича писал, очевидно, не он, потому что С. В., как и большинство прапорщиков запаса, ничего в военном деле не понимает, да и кроме того записка содержит ряд данных, которые он не мог знать. По сведениям штаба дивизии, автором этого документа, оскорбительного для германцев, являюсь я.

Я доложил генералу, что записки я не только не редактировал, но и не читал. Считать себя ответственным за ее содержание не могу. Что же касается фактических данных, то я действительно для пользы нашего общего дела сообщил их двоюродному брату гетмана – прапорщику Милорадовичу. Мое уважение к германской армии и дружеские отношения с отдельными немецкими офицерами вовсе не исключают деловой критики ее действий. В какой форме Милорадович изложил данные ему сведения – не знаю, но за точность их готов отвечать перед кем угодно.

Александрович сказал, что он мне верит, но что я поступил неправильно, сообщая секретные данные частному лицу. Разговор шел в очень мирном тоне. Я ответил, что не мог считать секретом такие факты, как обстрел сел по ошибке, о котором знает любой мужик в уезде. Что касается критики германской тактики, то это мое личное мнение и я считал себя вправе поделиться им с бывшим офицером Куриня, и поныне принимающем участие в его делах.

В заключение Александрович пригласил в кабинет своего начальника штаба генерал-майора Петрова, сменившего в этой должности своего однофамильца полковника, и представил меня ему.

– Теперь я вам сообщу то, чему начальник штаба был свидетелем. В этом своем кабинете генерал Литовцев сказал нам, что авторами записки являются поручики Раевский и Овсиевский[261]. Говорю это только для вашего личного сведения…

Я был больше чем удивлен. Два почтенных генерала сочли нужным сообщить мне, что третий генерал, с которым я все время

работал, поступил по отношению ко мне предательски. По-видимому, Литовцева притянули в какой-то форме к ответу, и он не нашел ничего более достойного, как оговорить своих подчиненных. Признаюсь, до конца я генералам все-таки не поверил. Как ни странна была мысль, что двое пожилых людей стараются испортить отношения 24-летнего поручика с их ровесником, но все-таки она сейчас же пришла мне в голову. В Лубнах я на многое насмотрелся… Много позже я, однако, пришел к убеждению, что генералы говорили правду. Лично доблестному атаману Куриня решительно не хватало гражданского мужества.

Этим не выговором, а скорее, разговором дело и ограничилось. Немцы меня не тронули, да, думаю, и не собирались трогать. Вероятно, Литовцев сам решил, оговорив меня, что мне грозит арест, и, как человек по существу ко мне расположенный, счел нужным предупредить. Это на него весьма похоже. Во всяком случае, история с запиской Милорадовича никак не повлияла на мои добрые отношения с немцами. Они остались прежними. Зато я еще больше начал задумываться над тем, следует ли мне оставаться на Украине. Не один я. К материальному кризису Куриня постепенно присоединился кризис моральный. Падала вера в то дело, которому мы служили. Чувствовалась какая-то бескрылость почти во всем, что делало гетманское правительство. Генерал Скоропадский, историческое имя которого так хорошо звучало в дни переворота, не сумел стать популярным даже среди нас, его сторонников. У гетмана не было и в помине того, что называют «талантом властвования».

Недовольны мы были и той областью, с которой больше всего соприкасалась деятельность Куриня – земельной политикой правительства. Все мы, офицеры и добровольцы, еще остававшиеся в умиравшем отряде, считали, что большевизм в деревне должен быть искоренен какой угодно ценой, но не верили в возможность «успокоения» без «реформ». Украинской государственности надо было во что бы то ни стало расширить базу, на которую она опиралась, и тем нейтрализовать деревенских большевиков и к ним примыкающих. Исколесив в течение весны и лета весь уезд, постоянно соприкасаясь с деревней, мы очень ясно это чувствовали. Нужна была широкая земельная реформа на основе принципа частной собственности. Между тем, правительство, как мы видели, не хотело или не решалось идти на сколько-нибудь радикальные меры и все сводилось к механическому подавлению накопившегося в деревне недовольства[262].

Нести полицейские обязанности большинству из нас не

хотелось.

У многих, кроме того, получалось впечатление, что Украина, ставшая, как казалось, после переворота на «переяславский» путь, все более и более с него сбивается. Враждебности к украинской государственности, как к временному явлению, у нас по-прежнему не было. Самостийности «всерьез» и надолго, может быть, навсегда, никто из нас не желал. С этим не хотелось связывать свою жизнь[263].

Нас удерживала в Лубнах больше всего привычка и любовь к своей части – один из самых сильных факторов в военной жизни. Между тем во второй половине августа Куриню был нанесен окончательный удар. Генерал Литовцев распрощался с нами и уехал в Киев. Союз «Наша Родина», формировавший Южную армию, пригласил его на пост начальника штаба корпуса. В речи на прощальном обеде у «Давида» генерал вскользь упомянул, что Куринь потерял теперь свое значение, и звал всех желающих записываться в новую армию, которая будет бороться за русское дело и под русским флагом. Лично мне генерал предлагал сразу ехать с ним в Киев. Я решил пока подождать. Для меня не было ясно, во что выльется Южная армия.

После отъезда атамана жизнь в отряде начала замирать. К числу претендентов на его имущество присоединился повитовий староста С. Н. Грачев, до того времени неизменно поддерживавший Куринь и Литовцева против Александровича и его штаба. Должно быть, с целью ускорить ликвидацию отряда он настоял на запрещении нам производить реквизиции овса и сена. Денег на покупку у Куриня не было. Ассигновка по-прежнему задерживалась.

Пришлось лошадей пасти захватным порядком на лугах Лубенского монастыря, благо, монахи не особенно протестовали. Во второй половине августа травы уже мало. Без овса лошади начали быстро слабеть и тощать. Какие бы то ни было походы стали невозможными. Настроение сразу у всех стало падать – ясно было, что свыше решили Куринь так или иначе ликвидировать.

Мне тяжело было смотреть, как отличные кони взвода обращаются в вялых, полуголодных животных с взъерошенной шерстью. Жалко было своей летней работы. Из-за интриг и игры самолюбий разрушалось живое и нужное дело.

Нелегко было заставлять полуголодных людей пасти ночами, часто под дождём, наших слабеющих коней. Днем они слишком обращали на себя внимание на чужих лугах. Обыкновенно «в ночное» отправлялись два приятеля-кадета, князь Волконский и Мосолов. Шли добровольно. Оба очень любили лошадей.

Возвращались на рассвете продрогшие и часто промокшие. В этот год сентябрь и октябрь были удивительные, но в августе часто шли дожди.

Мы сопротивлялись, как могли, но надо было искать решение. Долго взвод так существовать не мог. Приходилось определять и свою личную судьбу. У меня было много влиятельных знакомых на Украине. Устроиться мог. И раньше я служил в Курине не потому, что деваться было некуда. Еще при Центральной Раде намечалось мое назначение представителем украинской армии при штабе VIII германского корпуса в Харькове. Должность, совершенно не соответствовавшая моему возрасту и чину, но времена были полуреволюционные. Лица, которые хотели устроить это назначение, находили, что я хорошо сговариваюсь с немцами и смогу быть в этом отношении полезным в масштабе, больше чем уездный.

О возможностях, открывшихся в первые дни после переворота, я уже говорил, также как и о предложении начальника дивизии и командира артиллерийской бригады. Одно время я согласился было на предложение определить меня членом-приемщиком военно-ремонтной комиссии. Это была пора моих лошадиных увлечений. Опять-таки мне доказывали, что следует применить свои знания в большем масштабе. Может быть, в конце концов назначение и прошло бы, но я не хотел ждать.

Единственный раз я сам сделал попытку «устроиться», вернее, только навел справки на этот счет. Когда был в отпуске в Каменец-Подольске, узнал, что там формируется кадр конно-артиллерийского дивизиона. Захотелось пожить со своими. С 1913 г. я провел дома только несколько месяцев. Маме очень понравился мой план. Я подумал о том, что можно будет перетянуть в Каменец многих наших людей из Лубен. Явился в управление дивизиона. Приняли очень любезно. Офицеры лубенского артиллерийского взвода носили форму украинской конной артиллерии. Думаю, что с некоторым правом во всей Украинской державе, кроме конно-горной батареи Запорожской дивизии, наш взвод был единственной конно-артиллерийской частью, существовавшей на бумаге. Однажды генерал-инспектор украинской кавалерии, прибывший в Лубны, пожелал произвести осмотр конского состава. Была устроена выводка. Похвала старого кавалерийского генерала была мне очень приятна.

В Каменец-Подольске мой доклад о лубенском взводе выслушали очень внимательно, но сейчас же спросили о самом важном – как я был выпущен из Михайловского артиллерийского училища – по конной артиллерии или нет. Узнав, что я полевой

артиллерист старой армии, вежливо отказали. Принимают только коренных конников. Из Каменца я уехал ни с чем. Можно было, правда, произвести нажим в Киеве, но навязываться мне, понятно, не хотелось.

Во всяком случае, я мог выбирать. Ресторанная карьера мне не грозила. После некоторых колебаний решил, что под «чужим флагом» больше служить не буду. Запишусь в Южную армию. В числе обстоятельств, побудивших меня принять это решение, был и разговор с одной девушкой, с которой я был очень дружен в гимназические годы. Увидев меня в форме украинского конного артиллериста, она сказала:

– Знаете, эта голубая кокарда очень красива, а все-таки форма русского офицера больше бы к вам шла…

Глава XIX

Почему я решил поступать в Южную армию, только начинавшую формироваться, а не в Добровольческую, уже покрытую славой, в армию, где было столько притягивавших нас дорогих имен?

Обе ставили себе одинаковую цель – освобождение России от большевиков.

Разница была в двух основных пунктах:

1. Внешняя ориентация.

2. Форма правления в будущей России.

Я сознательно ставлю вопрос об ориентации на первый план. Для меня лично, как и для многих других офицеров, записавшихся в свое время в Южную армию, монархический лозунг, провозглашенный руководителями, играл второстепенную роль. В 1918 г., как и сейчас, пятнадцать лет спустя, я довольно безразлично относился к вопросу о форме правления, хотя лично склонялся к парламентарной монархии. В принципе ничего не имел и против буржуазно-демократической республики с президентом, наделенным сильной исполнительной властью. Однако при чрезвычайно-пессимистической оценке русских масс, которые я считал в общем негосударственными, верить в возможность осуществления республиканской формы правления было трудно. Вопрос о форме правления был и остается для меня вопросом не принципа, а государственной целесообразности. Ни в монархическую, ни в республиканскую мистику я не верил.

Точно так же на проблему «ориентации», которая играла такую большую роль в 1918 г., я смотрел с точки зрения целесообразности, но в противоположность монархии, относившейся для меня к области весьма отдаленных целей, вопрос о том, следует ли опираться в борьбе против большевиков на союзников или на немцев, требовал немедленного решения. Лично я не мог удовлетвориться мыслью о том, что умные и опытные люди уже решили его. Чтобы рисковать чужой и своей жизнью под знаменами добровольцев, надо было самому считать правильным путь, избранный Добровольческой армией.

Я считал его неправильным и в Добровольческую армию не поехал.

Пришел к этому решению не без внутренней борьбы. Сердцем тянулся на Кубань.

В этой работе я до настоящего времени умышленно лишь вскользь упомянул о росте «русских» настроений в Курине. В главах, посвященных Украине, хотел оттенить «украинскую»

сторону наших настроений и переживаний. Было бы, однако, неправильным считать, что мы в Курине жили только интересами сначала Украинской Народной Республики, потом гетманской Державы. Как только установилась непосредственная связь с Доном и Кубанью, добровольческая борьба стала центром, вокруг которого вращались и мысли и разговоры большинства офицеров и интеллигентных козаков. Крестьяне – и старые солдаты, и хлеборобская молодежь – интересовались борьбой Добровольческой армии и Дона значительно меньше.

Приведу теперь несколько своих записей 1921–1922 гг., касающихся «русских» настроений в нашей казарме. В них довольно много излишне громких слов, но десять лет тому назад почти все мы, молодые офицеры, так писали о добровольческой борьбе.

В казарме все чаще и чаще слышались иные речи и иные песни[264]. Все больше и больше думала молодежь о Добровольческой армии. Крепло убеждение – настоящее все-таки там. Здесь в конце концов жалкая комедия, не то смешная, не то опасная для борьбы за Россию[265]. Здесь приходится притворяться, хитрить. Это тяжело и гадко.

Настоящее там – на Дону и Кубани. Там Россия, там борьба, смелая, открытая… Там тот, чье имя, наряду с именем Корнилова, стало святыней русской молодежи – генерал Алексеев. Они[266] никогда не видели старика, но любят его горячо, нежно.

Душу свою отдадут за него.

Корнилов… Он лозунг, знамя: боевой клич, последнее слово умирающих. Долго не верили его смерти. Не хотели верить. А может быть, все-таки жив, может быть, неправда. Ведь столько раз уже писали… Пришел номер «Киевлянина». На первой странице черная рамка. «Лавра Георгиевича Корнилова». Значит, правда… Сразу затихли. Долго стояли убитые, жалкие. Варшавский гимназист лег на кровать, уткнул лицо в подушку. Все кончено. Убит Корнилов.

Когда убили государя, жалели все, возмущались, сжимали кулаки, но никто не заплакал. Была тихая скорбь, у некоторых стыд за русское стадо, но не было мучительной, острой боли, как от смерти Корнилова.

Приезжали из Добровольческой армии в отпуск и на поправку офицеры. Ходили по улицам в русских погонах с трехцветным шевроном на рукаве. В Лубнах германцы их не трогали – привыкли к виду старой русской формы, так как в Курине почти все ее носили, пока не была введена гетманская. Молодежь смотрела на этих офицеров чуть не с благоговением.

Был тогда героический период Добровольческой армии. От рассказов приезжавших появлялась дрожь восторга. Говорили о том, как десятки дрались с тысячами, как, не сгибаясь и не ложась, ходили слабые добровольческие цепи в атаку на матросские пулеметы. Рассказывали, что капитаны и полковники служат простыми рядовыми, убирают лошадей, а в бой все идут с почти религиозным энтузиазмом.

Становилось стыдно сидеть в Курине. Меня все чаще и чаще просили учащиеся:

– Господин поручик, поедем в Добровольческую армию, нечего здесь больше делать.

Другие выражались энергичнее:

– Наплюём на украинскую лавочку и уедем на Дон!

Не все, правда, хотели ехать. Осень подходила – поступать теперь в армию, значит, терять учебный год. Многие и этого боялись. Потом я часто наблюдал – жизнью рисковали легко и охотно, а над потерей года сильно задумывались.

Будет или не будет существовать дальше Куринь, надо спешить с отъездом на Дон. В восемнадцатом году чаще всего так и говорили – «ехать на Дон», а не ехать в Добровольческую или какую-нибудь другую армию.

Итак, всей компанией на Дон, но куда же именно?

Добровольческая армия была заветной мечтой большинства, но проехать туда трудно, в особенности сразу нескольким десяткам человек. Денег нет, и немцы не пропустят. Кажется, на самом деле проезд был значительно легче, чем мы тогда думали.

Вопрос об ориентации я тоже изложу, пользуясь моей первоначальной записью, как значительно более близкой к описываемым событиям.

Южная армия формировалась при деятельной поддержке немцев. Впрочем, не все еще, кажется, об этом как следует знали. Я лично знал превосходно, что это так и, тем не менее, после некоторых колебаний решил предложить моим артиллеристам ехать именно туда, а не в Добровольческую. Потом я жестоко раскаивался, но в августе действовал вполне сознательно и искренне верил, что, несмотря на весь героизм Добровольческой армии, будущее принадлежит все-таки не ей.

Так думали не одни только такие молодые офицеры, как я. Очень сильно было тогда среди военных, оставшихся на Украине, убеждение в том, что большевиков сможет победить только такая армия, которую будут поддерживать германцы. Отсюда делали вывод – раз генералы Алексеев и Деникин по-прежнему остаются верными союзниками и не идут ни на какой компромисс с германцами, значит, успеха они не добьются[267].

Мы были попросту загипнотизированы видом немецкой армии, которую так близко наблюдали и все больше и больше начинали уважать».

После краха России очень многим из нас победа союзников казалась совершенно невозможной. Раз неизбежно победят Центральные державы[268], значит, и борьба с большевизмом должна вестись в полном согласии с ними. Офицеры были уверены, что после военного крушения России большевики больше Германии не нужны И напротив, для нее выгодно падение советской власти. Судя по мемуарам германских генералов, мы совсем не так далеки были от истины, как считала другая часть военных.

Эта группа не хотела и думать о соглашении с немцами, по-прежнему считала их врагами, а к нам, поступавшим в армии, формируемые при поддержке Германии, относилась враждебно и, пожалуй, даже несколько брезгливо.

Не приходится отрицать, что те офицеры, которые считали нечестным «изменять союзникам» и признавали только Добровольческую армию, были в конце концов искреннее и прямее «южан» и «астраханцев». Ведь и мы в глубине души не могли все-таки забыть, как германцы помогали большевикам разваливать русский фронт. Иногда появлялось смутное сознание, что все лучшее идет к Деникину и Алексееву, а мы играем какую-то нехорошую роль… Играем сами и других за собой тянем – тех, которые еще не умеют самостоятельно рассуждать и берут пример с нас, офицеров.

Офицеры считали, что основной вопрос – это свержение большевиков, а установление монархического строя есть дело более или менее отдаленного будущего. Думали, что легче всего можно свергнуть красных при помощи германцев, и шли в те организации, которые последние поддерживали.

Южной армии, если мне удастся найти нужный материал, я, возможно, когда-нибудь посвящу отдельную работу. Здесь я хочу только еще раз подчеркнуть, что, по глубокому моему убеждению, никакой существенной разницы в политических взглядах офицеров «южан» и «добровольцев» не было. Лишь очень немногие выбирали Южную, потому что ее формировали открытые монархисты, или Добровольческую из-за того, что ее руководители оставляли вопрос о форме привлечения открытым. Ясный водораздел существовал только в вопросе об ориентации (я, конечно, все время имею в виду лишь офицеров, ехавших в Южную армию по идейным соображениям).

Среди учащихся попадались, правда, непримиримые враги германцев, но их было мало, гораздо меньше, чем среди

офицеров, может быть, потому, что они не пережили развала фронта.

Гимназическую молодежь более всего привлекал в Южную и Астраханскую армии как раз тот монархический лозунг, к которому большинство офицеров, поступавших в эти армии, относилось очень сдержанно[269].

…Многим казалось все легко и просто. Был царь, при котором Россия была великой державой; им лично и их близким тогда жилось хорошо. Произошла революция, и все пошло прахом. Вывод простой – надо немедленно восстановить монархию, и все опять пойдет хорошо. Можно ли сейчас это сделать – над этим мало кто задумывался…

Летом восемнадцатого года вспышка монархических чувств у части учащейся молодежи, несомненно, была. Да и в семнадцатом, во время памятной манифестации в Киеве тамошние гимназисты выкинули флаг с надписью «Да здравствует царь», что, конечно, по тем временам было даже и небезопасно[270]. Через год искренне обрадовались возможности открыто петь «Боже, Царя Храни» и сражаться за будущего царя. Бросились записываться в бюро Южной и Астраханской армий, как только они открылись по всем главным городам Украины.

Я не хочу, понятно, утверждать, что среди молодых офицеров, уезжавших «на Дон», не было убежденных и непримиримых монархистов. Конечно, были. Для некоторых из них Добровольческая армия казалась чересчур левой. Были и такие, которые считали и Южную слишком либеральной, так как и ее организаторы в принципе не отрицали конституционной монархии. Эти записывались в Астраханскую – считалось, что она за самодержавие. Символически разница между обеими организациями выражалась в том, что «южане» носили на рукаве шеврон из двух лент – национальной и т. н. романовской, в то время как шеврон астраханцев был только «романовских» цветов. Знатоки масонских дел, их и сейчас немало среди бывших военных, особенно в Югославии, – объясняли еще, что шеврон Добровольческой армии, несомненно, придуман «вольными каменщиками», ибо острие треугольника обращено вниз, а вот в монархических армиях шеврон правильный. В самых последних числах августа я опять съездил в Киев, чтобы точно разузнать условия поступления в Южную армию и откровенно поговорить с генералом Литовцевым. Зашел сначала в штаб, в то время еще немногочисленный. Он произвел на меня хорошее, деловое впечатление. Приятно было видеть офицеров и солдат в русских погонах. За чинами Южной армии было официально признано право носить русскую форму. На лестнице помещения, занятого

штабом, в числе прочих бумаг висело приказание обмениваться приветствиями с офицерами Украинской армии. Я получил объявления о формировании армии, бланки подписок и доверительный циркуляр о задачах, преследуемых организацией. В нем говорилось, что целью армии является «свержение большевиков и установление какой угодно формы правления, но непременно монархической[271]. Имелось также указание на то, что лица иудейского вероисповедания не принимаются.

Объявление-воззвание начиналось словами «На Дону формируется Южная армия для борьбы с большевиками…» О форме правления в нем ничего не говорилось. Что касается условий поступления, то каждый записывающийся обязывался прослужить шесть месяцев, по истечении которых он мог заявить о продолжении службы или вернуться «в первобытное состояние». Принимались лица не моложе 17 лет, не опороченные по суду. Они обязывались беспрекословно подчиняться воинской дисциплине. Из «завоеваний революции» было сохранено обращение к солдатам на «вы» и отмена титулований «ваше благородие» и т. д., кроме обычного «ваше превосходительство» при обращении к генералам.

Условия и порядки не отличались почти ничем – за исключением воспрещения принимать евреев – от того, что было принято в Добровольческой армии. Зато оклады были установлены гораздо выше, чем там. Сколько получали солдаты, не помню. Младшему офицеру, не занимавшему командной должности, полагалось 500 рублей[272]. Семейным полагалась прибавка. Армия, кроме того, предоставляла всем бесплатный проезд от пункта записи до станции Чертково, в окрестностях которой формировалась 1-я дивизия. На дорогу выдавались суточные.

Вручили мне и несколько номеров газеты «Наша Родина» – издания одноименного союза, формировавшего армию. Она произвела на меня очень неприятное впечатление своим ходульно-патриотическим стилем и явственным антисемитским налетом. Воззвания и циркуляры армии не содержали ничего политически для меня неприемлемого. В газете было нечто от «Союза Русского Народа». Больше всего, однако, меня интересовало, насколько серьезна вся эта организация и есть ли у нее деньги. Я собирался увезти с собой возможно больше людей. Опыт Куриня заставлял быть осторожным. Имена графа Бобринского и герцога Лейхтенбергского говорили за то, что Южная армия – дело серьезное. Зато меня очень смущал никому не известный журналист Акацатов в роли председателя «Нашей Родины». Мельком видел его в штабе. Получилось впечатление,

что Акацатов явно подражает Керенскому в костюме и в манере себя держать. Бритое лицо, краги, спортивная куртка, подчеркнутая решительность жестов. Во всем этом, конечно, не было ровно ничего предосудительного, но впечатление создавалось странное и несерьезное. Как-никак этот человек собирался формировать армию и спасать Россию.

Генералу Литовцеву я ничего не сказал о своих сомнениях относительно возглавления. Не зная внутриштабных отношений, не хотел делать неловкости. Об остальном поговорили откровенно. Генерал сказал, что Южная армия – серьезное предприятие[273].

Есть крупные средства. Об источниках их начальник штаба умолчал, но было ясно, что деньги дали немцы. Обеспечено получение оружия и обмундирования. Ехать можно хоть целым эшелоном.

Говорили и на общие темы. Мысли генерала сводились к тому, что Добровольческая армия, задумав освободить Россию, не может справиться и с одной Кубанью[274]. Союзники ей не оказывают никакой помощи. Будущее за германской ориентацией.

На другой день я заехал к Литовцеву на дом. Он занимал с женой комнату в дорогом частном пансионе. Опять заговорили о Добровольческой армии. Супруга генерала сказала, что Алексеев и Деникин борются за Учредительное собрание. Литовцев ее прервал:

– Ну нет… Это неверно. Агент нашей разведки был в штабе Добрармии и говорил с Романовским. Тот ему прямо сказал:

– Какие мы республиканцы, мы все монархисты…

На прощание генерал посоветовал мне еще раз приехать в Киев, когда я наберу желающих ехать в армию. Кроме того, он поручил мне приглашать докторов, фельдшеров, священников, военных чиновников, писарей – словом, «классных чинов», солдат и сестер милосердия, которых я лично знаю, и давать им рекомендательные записки в штаб корпуса от его имени[275]. Соответствующее распоряжение будет отдано.

Вернулся в Лубны. Разведка закончена. Надо действовать.

«Хожу в казарме с таинственным видом. Добровольцы сразу замечают.

– Зачем вы ездили в Киев, господин поручик?

Ничего не отвечаю. Вдруг жутко становится сделать последний шаг. Знаю, что через час-два многим из них предложу ехать на Дон. Предложу и, значит, позову умирать только начинающих жить… Знаю, что если не уедут со мной, то многие уедут и без меня. А все-таки жутко и жалко моих мальчиков[276]. Я знаю, что такое война.

Ну, нечего делать… Начну.

– Мосолов, пойдемте ко мне в комнату – мне нужно с вами поговорить. – Притворяю за собой дверь.

– Володя, вы обязаны пока никому не рассказывать то, что я скажу. Обещаете?

– Так точно…

– Я решил ехать на Дон.

– И я с вами, господин поручик… Наконец-то… – Кадет сразу вспыхивает, серые глаза еще ярче блестят. И вдруг весь тухнет, съеживается. – Только вот мама…

– Ну, подумайте, Володя. Я никого не неволю, но на вас я надеюсь.

Соглашаются один за другим. Князь Волконский, закадычный приятель Мосолова, худенький варшавский гимназист Д., который струсил за меня в ночь гетманского переворота, сумрачный юнкер Павлович – все хотят ехать.

И наш вахмистр – старый солдат и лихой конногвардеец Мандрыка. Брату пока ничего не говорю. Тяжело это…

Несмотря на просьбу держать пока наше дело в секрете, добровольцы не выдержали. Слишком хотелось сказать открыто – мы едем на Дон. Скоро все в Курине узнали о начавшейся записи. Вечером брат сказал мне с укоризной:

– Что же ты всем рассказал, а мне нет? Ведь я же пойду с тобой…

Я мог вести только предварительную запись. Никаких средств в мое распоряжение отпущено не было. Через несколько дней из Киева прибыл молодой офицер – начальник вербовочного пункта. По инструкции, прежде чем начать набор добровольцев, полагалось войти в связь с местной германской комендатурой.

Лубенский майор предоставил вербовщикам полную свободу действий. В крупных центрах открытой агитации вести не разрешалось. В Лубнах объявление «На Дону формируется Южная армия для борьбы с большевиками…» висело на двери канцелярии воинского начальника. Надо отдать справедливость командованию 12-й дивизии – и генерал Александрович, и его начальник штаба всячески шли нам навстречу. Не чинила никаких препятствий и державная варта. При сношениях с военными, состоявшими на официальной службе, и с чинами гражданской администрации и в Лубнах, и в Полтаве, куда мне пришлось съездить на несколько часов, я чувствовал, что в украинских генералах, полицейских и чиновниках прежде всего говорит чувство русских людей. Об одном исключении речь будет впереди.

Вербовочный пункт помещался в гостинице, где жил его

начальник. Двое его помощников разъезжали в русской форме по селам и вели агитацию среди крестьян. Кроме того, воззвания Южной армии вкладывались в номера местной газеты и рассылались по почте. Результаты получались относительно очень хорошие. Всего из Лубен и уезда в армию уехало значительно больше ста человек офицеров, старых солдат, учащихся и крестьянской не служившей молодежи. При привлечении людей в армию было необходимо сообщать не только условия приема, но и цели, которые ставит себе организация. В этом отношении не все обстояло нормально.

Один из организаторов союза «Наша Родина» герцог Г. Лейхтенбергский, в своих воспоминаниях[277], указав на невозможность в то время, по общим политическим условиям, открытой монархической пропаганды, говорит: «На деле, конечно, всем вступающим в организацию должно было и будет известно совершенно определенно, что цель нашей организации – свержение большевиков и установление затем в России конституционной монархии своими, русскими силами, без участия иностранных вооруженных сил».

В действительности в Лубнах, по крайней мере, с секретным циркуляром о целях армии знакомили лишь офицеров и юнкеров и вольноопределяющихся. Некоторые из простых солдат, особенно приезжавших из деревень, до последнего момента не знали, что поступают в монархическую организацию. В дело пропаганды, таким образом, невольно вносился элемент обмана, и на этой почве иногда выходили неприятные недоразумения. Надо, впрочем, сказать, что большинство простых людей, записавшихся в Южную армию, относилось довольно индифферентно к вопросу о форме правления. Тех из них, которые записывались по идейным соображениям (немало шло и профессиональных солдат типа ландскнехтов), привлекала возможность бороться с большевиками, а не программные лозунги. Изредка попадались среди крестьян и убежденные монархисты, но их было очень мало.

Никаких статистических данных, касающихся Южной армии, до сих пор не опубликовано. Очень сомневаюсь, чтобы они вообще могли сохраниться. Думаю поэтому, что будет небезынтересно использовать кой-какие цифры, которые дает уцелевший у меня «Именной список солдат и добровольцев, записавшихся на поступление в Южную армию с указанием о выдаче им разного рода денег и приложением разного рода документов с подписями. В него занесены собиравшиеся ехать с моим эшелоном, численно самым большим из отправленных лубенским бюро армии. Длинное название придумал наш писарь,

любивший точные определения. Всего в список внесено 55 человек. Кроме того, с эшелоном уехало трое офицеров, не перечисленных в списке. Записавшиеся на отправку распределяются так:

1) офицеров 4
2) юнкеров 1
3) солдат старой армии 22
4) не служивших раньше добровольцев:
а) вольноопределяющихся 7[278]
б) прочих 14
5) военнопленных австрийской армии 9
6) не выясненных 1
Всего 58.

Таким образом, наиболее многочисленную группу записавшихся составляют солдаты старой армии. Среди них семеро унтер-офицеров, что составляет треть группы.

Группа 4-а – вольноопределяющиеся – состоит почти целиком из учащихся средней школы. По учебным заведениям вольноопределяющиеся распределяются так:

студентов 1
кадет 3
гимназистов 3

Кроме того, в группе солдат старой армии имеется один вольноопределяющийся – бывший гимназист.

Группа 4-б – добровольцы не вольноопределяющиеся, состоит из учащихся школ, не пользовавшихся правами средних (духовное училище и городское училище). Этих «непривилегированных» учащихся записалось пять. Остальные – 9 – молодые крестьянские парни, в большинстве сыновья членов партии хлеборобов-демократов.

Что касается группы 5 – бывшие военнопленные австрийской армии – она состоит из солдат следующих национальностей:

сербов 2
чехов 1
галичан 2
мадьяр 2
невыясненной национальности 2

Все военнопленные люди неинтеллигентные.

Точных данных в отношении распределения записавшихся по сословиям у меня нет. Могу лишь отметить, что дворян среди них очень немного – 7 из 49 русских, что составляет 14 %. Большинство записавшихся на отправку – крестьяне. Почти 60 %, если не считать военнопленных.

Таким образом, состав партии в общем очень

демократический. В большинстве это мелкая городская и сельская буржуазия. В действительности из числа записавшихся уехало 39 человек, в том числе:

1) офицеров 4

2) юнкеров 1

3) солдат старой армии (в том числе один вольноопределяющийся) 13

4) не служивших ранее добровольцев:

а) вольноопределяющихся 6

б) прочих 12

6) б. военнопленных 3

итого 39.

Уехало значительно меньше старых солдат (13 вместо 22) и военнопленных (3 вместо 9). Из 9 не поехавших солдат старой армии мне только в отношении одного неизвестна причина отказа. Остальные – все нашего взвода, заявили, что не поедут, так как их товарища не приняли за то, что он еврей. Мне было очень тяжело отказывать этому превосходному солдату, прослужившему всю Великую войну и отлично зарекомендовавшему себя во взводе. Вдобавок писарь, не зная еще секретной инструкции, записал его в мое отсутствие одним из первых. Я пробовал настаивать на приеме в виде исключения, но начальник бюро не разрешил. Пришлось предупредить человека, желавшего драться за Россию, что для него путь в Южную армию закрыт. В результате отказалась ехать целая группа солдат, которые прослужили в Курине со дня его основания. Этот грустный случай тем более интересен, что, вообще говоря, антисемитизм, особенно среди простонародья, в Полтавской губернии был не менее силен, чем в остальной Украине.

Одного молодого хлопца не пустил отец. Двое не поехали по болезни. Шестеро военнопленных сами раздумали. Причина неявки двоих мне осталась неизвестной. Таким образом, мой эшелон принял несколько менее демократический по составу характер. Тем не менее процент крестьян, поскольку его позволяет установить мой список, очень высок – 52 %. В действительности он даже несколько выше, так как среди добровольцев, принадлежность которых к бывшим сословиям мне неизвестна, безусловно, были и крестьяне.

С организацией отъезда, несмотря на очень сочувственное отношение властей, работы было масса. Мне удалось выхлопотать 25 комплектов обмундирования для вновь поступающих. Генерал Александрович согласился выдать его из складов Куриня, отобранных штабом дивизии. Хотя и в Киеве, и на местах

говорилось, что обмундирование записывающиеся в армию получат на месте, но меня служба на Украине сделала недоверчивым. Хотел привезти людей одетыми и, как показали последующие события, не ошибся.

Еще труднее было с деньгами. Бюро оплачивало проезд и выдавало суточные, но, не получая содержания почти в течение двух месяцев, чины Куриня поиздержались и наделали долгов. Некоторым было бы очень трудно выехать из города. Надо было сделать попытку распутать недоразумение с ассигновкой на «Охоронную сотню». Капитан, командовавший Куринем, поручил мне съездить в Полтаву в штаб корпуса и интендантство. Последний раз пришлось надеть украинскую форму. Мы ходили уже в русской. К моему удивлению, провести ассигновку удалось в несколько часов. Я решил играть в открытую – доложил командиру украинского корпуса, для чего фактически нам нужны деньги. Старый генерал[279] немедленно положил соответствующую резолюцию. Не менее сочувственно отнесся и корпусный интендант. Когда я пришел в его управление через час, переассигновка уже была произведена. Формально следовало снестись с Киевом, но интендант решил на свою ответственность этого не делать. По закону бумаги должны были быть отправлены в Лубенское казначейство по почте. Чтобы избежать всякой проволочки, писаря с разносной книгой послали вместе со мной в почтамт. Начальник почтовой конторы, с которым я тоже поговорил начистоту, обещал, что пакет не будет задержан ни на один лишний час. Вечером я вернулся в Лубны, успел еще съездить на квартиру к начальнику почты и управляющему казначейством, так как присутствие кончилось, и заручился их обещанием выполнить все формальности без замедления.

Через двое суток поветовый староста Грачев и другие лица, добивавшиеся расформирования Куриня, узнали, что командующий «Охоронной сотней» получил из казначейства более 60 000. Во избежание всяких случайностей, всем чинам Куриня немедленно выдали недоплаченное жалованье и заплатили по счетам поставщикам. С точки зрения закона никто не мог наложить руку на эти деньги, но мы очень опасались беззакония.

История с проведением переассигновки в течение нескольких часов вспоминается мне всякий раз, когда о военных, служивших на Украине, начинают говорить, как об изменниках или полуизменниках. Стоило сказать, что деньги необходимы, чтобы люди смогли уехать на Дон, и украинская военно-чиновничья машина заработала с предельной скоростью. Вместе с тем этот маленький эпизод может служить примером того, насколько все-

таки жизнь на Украине в 1918 г. была упорядочена. Год спустя о подобной скорости нельзя было и мечтать, хотя бы потому, что поезда ходили, почти не придерживаясь расписания. Я отлично понимаю огромную разницу в условиях 1918 и 1919 гг., но тем не менее факт остается фактом. Аппарат управления в Украинской Державе был очень неплохо налажен. Как и многие другие, я был убежден в том, что его надо во что бы то ни стало защищать и сохранить[280].

Очень мне хотелось съездить проститься домой, но отлучиться я не мог. Постоянно возникали вопросы, требовавшие немедленного разрешения. Послал в Каменец-Подольск брата. С отцом так и не суждено было больше повидаться…

Все лето физически я чувствовал себя отлично по сравнению с гимназическими и студенческими годами, вообще очень окреп и поздоровел за три года, проведенных на военной службе. В конце июля меня, как и многих (в Курине одно время было 50 % больных), свалила испанка. После нее несколько дней чувствовал себя очень слабым, потом как будто все прошло. В конце августа по вечерам начала подниматься температура. Целый день я чувствовал себя сносно, много работал, ездил, ходил. К заходу солнца раскисал – голова горела, появлялась слабость, я с трудом заставлял себя не ложиться. Пришлось обратиться к врачу. Он ничего не нашел в легких, но все-таки заподозрил туберкулез. Кривая температуры очень его напоминала[281]. Посоветовал сделать исследование. Я отнекивался. Не хотел признавать себя серьезно больным. Доктор предупредил, что во всяком случае в таком состоянии ехать на фронт нельзя – все равно свалюсь. Я решил тогда попросить генерала Литовцева о назначении в штаб армии. Потом видно будет.

В начале сентября в последний раз поехал в Киев. Еще одна деталь, характерная для того времени. Ездил я всегда по «предложению литера А», выдаваемого канцелярией Куриня, из которого я формально еще не вышел. На этот раз я ехал в русской форме, но ни железнодорожная администрация, ни коменданты не нашли ничего недопустимого в сочетании украинского документа с золотыми погонами Финляндского дивизиона.

Киевский штаб за те дни, что я провел в Лубнах, стал значительно более многочисленным, и по числу посетителей чувствовалось, что организация разрастается. На лестнице и в канцеляриях было полно. Появлялись воззвания ряда ячеек старых пехотных и кавалерийских полков, офицеры которых решили восстановить свои части во вновь формируемой армии. Я помню объявление 13-го пехотного Белозерского генерал-фельдмаршала князя Волконского полка, Сводно-стрелкового,

Сводно-гренадерского, Сибирского батальона и ряда полков регулярной кавалерии.

Все эти части действительно были сформированы. Впоследствии, после расформирования Южной армии, перешли в Добровольческую и продолжали свою службу в ее рядах (кроме Сибирского батальона, почти полностью погибшего в Воронежской губернии).

В то время, как я ждал своей очереди в приемной, в нее вошел высокий полковник с флигель-адъютантскими вензелями, необычайно похожий на императора Александра II. Раздалась команда:

– Смирно, господа офицеры!

Все присутствовавшие, в том числе и генералы, вытянулись – это был герцог Г. Лейхтенбергский, фактический глава Южной армии. Генерал Литовцев встретил меня очень приветливо. И познакомил с графом Бобринским и Акацатовым. Затем сказал, что я, мол, доказал свое умение формировать добровольческую артиллерию и поэтому мне предполагается дать ответственное строевое назначение[282]. Я доложил, что в данное время мое состояние здоровья таково, что для боевой работы я не гожусь, и попросил о назначении в штаб (предполагался его отъезд в Воронежскую губернию). Генерал намекнул, что надо было сразу согласиться ехать в Киев. Сейчас все штатные места уже заняты. Подумав немного, начальник штаба предложил мне назначение на должность бригадного адъютанта 1-й артиллерийской бригады Южной армии. Предупредил, что работа предстоит большая и интересная, так как бригада будет состоять из 4 дивизионов легкой и гаубичной артиллерии. Ее управление фактически будет целым артиллерийским штабом, деятельность которого мне придется налаживать. Я согласился[283].

Мне дали бумагу в штабе дивизии, в которой говорилось, что генерал Литовцев просит назначить меня на такую-то должность[284], а приехавших со мной артиллеристов определить в один и тот же взвод. Начальник штаба сам отвез меня в автомобиле на вокзал. На радиаторе машины трепетал трехцветный вымпел. Мы были уже под русским флагом. На улицах попалось несколько офицеров в русской форме с шевронами Южной и Астраханской армий, козырявших генеральским погонам. На прощание Литовцев меня обнял. Велел писать по его частному адресу, если у меня или у моих людей возникнут какие-нибудь затруднения. Повторяю, несмотря на малодушный поступок в отношении меня в Лубнах, в который я тогда не верил, генерал Литовцев всячески хотел мне помочь и устроить мою личную судьбу.

Уезжал я из Киева окончательно успокоенный. Правда, громких имен в армии пока нет, но общее впечатление серьезное и спокойное. Много опытных боевых офицеров с большим командным стажем. Немало серебряных погон Генерального штаба. Есть из кого подобрать командный состав. Дело быстро растет. О начале формирования штаба Литовцев сказал мне не без горечи:

– Сначала никто не хотел ко мне идти…

Приближался день нашего отъезда. Начался удивительный сентябрь восемнадцатого года – горячий, безветренный, солнечный и немного грустный. Ремарк нашел на редкость удачное определение для этой осени:

– Дни стояли, как золотые ангелы…

Клены начали гореть осенним огнем, а жара была июльская. Люди, готовившиеся уехать на войну, не говорили этого вслух, но в глубине души хорошо знали, что этот сентябрь для некоторых из них последний.

Прозрачно желтеют заросли молодых берез. Щекочут лицо летучие паутинные нити. Хорошо, и совсем не хочется умирать. Не хочется и все-таки надо…

…Мы вернем орлу потерянные им короны. Над Зимним дворцом снова поднимется черно-желтый штандарт царей. Великая Россия придет…

И все-таки осеннее солнце ярко горит, плывут в воздухе паутинные нити и безумно не хочется умирать».

Каждый день я чувствовал, что моим людям, особенно новичкам, не бывшим под огнем, нелегко оторваться от привычной, любимой, раньше недооцененной жизни.

Все то же самое, что мои ровесники пережили года три-четыре тому назад. У многих появилась обостренная нежность к близким. Между собой мы и раньше жили дружно. Теперь, когда впереди была настоящая опасность и, может быть, смерть, в отношениях друг к другу появилась какая-то радостная нежность. Отпадала разница в образовании, воспитании, происхождении. Кадет Рюрикович и деревенский не очень грамотный парень Федор Ставицкий, которого я наметил себе в ординарцы, быстро и прочно подружились. Перешли на «ты». Все стали свои. Трудно передать словами это состояние, но для меня одно из самых волнующих воспоминаний военных лет – последние лубенские дни.

Некоторые матери отпускали своих сыновей охотно и спокойно. Все равно – рано или поздно туда уедут. Пусть лучше своей компанией. Другие не запрещали, но мучились.

Я часто бывал в гостеприимной семье бывшего командира

елисаветградских гусар полковника Мосолова. Старший его сын, двадцатилетний корнет уже был в Астраханской армии. Младший – Володя должен был ехать со мной. Его мать, когда часами говорила со мной, не плакала и голос у нее не дрожал, но от этого мне еще тяжелее было сидеть в маленькой голубой гостиной Мосоловых.

– Не могу помириться с мыслью, что моего Володю могут убить… Думаю о том, что мой мальчик будет лежать где-нибудь под дождем грязный и вшивый. Понимаете, не могу его себе представить вшивым…

Было мучительно, когда она попросила меня уговорить Володю остаться в Лубнах. Сказала, что я единственный человек, которого он послушает. Я подумал о том, что, если отговаривать лучшего нашего наездника и гимнаста, что же тогда делать с остальными. У них тоже есть матери… Сказать нет – у меня не было духу. Я молчал.

– Ну, значит, судьба…

Переменил разговор. Она рада, что сын едет с товарищами и со мной, а не один. В тот вечер Володи дома не было. А. П. рассказывала мне о его детстве. Ушел я с жутким чувством. Провожая меня, перед тем как открыть дверь, А. П. сказала, как всегда внешне спокойно:

– Мне страшно… Чувствую, что над Володей стрясется беда… Когда-нибудь припомните наш разговор. Поверьте, Николай Алексеевич, чувство матери не обманывает…

Я не верю в предчувствия, но странные все-таки вещи бывают… Через три недели Володя умер, не успев даже побывать на фронте. Погиб от брюшного тифа[285], несмотря на крепкий молодой организм, домашнюю обстановку и уход трех врачей.

Нас уже не было тогда в Лубнах».

Я зашел к Мосоловым проститься накануне отъезда. Это была первая неделя болезни Володи. Ничто не предвещало печального конца, но я все-таки с тревожным чувством поцеловал моего семнадцатилетнего друга. Когда мать вышла, он заговорил о смерти. В 1919 г. А. П. Мосолова рассказала мне, что в предсмертном бреду Володя все время обращался ко мне. Умирающему казалось, что он ранен в живот. В промежутках между стонами повторял:

– Господин поручик, я не брошу поста… не уйду… не уйду… не брошу…

Володю похоронили рядом с его ровесником – хуторянином, убитом в бою под Денисовкой. Могила безымянная. Мать побоялась сделать надпись.

За несколько дней до нашего отъезда начались прощальные

«объединения». Немало денег осталось у содержателя единственного хорошего в городе ресторана, общего приятеля и кредитора «Давида». Заработали и немецкие солдаты, наши соседи, охотно продававшие свой шнапс. Порой чувствовался немалый надрыв в этих прощальных ужинах, но обыкновенно они проходили весело и неизменно заканчивались, когда меня не было, пением «Боже Царя Храни». В конце концов начальник державной варты, бывший пристав, сказал мне, улыбаясь в усы, но довольно настойчиво:

– Я сам монархист и вполне ваших людей понимаю, но знаете, они все-таки ставят меня в трудное положение… Вчера в половине двенадцатого ночи вышли от «Давида» и запели гимн под окнами повитового старосты.

Я предупредил всех, чтобы больше этого не было. Могут выйти неприятности. Сам я очень не любил установившегося в 1918 г. обыкновения – как выпивка, так гимн[286].

Состоялся у «Давида» и один почти официальный ужин. Нас провожали офицеры германской гаубичной батареи. Пригласили Овсиевского, меня, всех юнкеров и вольноопределяющихся, которых ближе знали. Сами привели фельдфебеля и двух унтер-офицеров поинтеллигентнее. Когда был разлит мозельвейн, поднялся капитан Артопеус:

– Будущему русскому царю hoch! hoch! hoch!

Наши закричали ура. Зазвенели бокалы чокавшихся немцев и русских. Затем все сели. Наступила тишина. Я мысленно досчитал до пяти и опять встал:

– Его Величеству Императору hoch! hoch! hoch!

Провозглашая тост за императора Вильгельма, мне опять захотелось потянуть себя за волосы, чтобы убедиться, что это не сон. В конце концов, однако, я ведь предложил выпить за здоровье главы государства, солдаты которого бывали в моем подчинении… Сказав в марте **а**, пришлось в сентябре дойти до **z**.

С моими приятелями артиллеристами гаубичной артиллерии я много и откровенно говорил на прощание. Они, как и другие германские офицеры, с которыми мне приходилось встречаться, отлично относились ко всем, записывавшимся в антибольшевицкие армии. В 1918 г. на Украине мне не раз приходилось слышать, что немцы надевающих русскую форму уважают больше, чем носящих украинскую. Утверждать, что такой взгляд действительно существовал в германской армии, я не могу. Непосредственно от немцев этого не слышал, несмотря на очень хорошие с ними отношения. Во всяком случае и безотносительно, их отношение к офицерам и добровольцам южнорусских армий было прекрасным. В этом смысле Добрармия,

вопреки распространенному взгляду, не составляла исключения. У меня лично получилось впечатление, что немцы относились к армии генералов Алексеева и Деникина враждебно лишь постольку, поскольку последняя была враждебна Германии. Там, где добровольческие офицеры держали себя сдержанно и не вели пропаганды против немцев, никаким репрессиям они не подвергались. Примером могут служить Лубны. Во второй половине июля на улице начали появляться отпускные добровольческие офицеры (например, старший брат поручика Овсиевского), ходили в форме с шевронами Добрармии, и никаких мер против них комендатура не предпринимала.

Зная, что эшелонов Южной армии германцы не обыскивают, я решил увезти с собой как можно более военного снаряжения. В штабе армии в Киеве говорили, что на месте части получат все необходимое, но мне все-таки казалось вернее захватить все, что можно. Куринь все равно долго существовать не может. Мы надеялись с Овсиевским, что наш артиллерийский взвод удастся обратить в своего рода запасную часть Южной армии. Я еду с первой партией, а Овсиевский тем временем будет обучать вторую и приедет на Дон позднее. Пока не настанут холода, в казармах жить можно.

Постепенно мы начали упаковывать и размещать по мешкам и сундучкам более мелкие, но ценные предметы – пулеметные ленты, всякого рода телефонное имущество, катушки с проводом, запасные части для пулеметов, наборы инструментов, резиновый клей, машинки для набивки лент. Я не решился только брать бывших в моем ведении подрывных материалов. Обращаться с ними не умел и опасался несчастья. Белье и обмундирование почти полностью опечатал еще раньше штаб дивизии, но чисто военного имущества у нас еще много было на руках. В особенности мне хотелось увезти многочисленные и совершенно исправные телефонные аппараты, которых и в условиях нормальной войны всегда не хватало. Собственноручно упаковал две прекрасные центральные станции и держал их у себя в комнате.

К сожалению, хотя служба в Лубнах должна была меня научить недоверчивости, все-таки я был по молодости лет чересчур доверчив. Все сочувствовали, все, казалось, помогали, и я почти перестал соблюдать тайну. Только, чтобы внешне дело обстояло прилично. Результаты не замедлили сказаться.

Однажды на рассвете меня разбудили громкие четкие шаги в коридоре. В дверь постучали. Вошел германский офицер-пехотинец с двумя вооруженными солдатами. В коридоре виднелись шлемы и штыки. Немец, которого я лично мало знал,

предъявил мне приказ коменданта о разоружении Куриня. Офицерам предоставлялось право сохранить все холодное и огнестрельное оружие, лично им принадлежавшее. Оставалось подчиниться. Я сдал замки и панорамы орудий, хранившиеся в моей комнате, так как во взводе оставалось уже слишком мало людей, чтобы постоянно выставлять караул. Сдал и телефонные централи. Немцы держали себя очень корректно. Ограничились тем, что взяли винтовки из пирамид и те предметы военного снаряжения, которые были на виду. Настоящего обыска не производили.

Перед тем как уйти, офицеры (потом подошел второй) выслали солдат из моей комнаты и в частном порядке показали еще одну бумагу. Это был краткий протокол совещания в комендатуре, на котором присутствовали, кроме немцев, поветовый староста Грачев и представители штаба 12-й дивизии. Как оказалось, о разоружении ходатайствовал именно Грачев, мотивировавший свою просьбу тем, что якобы люди, расходясь из Куриня по домам, уносят оружие, которое затем попадает к бандитам. Он, вероятно, был уверен, что дело останется в тайне, но ошибся.

Чувствовалось, что германским офицерам самим было явно неприятно разоружать остатки части, столько с ними поработавшей. Лейтенант Х. позднее сам сказал мне с глазу на глаз:

– Ваш герр Грачев – большая жирная свинья…

Староста, во всяком случае, повел дело так, что отказать немцы не могли, хотя винтовки, если отдельные дезертиры-хлеборобы их и уносили, конечно, оставались для самообороны по хатам богатых крестьян, а не попадали в банды. Суть дела была, однако, вовсе не в этом. Пока Куриню не давали денег, староста надеялся, что организация умрет естественной смертью, а имущество перейдет к варте и жандармерии. Грачеву очень хотелось иметь в своем распоряжении полицейский артиллерийский взвод. Получение 60 000 из Полтавы очень встревожило и его и других противников Куриня. Они решили, что отряд, видимо, продолжают поддерживать сверху. Вдобавок, благодаря моей неосторожности, ротмистру Белецкому стало известно, что мы намереваемся увезти телефонное имущество, которое тоже хотели использовать для нужд полиции. Белецкий (он в частном разговоре сам не постеснялся мне сказать, что такие вещи, мол, надо делать осторожней) немедленно сообщил кому следует. Решили, раз не удается ликвидировать Курень украинской линии, использовать немцев. Однако германцы, разоружив нас, не принимали никаких мер к отысканию

припрятанного телефонного имущества. О том, что оно у меня, они, вне всякого сомнения, знали. Тогда Грачев прислал ко мне начальника державной варты с устным ультиматумом – или сдать аппараты, или он своей властью не выпустит моего эшелона из Лубен. Бывший биржевой маклер, надо ему отдать справедливость, действовал решительно. Пришлось дать распоряжение снести аппараты из города к немцам, под охраной которых находилось все отобранное имущество. Три станции, в том числе лучшую централь, мне все-таки удалось получить обратно. Мой приятель лейтенант Х., пользуясь тем, что опись имущества еще не была составлена, сам мне их принес.

Само собой разумеется, что после этой истории я не сделал Грачеву прощального визита, хотя раньше наши отношения были очень хорошие. Не думал представляться и Александровичу, но начальник дивизии сам выразил желание меня видеть. Пожелал мне и моим людям счастливого пути и всякого успеха. Я уже говорил о том, что и в эту последнюю с ним встречу генерал уговаривал меня остаться в Лубнах и поступить в его дивизию. Между прочим, сказал:

– Здесь уже все налаживается и положение прочное…

Спросил еще, подал ли я рапорт об исключении с украинской службы или, уезжая в Украины, не считаю нужным этого делать. Когда я доложил, что не могу подать такого рапорта, так как официально никогда на украинской военной службе не состоял, Александрович изумился:

– О чем же думал генерал Литовцев?.. Почему он не возбудил ходатайства…

Мне было бы грешно поминать злом начальника 12-й дивизии. Он всемерно добивался уничтожения Куриня, но лично ко мне был очень внимателен. Месяца через три после нашего отъезда генерала Александровича вместе с адъютантом расстреляли петлюровцы. Ротмистр Белецкий ценой тяжелых унижений купил себе жизнь. Судьба С. Н. Грачева мне неизвестна. Кажется, ему удалось вовремя бежать. Артиллерийский взвод побитовому старосте все-таки удалось к себе заполучить. Овсиевский предпочел остаться в Лубнах и командовал ими вплоть до падения гетмана. Насколько мне удалось потом установить, наши пушки были брошены в бою с повстанцами, когда положение стало безнадежным.

К половине сентября все было готово. Вернулись из отпуска иногородние, которым я разрешил съездить на несколько дней домой. Все дали установленной формы подписку[287]. Среди хлеборобов оказался один неграмотный. Впоследствии этот бойкий парень во время эвакуации Крыма, отстав от своей части,

реквизировал в Симферополе пару лошадей из пожарной команды, приехал в Севастополь, когда наши корабли были уже в море, сел на французский миноносец и через Константинополь одиночным порядком сумел добраться до Галлиполи.

Наступило утро отъезда.

Я обошел последний раз нашу казарму, плац. Спустился к Суле взглянуть на лошадей, пасшихся на монастырском лугу. Грустно было оставлять мою Мэри.

Подъехал взводный экипаж, отобранный в свое время у предводителя повстанцев Дробницкого. Тяжелые вещи заранее были отосланы под охраной на станцию. Колеса сначала катились по пыли, потом задребезжали по мостовой. Лубенская жизнь кончалась, но я чувствовал, что никогда не забуду этого города.

Один за другим подъезжали к вокзалу извозчики, вылезали из пролеток добровольцы с корзинками и чемоданами, старые солдаты с сохранившимися еще с германской войны вещевыми мешками здоровались со мной и тащили свои вещи в «почікальню»[288]. Одни приезжали с веселыми, возбужденными, праздничными физиономиями. Это были самые молодые. У тех, что постарше, лица были серьезнее, строже. Некоторые хмуро посматривали по сторонам. Только что простились дома с родными. Но в «почікальне» встречались с товарищами, и сразу всем становилось легче. Через полчаса в маленьком зале стоял веселый гул. Ждать пришлось долго. Прояснились глаза и у тех, которые накануне тянули шнапс, мозельвейн, гетманскую водку и приехали на вокзал с бледными, сонными физиономиями.

– Господин поручик!

– В чем дело?

– Германский комендант станции предлагает прицепить наши вагоны к их эшелону.

Иду благодарить за любезность. Немец в свою очередь желает счастливого пути и успеха».

Приехал нас проводить какой-то старичок-генерал, надевший ради этого случая золотые погоны. Раньше я его встречал на улице в стареньком беспогонном кителе. Нас всех это очень тронуло. Лично никто генерала не знал. Незадолго перед отходом поезда явился адъютант коменданта Лубен и передал мне от имени майора, что он желает всем едущим счастливого пути и счастливого возвращения домой. Генерал Александрович тоже прислал своего адъютанта проводить нас и пожелать всего хорошего всем нашим – и офицерам, и солдатам приятно. На прощание столько внимания со всех сторон. И русский генерал, и украинцы, и немцы… Начальник станции пригласил к себе офицеров перекусить. Оказался настоящий завтрак с гетманской

водкой.

Подали товарные вагоны. Выстраиваю добровольцев на перроне. Делаю перекличку…

Юнкер Лисенко щелкнул затвором фотографического аппарата. Через десять минут едем.

По вагонам!

Германские часовые оттесняют провожающую публику. Какая-то гимназистка протягивает цветы. Громкий говор у переднего вагона. Женский голос выкрикивает:

– Костя, милый, не пущу… не пущу…

Высокая худая старушка обняла моего единственного студента Костю Шулкова. «Он ехал тайком, зная, что дома не согласятся. Отправился якобы в Киев, но ночью пробрался в казармы и несколько дней никуда не выходил. В последний момент, когда уже ехал на вокзал, увидела кухарка, возвращавшаяся с базара.

– Вы начальник эшелона?

– Так точно.

– Зачем вы приняли моего Костю? Он еще ма-аленький…

У старушки дрожит подбородок и глаза полны слез. Показываю инструкцию. Принимать не моложе 17 лет. Разрешение родителей не требуется. Шулкову двадцать первый.

– Если ваш сын не пожелает ехать, я уничтожу его подписку, но говорите с ним сами…

Отвожу взволнованного красного Костю в сторону.

– Пройдите с мамой на вокзал и решайте скорее. Остается семь минут.

Перед самым отходом поезда Шулков вернулся в вагон уже спокойный и радостный. Они прошли на квартиру начальника станции и там, видя, что уговоры не действуют, старушка благословила «маленького Костю» и распрощалась с ним»[289].

Подходит германский эшелон. Нас прицепляют к нему. Последние прощальные поцелуи. Свисток – и тихо поплыла платформа. На ходу выпрыгивают последние провожающие. Крики «ура». В обоих вагонах одновременно запели «Боже, Царя Храни».

Быстрей и быстрей идет поезд. Здесь спуск к Суле, и вагоны начинает бросать из стороны в сторону. Мелькают багрово-красные клены, темная зелень дубов. В открытые двери прорываются яркие блики солнца. Уже далеко позади осталась станция, гимназистки, старик-генерал, германские солдаты, а добровольцы все поют и поют «Боже, Царя Храни», потом «Славься, славься…» и опять гимн. Вот опять виден их родной город, весь белый, радостный. Среди зелени парка горят купола

монастырской церкви, недалеко красные корпуса казарм.

– Смотри, Володя, вот наш дом виден… Гимназия… Окружной суд…

– Прощай, Лубны!

– Хлопцы, а ведь некоторые из нас не вернутся…

– Мишка, опять заскулил.

– Господа, споем на прощание: «Ще не вмерла», последний раз…

– Ну, это не стоит… Гимн, господа!

Опять поют. Потом все понемножку затихают. Хочется лечь, заснуть после встряски последних часов. Скоро в вагоне сонное царство. Только новички никак не могут приспособиться к лежанию на полу, перестилают шинели, подкладывают поудобнее мешки, переворачиваются с боку на бок. Потом и они кое-как засыпают.

Харьковский вокзал. Когда поезд подходил к перрону, добровольцы опять запели гимн. Публика смотрит с любопытством. Некоторые снимают фуражки.

– Смотрите, господа, и дядьки[290] шапки снимают!

В нашем эшелоне есть уже, к сожалению, дезертир. Один солдат, записавшийся в деревне и толком не знавший, что такое Южная армия, слез и не вернулся. Оставил в вагоне довольно грамотную записку: с монархистами ехать не может.

На украинской станции приятно продемонстрировать русские погоны. На перроне устраиваю перекличку, потом рядами проходим через пассажирский зал. Вартовый подбегает спросить, кто мы такие. Козыряет и уходит.

Поезд на Миллерово, к которому прицепляют вагоны Южной армии, идет вечером. Оставляю караул у вещей. Остальным разрешаю идти посмотреть город. Русские погоны и шевроны здесь не редкость. Каждый день бродят по главным улицам такие же оживленные группы офицеров и солдат, направляющихся на Дон, и все-таки многие оборачиваются нам вслед, ласково смотрят на русскую форму, расспрашивают, куда едем.

Гремя шашками по лестнице, поднимаемся в «Каплю молока». Кафе расположено во втором этаже. Со мной юнкер Павлович, два кадета, варшавский гимназист Д. и двое молодых деревенских парней. Они, видимо, страшно довольны, что нацепили длинные шашки и гуляют по Харькову наравне с паничами. Растопырив пальцы, усердно козыряют всем, у кого форма хоть немного похожа на офицерскую. В кафе на них забавно смотреть. Чтобы не отстать от нас, тоже заказывают шоколад. Никогда раньше в жизни его не пили.

Мне было приказано явиться в Харьков в бюро Южной армии.

Оно занимало несколько комнат в хорошей гостинице. Начальника бюро, пожилого полковника и его адъютанта я хорошо знал по Куриню. Встретились как старые знакомые. Одно только обстоятельство чрезвычайно меня удивило. Начальник бюро прежде всего приказал мне сдать ему все имеющееся в эшелоне военное имущество, кроме оружия. По его словам, в армии установлено такое правило и оно для всех обязательно. Имущество сортируется и затем направляется на место формирования частей. Этот порядок мне показался порядочной нелепостью – не проще ли сдавать все прямо в Воронежской губернии, чем в Харькове. Однако приказание есть приказание. Скрепя сердце принес свою централь, еще два аппарата, кое-какую мелочь, захваченную из Лубен. По установленному правилу каждый, кто представил военное имущество, получал от армии небольшую денежную премию. Раз такое правило существовало, отказываться не было основания. Мне выдали под расписку, если память не обманывает, 200 или 250 «карбованцев».

Когда я доложил потом в штаб первой дивизии, что у меня было кой-какое телефонное имущество, но мне приказали сдать его в харьковское бюро, начальник штаба крайне удивился. О таком распоряжении в штабе ничего не знали. Телефоны были крайне нужны. Ни одной централи не имелось. Куда девались добытые мною у немцев аппараты, я так и не узнал. Во всяком случае, в Южную армию они не попали.

Вечером двинулись дальше. В Харькове к моей группе присоединилось еще человек пятнадцать. Мы заняли целый вагон третьего класса. По специальному соглашению Южной армии ежедневно предоставлялось в зависимости от числа едущих один или два, иногда и три вагона.

Донская граница. На перроне маленькой станции железнодорожные жандармы в старой форме с шевронами, красными шнурами и медалями за беспорочную службу. Опять выстраиваю своих на платформе.

– Смирно, господа офицеры!

– Всевеликому войску Донскому громкое ура!

Долго не прекращается восторженный крик. Офицеры держат под козырек. Изваяниями стоят огромные жандармы Российской империи с медалями за беспорочную службу царям на груди.

«Каким далеким, наивным временем кажется теперь восемнадцатый год…

…Увы, колесо вертится только в одну сторону к России новой, России неведомого будущего, а старой, милой, привычной России никакая сила не вернет"[291].

Я формулировал свои выводы по мере того, как писал

настоящую работу.

Думаю, повторять их было бы излишним. В заключение хочу только еще раз подчеркнуть свое основное впечатление от жизни и военной работы на Украине в 1918 г.

Самостийная Украина длительно существовать не может и, надо надеяться, существовать не будет. Это вопрос жизни или смерти Российского государства.

Однако борясь, возможно даже с оружием в руках, против украинских самостийников, не надо забывать, что Украина-то все-таки существует. Можно называть ее Малороссией или любым другим именем, суть дела не в этом. Надо так или иначе дать выход областному патриотизму – он гораздо почвеннее и сильнее, чем многие думают. Ссылка на то, что массам Украина чужда, ровно ничего не доказывает. Великая Россия, за которую мы умирали, им тоже, в общем, была чужда.

Повторяю, самостийная Украина для меня обозначает войну до последней возможности, но автономия Украины мне казалась и кажется государственно целесообразной и необходимой.

В Добровольческой армии много раз приходилось спорить на эту тему. В отношении к украинскому вопросу вообще ясно чувствовалась разница между «старыми добровольцами» и офицерами, влившимися в Добровольческую армию из Южной и Астраханской или служившими раньше у гетмана. Первые в большинстве случаев не могли спокойно слушать самого слова «Украина». У вторых с Украинской державой было связано слишком много личных воспоминаний, чтобы огулом все отрицать и все осуждать.

Я лично принадлежал и принадлежу к числу тех, которые считают украинскую политику генерала Деникина одной из самых больших ошибок, которые он совершил. У его преемника, генерала Врангеля, отношение к Украине, как известно, было совершенно иным. Широкий имперский взгляд покойного главнокомандующего диктовал ему новые пути борьбы и строительства Российского государства.

К сожалению, было уже поздно.

Прага, август 1932 – июнь 1933

Иллюстрации

Родители Н. А. Раевского: Алексей Сергеевич и Зинаида Герасимовна Раевские

Бабушка Н. А. Раевского – София Павловна Маркова

Коля Раевский. 1902 г

Дети Раевские. Коля (стоит), слева направо – Соня, Леша, Сережа. 1902 г.

Коля Раевский. 1911 г.

Серія Б.

№ 13

АТТЕСТАТЪ ЗРѢЛОСТИ.

Данъ сей сыну дворянина Николаю Алексѣевичу-Раевскому, православнаго вѣроисповѣданія, родившемуся въ г. Петрозаводскѣ, Олонецкой губ., 30 іюня тысяча восемьсотъ девяносто четвертаго года въ томъ, что онъ, вступивъ въ Каменецъ-Подольскую гимназію 25 августа 1905 года, при отличномъ (5) поведеніи, обучался по 6 іюня 1913 года и кончилъ полный восьмиклассный курсъ, при чемъ обнаружилъ нижеслѣдующія познанія:

по Закону Божію отличныя (5)
„ Русскому языку отличныя (5)
„ Философск. пропедевт. отличныя (5)
„ Латинскому языку отличныя (5)
„ Математикѣ отличныя (5)
„ Физикѣ отличныя (5)
„ Математической географіи отличныя (5)
„ Географіи отличныя (5)
„ Исторіи отличныя (5)
„ Законовѣдѣнію отличныя (5)
„ Нѣмецкому языку отличныя (5)
„ Французскому языку отличныя (5)

Во вниманіе къ постоянно отличному поведенію и

Аттестат зрелости Н. А. Раевского

Слева направо: Сережа, Соня, Коля и Леша Раевские 1911 г.

Коля (сидит) и Леша Раевские. 1912 г.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОКЪ

Подпоручика Раевскаго.

Составленъ " " 1915 года.

I. Чинъ, имя, отчество и фамилія.	Подпоручикъ Николай Николаевичъ Раевскій
II. Должность по службѣ.	
III. Ордена и знаки отличія.	Св. Анны 4 ст. съ надписью "За Храбрость".
IV. Когда родился	"30" Іюня 1894 года.
V Изъ какого званія происходитъ и какой губерніи уроженецъ.	Сынъ потомственнаго почетнаго гражданина Осинскаго Уѣзда.
VI. Какого вѣроисповѣданія.	Православнаго
VII. Гдѣ воспитывался и что окончилъ.	Въ Каменецъ-Подольской Военной Гимназіи и въ Михайловскомъ Артиллерійскомъ училищѣ по I-му разряду.
Получаемое на службѣ содержаніе.	Въ бытность въ Михайловскомъ Артиллерійскомъ училищѣ содержанія не получалъ.

409

№ оп. VIII. 145766

95-238

Читалъ 4/5 "августа" ..... 1916 года

Подпоручикъ Раевскій

1-я страница Послужного списка Н. А. Раевского

IX.

ПРОХОЖДЕНІЕ СЛУЖБЫ

Когда въ службу вступилъ и производенъ въ первый офицерскій чинъ; производство въ слѣдующіе чины и дальнѣйшая служба: военная, гражданская и по выборамъ; переводы и перемѣщенія изъ одного мѣста службы или должности въ другую, съ объясненіемъ, по какому случаю: по волѣ начальства или по собственному желанію; когда отправился и прибылъ къ новому мѣсту службы; награды: чинами, орденами, знаками отличія; ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЕ рескрипты, ВЫСОЧАЙШІЯ благоволенія.

	Года.	Мѣсяца.	Числа.		Года.	Мѣсяца.	Числа.
Въ службу вступилъ по окончаніи курса наукъ въ Кишинев.-Родзянской гимназіи				Со старшинствомъ съ	1915	Авг.	1
Въ Михайловское Артиллерійское училище на основаніи положенія объ ускоренной подготовкѣ офицеровъ въ военное время въ спеціально военно учебныхъ заведеніяхъ съ восьмимѣсячнымъ ускореннымъ курсомъ" юнкеромъ рядового званія.....	1915	Янв.	15	На основаніи прик. по Военн. Вѣд. 1914 года за № 756 - пунк. 17. Привыкъ въ Запасной Мортирной Артиллерійской дивизіонъ и назначенъ въ 2-й батарею 1-го дивизіона Пр-зд по д-ну № 562 п. 12			
Произведенъ въ унтер-офицерское званіе.....		Янв.	23	На основаніи телеграммы Инспектора Артиллеріи Московскаго Военнаго Округа отъ 4-го Марта за № 728, переведенъ въ распоряженіе Штаба Кавказской арміи	1916	Мар.	6
По окончаніи 3 ускореннаго курса училища по I-му разряду ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ 1-го Января тысяча девятьсотъ пятнадцатого года произведенъ въ Прапорщики съ зачисленіемъ по полевой части Артиллеріи.				Приказъ по Запасному дивизіону № 91.			

Мортир. Артиллерійскаго дивизіона

Запасн. Артилл. Дивизіона

Прапорщикъ

2-я страница Послужного списка Н. А. Раевского

X

ПРОХОЖДЕНІЕ СЛУЖБЫ.

~~ВИДНОСТЬ ВНѢ СЛУЖБЫ.~~

а/во временныхъ отпускахъ: когда уволенъ, на какое время и явился ли въ срокъ, а если просрочилъ, то сколько именно и признана ли просрочка уважительною; б/ для пользованія ранъ: гдѣ именно, по чьему разрѣшенію, съ какого и по какое время; в/ въ бессрочномъ отпуску и запасѣ, на состояніи ли на гражданской или общественной службѣ: съ какого и по какое время; г/ по роду оружія, безъ исполненія службы; д/ въ плѣну, когда и гдѣ взятъ и когда возвратился на службу, и е/ въ отставкѣ: когда уволенъ и когда вновь прибылъ на службу.

	Года.	Мѣсяца.	Числа.		Года.	Мѣсяца.	Числа.
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 11-го Марта 1916г. переведенъ во 2-й Финляндскій стрѣлковый артиллерійскій дивизіонъ...	916	март.	11				
Назначенъ въ 3-ю батарею...	"	"	"				
Не прибывая, по случаю болѣзни, къ штабу Кавказской арміи, телеграммою Адъютанта 2-го Кавказскаго стрѣлковаго артиллерійскаго дивизіона отъ 14 апрѣля 1916г. за № 1086 предписано отправиться на распредѣлительный пунктъ въ гор. Кіевъ для дальнѣйшаго направленія....	"	апр.	14				
Предписаніемъ завѣдывающаго Кіевскимъ распредѣлительнымъ пунктомъ отъ 7 мая 1916г. за № 3726 направленъ въ г. Городокъ въ распоряженіе командира 41-го маршеваго запаснаго баталіона для направленія во 3-й Финляндскій стрѣлковый артиллерійскій дивизіонъ.....	"	мая	7				
Прибылъ въ дивизіонъ.....	"	"	14				
Приказомъ Командующаго 12-ой арміей отъ 13-го Іюня 1916г. за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля награжденъ Орденомъ Св. Анны 4-й ст. съ мечами и „За Храбрость"	916	Іюня	13.				
Высочайшимъ приказомъ отъ 1-го Іюня 1916г., по кавалеріи за бои съ 15-го Мая 1916г. Со старшинствомъ	1915	Іюня	1				2

3-я страница Послужного списка Н. А. Раевского

XI. Холостъ или женатъ, на комъ; имѣетъ ли дѣтей; годъ, мѣсяцъ и число рожденія дѣтей: какого они и жена вѣроисповѣданія.	Х о л о с т ъ.
XII. Есть ли за нимъ, за родителями его, или, когда женатъ, за женою недвижимое имущество, родовое или благопріобрѣтенное.	Н е и м ѣ е т ъ.
XIII. Подвергался ли наказаніямъ, или взысканіямъ, соединеннымъ съ ограниченіями въ преимуществахъ по службѣ, когда и за что именно; по судебнымъ приговорамъ или въ дисциплинарномъ порядкѣ.	Н е п о д в е р г а л с я.
XIV. Бытность въ походахъ и дѣлахъ противъ непріятеля, съ объясненіемъ, гдѣ именно, съ какого и по какое время; оказанныя отличія и полученныя въ сраженіяхъ раны или контузіи; особыя порученія, сверхъ прямыхъ обязанностей, по ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніямъ или отъ начальства	Въ походахъ и дѣлахъ противъ непріятеля не былъ; особыхъ порученій сверхъ прямыхъ обязанностей по ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніямъ или отъ начальства не получалъ.

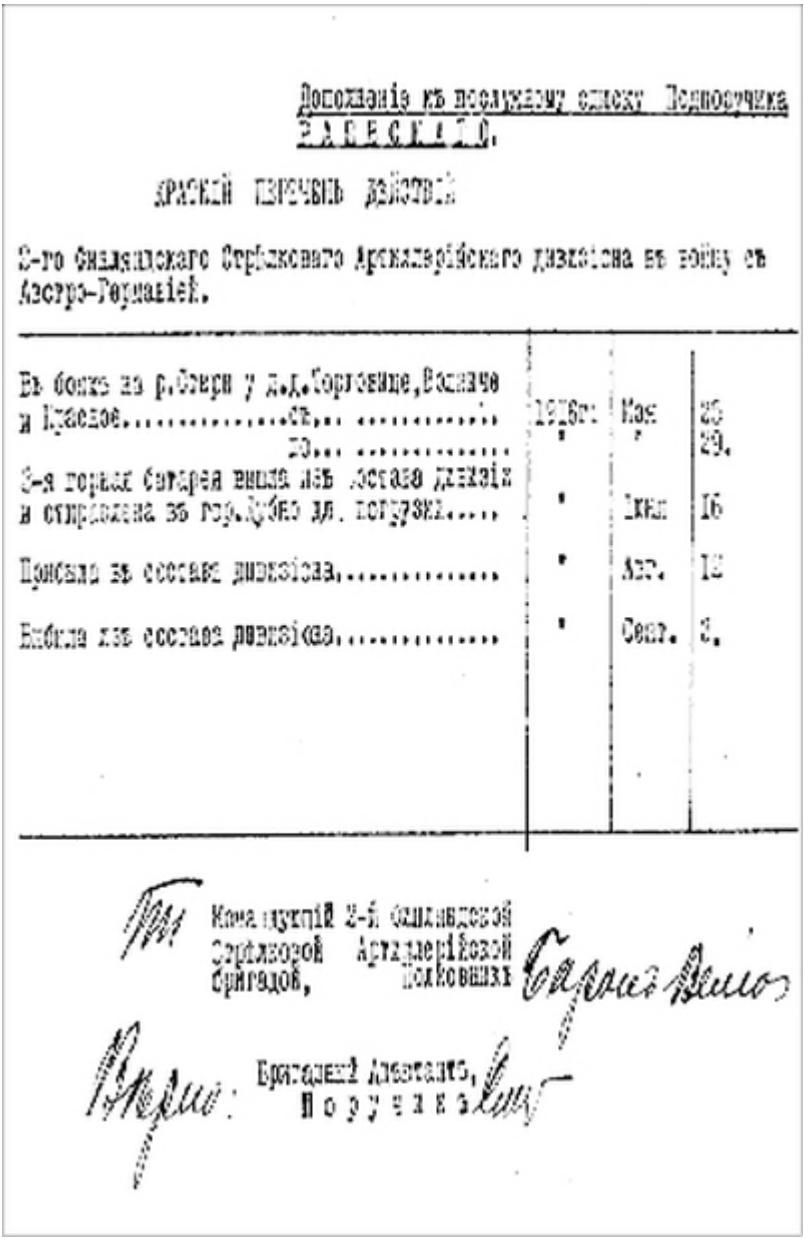
Года.	Мѣсяца.	Числа.

Въ службѣ сего сберъ-офицера не было обстоятельствъ, лишающихъ его права на полученіе знака отличія безпорочной службы, или отдаляющихъ срокъ выслуги къ сему знаку.

Начальникъ Училища,
Генералъ-Маіоръ [illegible]

Адъютантъ Училища
Капитанъ [illegible]

4-я страница Послужного списка Н. А. Раевского



Дополнение къ послужному списку Подпоручика
РАЕВСКАГО.

ВОЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДѢЙСТВІЙ

3-го Финляндскаго Стрѣлковаго Артиллерійскаго дивизіона въ войну съ Австро-Германіей.

Въ бояхъ на р.Сверн у д.д.Горгованье,Волнячо и Красное.....съ..... по.....	1916г.	Мая	28 29.
3-я горная батарея вышла изъ состава дивизіи и отправлена за гор.Кобрынь для погрузки.....	"	Іюня	16
Прибыла въ составѣ дивизіона.....	"	Авг.	12
Выбыла изъ состава дивизіона.....	"	Сент.	2.

Командующій 3-й финляндской Стрѣлковой Артиллерійской бригадой, полковникъ

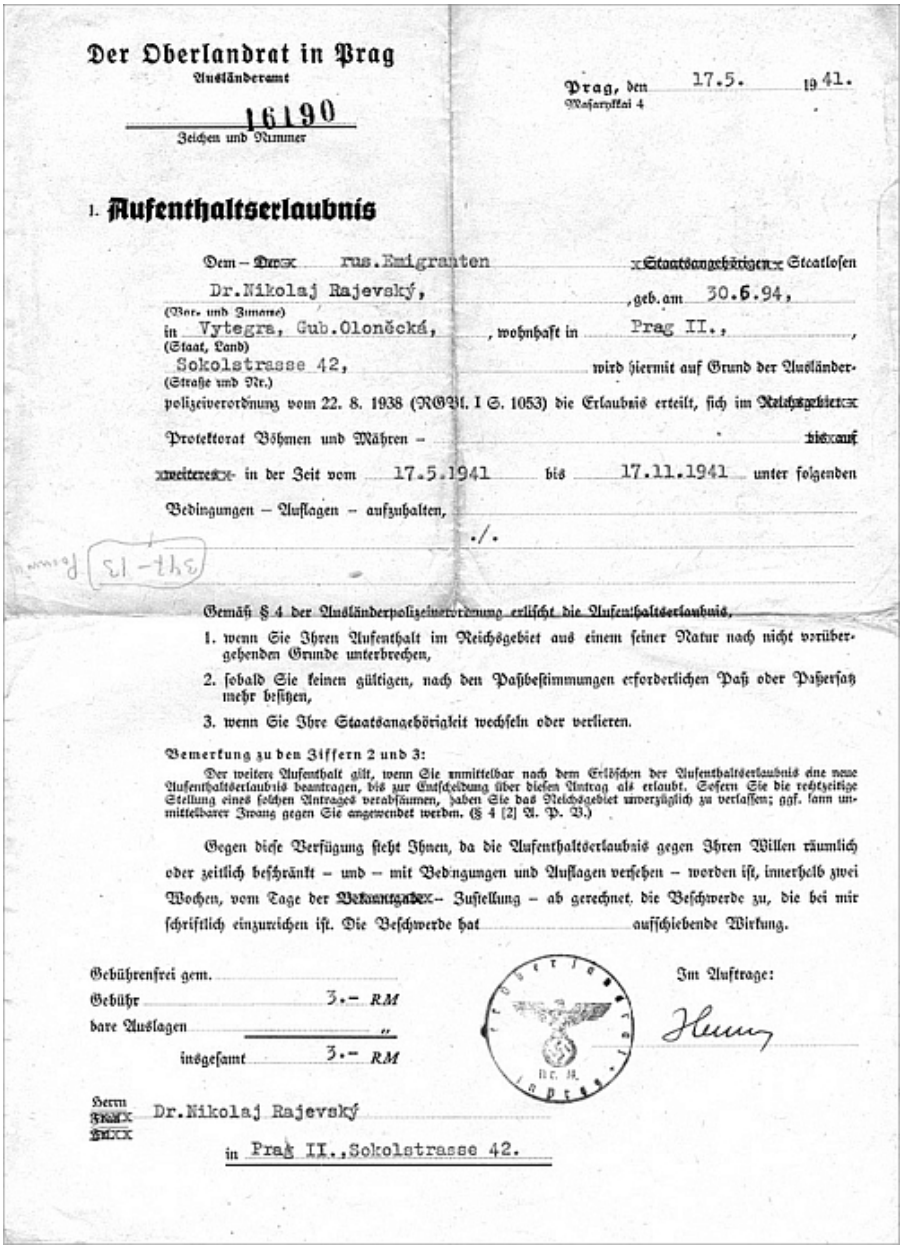
Бригадный Адъютантъ, Поручикъ

УДОСТОВѢРЕНІЕ.

Удостоверение на право ношения особого нагрудного знака «Галлиполи 1920–1921». ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 1-А. Л. 141 об.

Галлиполийская елка в Праге. 1925 или 1926 г.

На балу. Всеволод Вячеславович Сикорский, Нелли Ивановна Ковалевская, Н. А. Раевский. Прага, 1930-е гг.



Der Oberlandrat in Prag
Ausländeramt

16190
Zeichen und Nummer

Prag, den 17.5. 1941
Masarykkai 4

1. Aufenthaltserlaubnis

Dem – Der rus.Emigranten ~~Staatsangehörigen~~ Staatlosen
Dr.Nikolaj Rajevský, geb.am 30.6.94,
(Vor- und Zuname)
in Vytegra, Gub.Olonécká, wohnhaft in Prag II.,
(Staat, Land)
Sokolstrasse 42, wird hiermit auf Grund der Ausländer-
(Straße und Nr.)
polizeiverordnung vom 22. 8. 1938 (RGBl. I S. 1053) die Erlaubnis erteilt, sich im ~~Reichsgebiet~~
Protektorat Böhmen und Mähren – ~~bis auf~~
~~weiteres~~ in der Zeit vom 17.5.1941 bis 17.11.1941 unter folgenden
Bedingungen – Auflagen – aufzuhalten,
./.

Gemäß § 4 der Ausländerpolizeiverordnung erlischt die Aufenthaltserlaubnis,

1. wenn Sie Ihren Aufenthalt im Reichsgebiet aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde unterbrechen,
2. sobald Sie keinen gültigen, nach den Paßbestimmungen erforderlichen Paß oder Paßersatz mehr besitzen,
3. wenn Sie Ihre Staatsangehörigkeit wechseln oder verlieren.

Bemerkung zu den Ziffern 2 und 3:

Der weitere Aufenthalt gilt, wenn Sie unmittelbar nach dem Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis eine neue Aufenthaltserlaubnis beantragen, bis zur Entscheidung über diesen Antrag als erlaubt. Sofern Sie die rechtzeitige Stellung eines solchen Antrages verabsäumen, haben Sie das Reichsgebiet unverzüglich zu verlassen; ggf. kann unmittelbarer Zwang gegen Sie angewendet werden. (§ 4 [2] A. P. V.)

Gegen diese Verfügung steht Ihnen, da die Aufenthaltserlaubnis gegen Ihren Willen räumlich oder zeitlich beschränkt – und – mit Bedingungen und Auflagen versehen – worden ist, innerhalb zwei Wochen, vom Tage der ~~Bekanntgabe~~ – Zustellung – ab gerechnet, die Beschwerde zu, die bei mir schriftlich einzureichen ist. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

Gebührenfrei gem.
Gebühr 3.- RM
bare Auslagen „
insgesamt 3.- RM

Im Auftrage:

Herrn
~~Frau~~
~~Frl.~~
Dr.Nikolaj Rajevský
in Prag II.,Sokolstrasse 42.

Разрешение, выданное гестапо на право проживать в Праге, с ограничением невыезда. ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 1-А. Л. 161 об.

Н. А. Раевский в 1927 г.

ГАЛЛИПОЛИЙСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО
ВЪ ЧЕХОСЛОВАКІИ

Членск. билетъ № 60 Регистр. карт. № 60

Предъявитель сего

Николай Алексѣевичъ

есть дѣйствительный членъ Землячества.

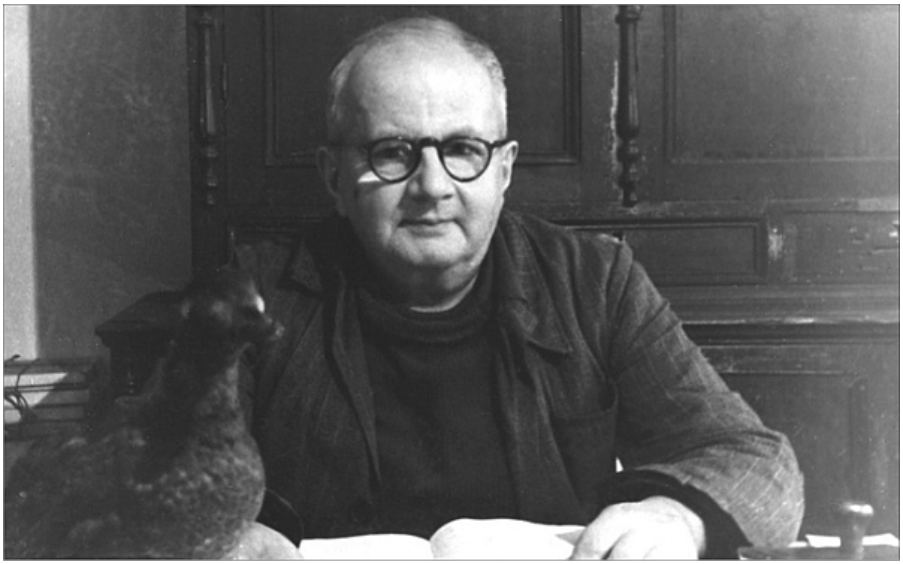
Дѣйствителенъ по 1 января 19[illegible] г.

1 января 19[illegible] г. гор. Прага.

Председатель Секретарь

Членский билет Галлиполийского землячества. ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 1-А. Л. 142 об.

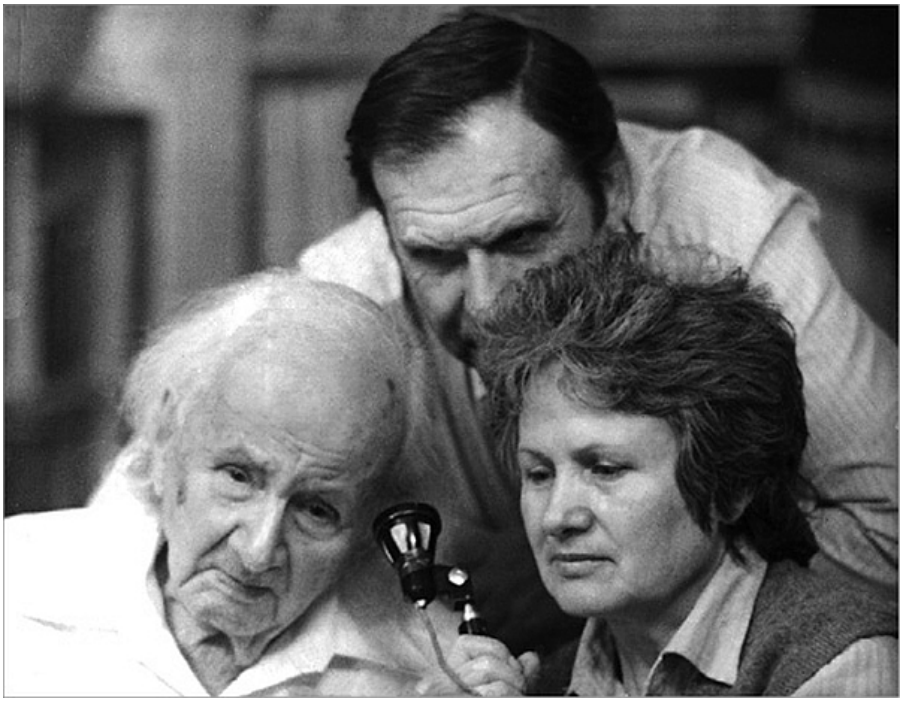
Свадьба Оли Крейчевой и Славы Шетнера. 24 июля 1943 г.



Н. А. Раевский в Музее им. Мартьянова. Минусинск, 1959 г.

Николай Алексеевич и София Алексеевна Раевские. 1975 г.

16 февраля 1970 г. Надпись на обороте: я – и.д.зав. Музеем института кл. и эксп. хирургии. Алма-Ата



Н. А. Раевский на съемках фильма «Портрет с кометой и Пушкиным» с режиссером В. П. Татенко и супругой Н. М. Раевской

notes

Примечания

1

Раевский Н. А. Портреты заговорили // *Раевский Н. А.* Избранное в 2 т. Т. 1. Алма-Ата: Жазушы, 1983. С. 31.

2

Раевский Н. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 5. Дорожка 2.

3

Из письма Н. А. Раевского к сестре Софии Раевской.

Раевский Н. А. 1918 год // Неизвестный Раевский. М.: Русский раритет, 2010.

5

ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 5-б. Л. 3 об.

Натиев З. Г. В начале 1918 года вступил добровольцем в вооружённые силы УНР и возглавил группу войск, сформированную генералом К. А. Присовским. Натиев провел это формирование с боями от Киева до Харькова, впоследствии реорганизовав его в дивизию.

7

ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 5-б. Л. 3 об.

8

Как стали называться ВСЮР после вступления генерала П. Н. Врангеля в должность Главнокомандующего.

9

Раевский Н. А. Годы войны. Воспоминания. Кассета 6. Дорожка 3.

Раевский Н. А. 1918 год // Неизвестный Раевский. М.: Русский раритет, 2010.

11

ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 6а. Л. 1 об.

12

Там же.

13

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 4. Дорожка 3.

14

Кадр (полка, батареи, дивизии и т. д.) – его основное организационное ядро, состоящее из коренных офицеров, полкового управления, а также наиболее преданных старослужащих нижних чинов. В случае необходимости кадр может быть развёрнут в полноценное подразделение.

15

ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 6в Л. 1 об.

16

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 4. Дорожка 3.

17

Там же. Дорожка 4.

18

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 4. Дорожка 4.

19

Там же. Кассета 5. Дорожка 3.

20

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 5. Дорожка 4.

21

Там же.

22

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 5. Дорожка 4.

23

Там же. Кассета 6. Дорожка 2.

24

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 6. Дорожка 2.

25

Там же. Дорожка 3.

26

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 6. Дорожка 3.

Карпухин О. И. Жизнь Николая Раевского // Простор. 1988. № 6. С. 149.

28

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 10. Дорожка 3.

29

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 11. Дорожка 5.

30

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 12. Дорожка 1.

31

ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 5-б. Л. 2 об. Речь в этом отрывке идет о первой своей литературной работе, которую Раевский первоначально назвал «Рыцари белой мечты», позже он поменяет название на «Молодежь на войне». Уезжая из Болгарии, он оставляет почти полностью законченную работу знакомому с просьбой переслать ее в Прагу, как только он обустроится. По неизвестным причинам рукопись затерялась и вновь была обретена Николаем Алексеевичем в 1936 г. К тому времени он уже начал писать повесть «Добровольцы» и часть найденной рукописи он использует для нее. Еще одну часть – для второй повести «1918 год».

32

ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 5-б. Л. 2 об.

33

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 7. Дорожка 1.

Там же. Дорожка 3.

35

После освобождения Праги архив был вывезен в СССР советскими войсками. Не случись этого, рукописи, скорее всего, бесследно бы пропали, как пропали почти все материалы, которые Раевский оставил на хранение своим друзьям в Праге, предчувствуя скорый арест.

36

Речь идет о яде.

Имеются в виду противогаз и консервы.

38

ГАРФ. Ф. 5840. Оп. 1. Д. 1 в. Л. 9 об.

39

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 14. Дорожка 1.

40

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 12. Дорожка 4.

41

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 12. Дорожка 3.

42

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 14. Дорожка 3.

43

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 14. Дорожка 5.

44

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 15. Дорожка 1.

45

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 15. Дорожка 1.

На этой вилле временно содержали арестованных.

47

Там же. Кассета 16. Дорожка 1.

48

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 16. Дорожка 1.

49

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 16. Дорожка 1.

50

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 16. Дорожка 1.

51

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 16. Дорожка 3.

52

В 2002 г. Н. А. Раевский был реабилитирован: «Дело пересмотрено в порядке исполнения Закона РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».

«Изучением уголовного дела установлено, что Раевский был осужден необоснованно, по политическим мотивам. Кроме личного признания Раевского, других доказательств его вины добыто не было.

Таким образом, оценивая собранные доказательства в их совокупности, следует признать, что Раевский не оказывал каким-либо способом помощи международной буржуазии в осуществлении враждебной деятельности против СССР (диспозиция ст. 58–4 УК РСФСР), кроме того, в соответствии со ст. 14 УК РСФСР срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение данного деяния истек.

На основании изложенного, руководствуясь п. «а» ст. 3, ч. 3 ст. 8 Закона РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий»: признать Раевского Николая Алексеевича реабилитированным».

53

Раевский Н. А. Годы скитаний. Воспоминания. Кассета 16. Дорожка 4.

Там же.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 5.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 5.

Там же.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 5.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 5.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 6.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 6.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 7.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 7.

Там же.

Там же.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 7.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 7.

Там же.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 7.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 7.

71

Там же.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания // Простор. 1998. № 7.

73

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания. Кассета 2. Дорожка 1.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания. Кассета 2. Дорожка 1.

75

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания. Кассета 3. Дорожка 4.

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания. Кассета 4. Дорожка 2.

77

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания. Кассета 4. Дорожка 2.

78

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания. Кассета 5. Дорожка 1.

79

Раевский Н. А. Возвращение. Воспоминания. Кассета 5. Дорожка 1.

80

Из письма к сестре С. А. Раевской.

81

Из письма к сестре С. А. Раевской.

82

Из письма сестре С. А. Раевской.

Цит. по: *Артемьева Р.* Три имени судьбой соединив… // Нива (Казахстан). 2007. № 2.

Цит. по: *Карпухин О. И.* Жизнь Николая Раевского // Простор. 1988. № 6. С. 150.

Аргументы и факты Казахстан. 1999. № 23.

Бабусенкова посылала рукописи для получения рецензий известным пушкинистам в Ленинград и Москву.

87

Из письма Н. М. Бабусенковой.

Цит. по: *Артемьева Р.* Три имени судьбой соединив… // Нива (Казахстан). 2007. № 2.

89

Имеется в виду родственник Зинаиды Герасимовны Андрей Корнеевич Пресняков, революционер-народоволец, который принимал непосредственное участие в подготовке покушения на царя Александра II и после громкого судебного процесса был казнен в Петропавловской крепости.

В тексте эти фрагменты первоначальной записи выделены кавычками.

91

Полковник И. Зубовский. Пал смертью храбрых в бою с большевиками под Каховкой осенью 1920 г.

92

«В Глухове большевики перерезали 400 человек, среди них 2 класса учеников гимназии» (сообщение украинского Генерального штаба, официально 4 апреля).

Для послевоенного поколения «союзники» – это «Антанта». Для моих ровесников, как и для пожилых людей, то же слово обозначает прежде всего «Союз Русского Народа».

Привожу здесь запись без изменений. Сейчас я изложил бы те же мысли в значительно менее категорической форме.

95

Убит солдатами во время Первой революции.

Прожив 8 лет в Чехословакии, где при каждой партии имеется «mlada generace», я больше не считаю этого странным.

Эта характеристика касается, конечно, только тех бывших гимназистов, о которых я пишу.

Много лет спустя – в начале апреля 1924 г. – я говорил об этом в приветственной речи К. П. Крамаржу на банкете, устроенном Союзом русских студентов в честь конференции ОРЭСО в Праге.

Должен все-таки отметить, что у довоенных гимназистов, выросших в городах без железной дороги, он был зачастую много шире, чем у учащихся эмигрантов, воспитывающихся в европейских столицах. Если не брать в расчет духовные верхи эмиграции, то русский Париж или русская Прага 1932 г. не менее провинциальны, чем довоенный Каменец-Подольск. В особенности поражает духовная бедность большинства русских девушек, выросших за границей.

Одним из них был сын д-ра К. П. Солухи, о котором я упоминал выше – Витя. В 1914 г. этот юноша, страдавший искривлением позвоночника, застрелился от отчаяния, что его физический недостаток мешает ему пойти добровольцем на фронт.

101

Подробность, которая может быть интересна для теперешних гимназистов и гимназисток, которые зачастую лет в 13–14 ездят в одиночку откуда-нибудь из Софии в Париж и обратно – нас 18–19-летних юношей никуда не отпустили бы без воспитателя. Это считалось нормальным и никого не удивляло. Когда увидел маленький мраморный крест с терновым венком и надписью «Петр Аркадьевич Столыпин», опять чуть не заплакал. Некоторые из гимназических стали на колени.

102

Речь идет о параде средних учебных заведений на Красной площади. Государь пропустил учащихся церемониальным маршем. Командовали офицеры.

103

Да простит мне читатель изобилие «в» в этой фразе и вообще язык моих записей начала 1922 г., сделанных после 4 лет войны.

Интересно, что гвардейские офицеры являлись на антиавстрийские собрания в парадной форме. Потом это, кажется, было запрещено.

105

Краска, оставляющая несмываемые пятна.

106

Для интеллигенции.

107

На моей памяти.

Интеллигенции.

На эту тему часто спорили в лаборатории профессора Шимкевича, где я работал зимой 1914/15 г.

Это было нелегко и многим из «активистов». Разница в том, что «колеблющиеся» частью вовсе не желали добровольно идти на войну, частью не могли преодолеть чувства самосохранения.

111

В Киевском университете студенты устроили овацию офицеру Генерального штаба, присланному прочесть приказ о призыве, и тоже спели гимн.

112

В числе юнкеров 2-го ускоренного курса был знаменитый впоследствии советский летчик Чухновский.

113

Сын композитора Каэанли был произведен в офицеры (кажется, для этого понадобилось Высочайшее разрешение) в 16 лет 8 месяцев.

114

Юнкерские спальни.

Не без основания. В старой России нередки были семьи, где чуть ли не с петровских времен все или почти все мужчины были военными, причем случалось, что три-четыре поколения последовательно служили в одном и том же полку.

Насколько высока была успешность всего курса (около 350 ч.), показывает тот факт, что я, получив средний балл 11,73, оказался на двенадцатом месте. Около восьмидесяти юнкеров кончили со средним баллом не ниже 11.

Впоследствии за границей такой же парад устраивался в Сергиевском арт. уч., но юнкера решили, что «молебен» похож на комсомольские действа, и он был исключен из церемонии. Церемониальный марш происходил тоже под оркестр из гребенок, игравший тустеп.

118

Надо сказать правду: среди студентов, особенно первокурсников, было некоторое число «ловчил», поступивших в артиллерийское училище с единственной целью – не попасть по мобилизации в пехоту. Некоторые и не скрывали своих мыслей. Эти «американские добровольцы», как их позже прозвали, обычно устраивались по производстве в офицеры на различные тыловые должности.

119

Кавалерийские офицеры, с которыми не раз говорил по поводу «цука», неизменно уверяли меня, что он будто бы имел воспитательное значение, приучая младших к беспрекословному повиновению. Никто якобы не обиделся на такие проделки. Традиция… Я все же уверен в том, что много молодых людей, из которых могли бы выработаться хорошие кавалеристы, не шли в кавалерийские училища именно из-за «цука».

120

Ген. Всеволод Петрів. «Спомини», частина II, від Берестеиського мира до занятия Полтави. Видаднича кооператива «Червона Калина». Львів, 1920.

Я предполагаю, понятно, что автор говорит то, что он действительно думает или думал. Некоторые места «Спомин», впрочем, вызывают серьезные сомнения в искренности Вс. Петрова.

Неофициальной, но это, конечно, не меняет существа дела.

123

«И снова впечатляющая разница в отношении к украинским войскам в Лубенцах и у Киевлян (может Киян село) здесь хоть интерес, здесь хоть пассивная помощь, что проявляется в быстром исполнении наших просьб и во множестве советов…»

«Сложно сказать что-то конкретное про настроения группировок в Лубнах, потому как очень мало мы там были и за это время очень мало было возможности наблюдать более сложную, чем на селе, жизнь, но, тем не менее, можно было констатировать, что тогда к услугам нашего полка были предоставлены очень разные слои населения, начиная от пригородных ребят и заканчивая крупными собственниками».

125

Курсив авторский.

126

«…пока на другой телеге не доехал учитель из того же села, что было задержался в Лубнах и который объяснил, что село очень недовольно российским гарнизоном в Полтаве, которое еще производит конфискации… Этот же Интеллигентный украинец доложил, что под Лубнами русские войска стоят в эшелонах, которые размещены за Сулой… что населению Лубен угрожают репрессиями, а то может и полным погромом со стороны москалей, говорит, что граждане очень неосторожно радуются по поводу их возвращения…»

127

«…Наша «хозяйственная часть» безнадежно застряла возле Гребенки, а потому много чего не хватало, и только лишь благодаря русским, которые оставили нам свои телеги мы могли подкормиться».

128

«Удивительный поворот судьбы – …Думал ли я тогда, обучаясь в Академии Генерального Штаба в Петербурге – про Полтавскую операцию Петра I, – что буду когда-то в тех самых местах, в которых Запорожцы под руководством Кости Гордиенка не имея мощи только бессильно грозили кулаками, направляя Запорожские Гордиенковские пушки, скорострелы и крюи (англ. компании)? в сторону московских войск».

Сам автор «Спомин» (часть I), характеризуя Дорошенковский полк в период отхода на Житомир – Коростень, пишет: «З бігом часу та дальшоі боротьби змінили свое облича і Дорошенківці, зокрета за часів спилки з Нимцями, коли до іх ідеольогічных лав влилося нимало кондотіерсько-непманського та соціяльно протикомуністичного элементу, який бачив у національному питанні та національній боротьби лише засіб боротьби проти комунизму». («С течением времени и дальнейшей борьбы сменили своё обличие и Дорошенковцы, особенно во времена объединения с немцами, когда в их идейные ряды влилось немало кондотьерско-нэпманского и социально антикоммунистического элемента, который видел в национальном вопросе и национальной борьбе лишь средство борьбы против коммунизма».)

Что касается «республиканцев», то еще до союза с немцами «…козацький склад республиканців був дуже старшиньско-інтелігентський на зовнішжй взгляд…» («…казацкий состав республиканцев был очень возростно-интелегентным на первый взгляд…») Для меня нет ни малейшего сомнения в том, что без этих «чужеродних», по мнению Петрова, элементов, украинские части весной 1918 г. не имели бы боевой силы.

130

«После первого выстрела исчезли все интересные с «Видов», закончился и «пикник»…»

131

Полк Богдана Хмельницкого.

Впоследствии эти полки были переименованы в 1-й Запорожский и 2-й Запорожский.

133

Впоследствии, во время наступления на восток, сильно пополнились добровольцами.

Fernsprecher (телефон).

135

Я побывал во Франции в 1927 г., получив стипендию Institut Français de Prague.

В то время глаз еще не привык к офицерам на солдатском положении и к вчерашним гимназистам, севшим на коней. И тех и других было очень много в Гордиенковском полку.

137

Это касается пехотных полков Натиева. Гордиенковцы наступали на Хорол.

138

Сличение этой записи о соответствующими местами записок Петрова показывает, что она относится, по всей вероятности, к бою Дорошенковского полка 23–24 марта.

По рассказам офицеров, участников боев, латыши стреляли отлично, русские конногвардейцы плохо, но сила огня была чрезвычайно велика.

140

П…ов служил вместе со мной в 4-й батарее Дроздовской артиллерийской бригады.

141

Большое село в южной части Лубенского уезда на берегу Сулы. В районе его форсировала реку баварская кавалерийская дивизия генерала фон дер Гольца.

По-видимому, слухи не соответствовали действительности. По крайней мере, живя в Чехословакии, я нигде об этом не читал. Массовый расстрел легионеров, якобы имевший место в Полтавской губернии, наверное, нашел бы широкий отклик в чешской печати.

143

Я с детства хорошо понимаю по-украински, но говорить совершенно не умел и не умею.

Только «настоящие, истинные украинцы». Хотя это слово приобрело к тому времени несколько иной смысл – то, что сейчас «упертые».

145

Петров весьма последовательно именует все большевицкие злодеяния зверствами «российских войск».

146

«Итак, использовав то, что в полку были юристы с полным высшим образованием, организован полевой суд – оригинальный, так как отродясь в военных частях в таких судах заседают одни только вояки с психологией не судей, а мясников».

147

«Я предложил этим представителям партий (украинским социал-революционерам и социал-демократам, дело было в Хороле. – *Н. Р.*). Присылать своих людей на все заседания моего Дроздовского суда, для контроля над приговорами и делопроизводством, чтобы наглядно убедиться, что у нас нет никаких пыток людей». Хорольские эсеры и социал-демократы на это не согласились.

«ХВАТИТ КРОВИ И ТРУПОВ

Шаповалы, Натиевы и иные – им же нет числа, отмечают праздник мести над невинными, безоружными людьми. Отовсюду, из Ромодана, Гребенки, Пирятина, Лубнов, Полтавы, Харькова и т. д. доносятся стоны и слезы, проклятия и просьбы к нашему правительству освободить людей от своевольных пыток, которые вопреки Универсалам центрального совета и курсу политики министров направят свой суд, суд отмщения, крови и трупов»…

149

«В провинции нет никакой власти, а та власть, которая есть – дискредитирует украинский парламент. Население вынуждено на местах, к сожалению, обращаться за помощью к немецкой военной власти. К нам каждый день прибывают депутации, которые сообщают нам об этих убийствах, грабежах и насилии, что происходят на местах.

Всё это дело рук украинских солдат или лиц, называющих себя солдатами. Ночью тайно выкапывают могилы и без засвидетельствования врача и свидетелей предают земле замученных людей. На станции Ромадан вы бы увидели трупы людей, которых украинские солдаты выбрасывали на железнодорожные пути» // Рабочая газета.

Итак значится: вырвите господину сорняк, но упаси Господи нас ни во что не вмешиваться… а с такой силой (действием) далеко не пойдешь» // Рабочая газета.

Я глубоко убежден в том, что его утратили, по крайней мере временно, все – и революционеры и контрреволюционеры.

152

В первоначальном тексте старинной песни «турка звоювати», украинское слово не соответствовало бы размеру, и его заменили русским. Кстати сказать, эта песня – лишнее доказательство того, что в сознании большинства война велась именно против «красных», а не против «москалей» или «россиян».

153

Либо пан, либо пропал – дважды не умирать.
Хэй же к оружию.

154

Как известно, общегенеральское пальто (шинель в военное время) было на красной подкладке. Генералы, служившие в гвардии, нередко сохраняли мундир своего полка и при переходе в армию. В этом случае подкладка пальто была цвета полка.

В дальнейшем я буду употреблять для краткости это наименование.

В Петрограде воспитанников этого училища (их выпускали в строевые части и учреждения Артил. ведомства военными чиновниками) звали в просторечии «тихий ужас (Т. V).

Не надо забывать, что у германцев по штату полагалось шестнадцать сверхсрочных на роту и они были подлинным костяком солдатского состава.

158

Ген. Литовцов. Цитированные слова принадлежат (по утверждению Петрова) генералу Александровичу.

159

«Он понабирал каких-то бандитов под названием «Лубеньский Гайдамацкий Курень…»

160

«То было сборище наемников разного рода, несознательного или полусознательного бомонда, с большой примесью разнузданной офицерни, которая не хотела идти ни к каким военным регулярным или наполовину регулярным формированиям, боясь, что там их приберут к рукам и пошлют против отлично вооруженного врага как безоружное сало. Было не мало сорвиголов помешанных войной, и всяких там проходимцев».

Впоследствии, когда в Лубнах началось формирование кадров регулярной украинской дивизии, ее начальник, генерал Александрович, наложил руку на наши запасы, решив использовать их для нужд дивизии, которая фактически так и не сформировалась.

Как нам тогда казалось.

163

Февральская.

Характерно, что русские молодые люди, выросшие за границей, иногда не хотят верить, что до революции солдаты не имели права курить на улице.

165

После двенадцати лет эмиграции мне самому кажутся почти невероятными надписи «Собак не водить. Нижним чинам вход воспрещается». Однако в детстве я видел их собственными глазами.

Цифровые данные заимствованы из «Статистического справочника по Полтавской губернии на 1915 г. Изд. Полтавского губернского земства и из издания Центрального статистического комитета МВД. «Статистика Землевладения – 1905 г.»

В официальной статистике термин «украинский» не допускался.

Пользуюсь случаем поблагодарить В. Н. Леонтовича, бывшего министра земледелия Украинской Державы, любезно сообщившего мне эти сведения. У В. Н. Леонтовича было в Лубенском уезде имение.

Пользуюсь этим термином, чтобы не повторять каждый раз «козаков и крестьян».

На практике при приеме в Куринь цифра 20 десятин не всегда соблюдалась. Однако 15 можно принять как фактический нижний предел.

171

Центральный статистический комитет соединял под этим наименованием и козачьи, и крестьянские земли.

Они, конечно, имели к тому и больше возможностей.

173

Около 20 десятин.

В. Н. Леонтович, с которым я говорил по этому поводу, считает, что до революции классового самосознания в селе вообще не существовало.

175

Для характеристики крестьянской «сознательности» приведу еще один факт, о котором мне рассказывал мой отец со слов лиц, ездивших в 1917 г. по селам Подольской губернии и агитировавших в пользу партии «Народной свободы». Подольские мужики воспринимали обращение «граждане» как обиду.

176

«Город Лютенка на Полтавщине. У нас господствуют большевики». Заметка помещена, очевидно, с большим запозданием – 12 апреля вся губерния уже была очищена от красных.

Селяне настроены по большевицки. В сёлах полно разного оружия, припрятанное селянами, которые сами говорят, до особого случая. Большевики агитируют, настраивая селян враждебно против интеллигенции и хуторян. Во время спектакля, устроенного в городке местной интеллигенцией, большевики собирались учинить против интеллигенции погром, который только благодаря холодному и уважительному поведению не удался».

Официально союзных.

179

В Лубенском уезде были евреи-мещане, владевшие землей.

По крайней мере, таково мое личное мнение.

Я не говорю, конечно, какое начальство. В конце концов, этой цели удалось добиться только большевикам.

Их легко было узнать по тавру на шее.

На войне бывали, конечно, тяжелые и голодные периоды, но во время отдыха обыкновенно удавалось наверстать потерянное и привести лошадей в хороший вид.

Как общее правило – употребление щетки и скребницы в крестьянском хозяйстве было неизвестно. Я не раз спрашивал во время войны солдат-артиллеристов, отлично убиравших своих лошадей:

– Ну что же, вернешься домой, будешь своих-то чистить?

– Что вы, ваше благородие, надо мной бы в деревне смеялись.

Щетка и скребница считались барской выдумкой.

185

Во время Гражданской войны объем понятия «эксцесс» был чрезвычайно широким – от реквизиций ниток в лавке до бессудного расстрела.

186

Таращанское восстание в августе 1918 г.

Насколько я знаю, в исторической науке вопрос о существовании в Малороссии общины является до известной степени спорным.

188

Осенью 1918 г. я расстался с К. И. Доршпрунгом-Целице и потерял его из виду. Потом, уже в эмиграции, прочитал его адрес в «Возрождении»: остров Суматра, Палембанг.

Мне не совсем понятно, относилась ли отмена смертной казни и к местностям, объявленным на военном положении (к числу их принадлежал и Лубенский уезд). Во всяком случае, в дивизии Натиева военно-полевые суды смертные приговоры выносили, и они приводились в исполнение, не вызывая, насколько я знаю, сомнений в законности. Однако расстрел большевика-матроса в Лубнах по приговору такого же суда, законно назначенного по приказанию уездного коменданта, вызвал в Киеве резкие нападки на Куринь в социалистической по своему составу Раде. Вероятно, этим и объясняется полученное мною приказание заменять смертную казнь каторгой.

В ружье! (*нем.*).

191

В тот момент предание крестьян суду за расхищение инвентаря было несомненным правонарушением, так как Центральная Рада практически легализовала отобрание у помещиков принадлежавшей им собственности.

Впоследствии поступил второй – князь В. Д. Волконский.

193

«Так называемые украинские войска…» (*нем.*)

В первую очередь Мшанецкий (с.р.) сделал от имени анкетно-следственной комиссии сообщение про расследование незакономерных поступков лубенского коменданта Шулкова. Комиссия в следствии своей недельной роботы выяснила следующее:

Как только вступило украинское и немецкое войско в г. Лубны, то сразу объявил себя комендантом г. Лубны и Повиты, сотник Петров, а через два дня был назначен оттоманом дивизии Натиевым Д. Шулков, который незадолго перед сим поселился в Лубнах не имел никаких связей с украинской державой и местным населением. Шулков принадлежит к классу помещиков, человек, воспитанный в принципах старого самодержавного правления. Сразу он объявил полное военное положение, возобновил смертную казнь, в приказе № 3, установил цензуру на все издательства и сообщения общественных учреждений. Д. Шулков – русофил и монархист. Возле него сгруппировались подобные ему офицеры, случайно находящиеся в Лубнах, осколки российской армии, которые ничего общего не имеют с украинской республикой и даже враждебно относятся к ней. Шулков, согласно с распоряжениями Натиева, организовал круг, в который охотно записывались помещики и землевладельцы для отстаивания своих интересов. В курень принимали по рекомендациям знатных помещиков. Комендант назначал своими помощниками неукраинцев (Грубэ, Данилович, бывший военный начальник), в канцелярии – пристава Зубрицкого; оттоманом куреня – оборотня немецкого Литовцева (генерал), сотниками – полковника Логотино, Смирнова и других неопределенных людей. Сознательных украинцев, как Котух, герой Дробницкий и другие, сознательно смещали на задний план и они могли быть только лишь рядовыми казаками. Хоть по приказу министров от 14 февраля курень не должен превышать сотни, местный курень имел больше трёх сотен. Под предлогом и управлением врагов народности и украинства курень быстро проявил себя в контрреволюционной деятельности: арестовывались комитеты, сельские управы (Калайденци, Круглик, Оржица, Опушки, Чутовка), арестовав специально общественных деятелей членов земельных комитетов, сельских и волостных управлений, по указанию землевладельцев, только б показать работу, обозначенную в универсалах центрального совета. Был арестован глава Оржицкого волостного комитета, писарь Онушовского комитета. Старшины куреня запугивают народ угрозами и

избиением, расстрелом.

В арестантском доме при лубенецком земстве было расстреляно трое мужчин. В сёлах старшинами куреня конфисковывается еда, фураж, лошади, свиньи, арестовываются люди без доказательств вины, занимаются помещения школ, распускаются ученики (в Оржице полковником Лаготино). Этот же Логотино разогнал земельный комитет в Чуткове, отменил распоряжение Оржинскоко волостного комитета, устроил полевой суд над теми, кто исполнял законное постановление земельного комитета, остановил завоз хлеба, приказал вернуть взятое сэкономленное Мусмана посевное зерно. Всё это делалось будто бы для благоустройства конного завода, которого в действительности вовсе не было в поместье при Чутивце, а был он при хуторе Весёлом, но в 1916 году проданный и переведенный в Сибирь.

Комендант Шулков создал военно-полевой суд, даже несколько судов, потому как при каждом отделе куреня, который ссылался на уезд, образовывался отдельный суд. Аресты проводились каждым старшиной куреня и сотниками по желанию. Арестованных держали несколько дней без допроса и обвинения, а то и целыми неделями. Комендант реквизировал лошадей даже для нужд куреня на станции, кроме этого, право на реквизицию, чего кому как из вояк хотелось, давалось комендантом без разбора. Приказом № 6 комендант отменил все законы и распоряжения временного российского правительства.

Каждый день поступали жалобы на курень за грабеж, насилие, разбой и т. д., но и малой части они не показывают за то, что делается куренём, потому что люди запуганы, терроризированы и даже начинают верить в безнаказанность и беззаконность украинской земли.

Кроме этого, комиссия выяснила, что комендант Шулков вместе со своими соубийцами бывшими полицаями да тайными агентами завёл в Лубнах предварительную цензуру над газетой, которая там выходит; когда же редактор отказался отдавать газету в цензуру, то комендант угрожал ему расстрелом.

Комиссия одобрила коменданта Шулкова убрать с должности и отдать его вместе с его сторонниками под суд.

В конце докладчик Мшанецкий заявил, что бесчинство и насилие, которые делал лубенецкий «Гайдамацкий» курень, прекратились на то время, пока в Лубнах была комиссия, а потом, как уже сообщают, насилие и конфискация начались снова.

Они имели место позже – в мае или июне.

Как раз это всем вообще офицерам, служившим на Украине, ставили впоследствии в вину в Добровольческой армии.

197

Конец 1917 и начало 1918 г.

В тех местах, где выборы в Укр. Учр. Собрание раньше не смогли состояться, они были произведены дополнительно, причем большевики (очевидно, украинские) имели возможность выставить свой список. В газете «Народна воля» от 18-IV читаем: «Екатеринослав 16-IV. Окружна віборча комюія доставила в Кіев діловодство по виборам в Украіньскі Установчі Збори: оорано – 22 депутата, селяньскоі спілки, 9 большовіків, два есери, один німец і одін украіньский энде». (Екатеринослав 16-IV. Окружная избирательная комиссия доставила в Киев делопроизводство по выборам в украинские учредительные собрании: выбрано – 22 депутата, сельского союза, 9 большевиков, два эсера, один немец, и один украинский, энде.) В украинской литературе я нигде не нашел указаний на то, чтобы мандаты депутатов-большевиков были аннулированы.

Впоследствии в Добровольческой армии я из тех же соображений определил брата в другую батарею.

200

В Лубнах так обыкновенно называли группу бывших чинов гордиенковского полка во главе с ротмистром бароном Штакельбергом, которые, поссорившись с полк. Петровым, ушли из части.

201

Желтые гайдамаки в конце концов в Киев не поехали. Барон Штакельберг, служивший у Петлюры с зимы 1917 г. решил, что не может принять участие в перевороте, направленном против сторонников последнего. Впоследствии, однако, Штакельберг поступил в Сердюцкую дивизию.

202

По старой памяти так называли сторонников Центральной Рады.

203

Брата войскового старшины А. Сахно-Устимовича, личного адъютанта гетмана.

Полковник Гоголь-Яновский был членом партии хлеборобов-демократов, которая, по словам С. Шемета («До історіі Украіньскоі Демократично-хліборобська партіі». Хліборобська Украіна, книга 1, 1920. стр. 72) хотела найти компромисс с левыми группами Центральной Рады и не принимала участия в создании гетманского правительства. То, что мне говорил Гоголь-Яновский по пути с вокзала на Липки, стоит в полном согласии с утверждениями Шемета. С другой стороны, несомненно тесное взаимодействие между «Союзом земельных собственников» и «Партией хлеборобов-демократов». Мы ехали «делать гетманский переворот», а сопровождал нас Гоголь-Яновский, и он же привез нас на квартиру несомненного «гетманца» Сахно-Устимовича. Впрочем, и Шемет говорит, что только… хліборобська маса, навіть та, що належала до оргашзаціі хліборобів-демократів, з задоволенням зустріла розгон Центральноі Ради і ліквідацію іі міністерстві і прихильно поставились до нові гетманьскоі владі…» (земледельная масса, даже та, что принадлежала к организации земледелов-демократов, с удовольствием встретила роспуск Центрального Совета и ликвидацию ее министерства, и благосклонно отнеслась к новой гетманской власти…»)

У меня оно сохранилось. Текст удостоверения следующий:

№… Waffenschein

Herr Ober-Leutnant Rajewsky ist zum Besitz und zum Tragen von Handfeuerwaffen berechtigt.

Die Gültigkelt dieses Anweises erlischt am 30 Juni 1913.

Kiew, den 15 April 1918.

Печать: Heeresgruppe Eichhorn №. O (*нем.*).

206

Д. Дорошенко («Історія Украіні 1917–1923 рр.» т. II. стр. 38) говорит: «Військовіх, які робти переворот, було кілька сот людей. Керував ними генерал В. Дашкевич-Горбацький». Этих «сотен» (считая наш «военный отряд», охрану гетмана и еще некоторые небольшие части) было во всяком случае очень немного.

Я обязан этими сведениями любезности инженера В. П. Петровского.

Вероятно, украинский перевод был сделан лишь впоследствии. По крайней мере, «Робітнича газета» – орган самостийников – тоже опубликовала оба документа по-русски.

Если не ошибаюсь, через 2 дня охрана гетмана уже сняла эти повязки.

210

«В украинском парламенте большая часть людей будет принадлежать к тем, кто давно работой своей показал верность украинской национально-государственной идеи и своё понимание потребностей селян и рабочих. В нем не может быть места для людей, которые тянутся к России или Польше»…

211

В экстренном выпуске «Одесских новостей» от 2 мая читаем: «Киев. 30 апреля. Военным отрядом арестованы и содержатся во дворце следующие лица: гласный гор. думы М. О. Фрумин, бывший министр почт и телеграфов Сидоренко, Кульчицкий и Лейбин, а также личный секретарь бывшего премьер-министра Голубовича г. Чикаленко».

212

Впоследствии мне стало известно, что наш Куринь действительно хотели перевести в Киев. Германцы, однако, запросили, какой его численный состав, и, узнав, что речь идет об отряде примерно в 400 штыков и сабель, категорически запретили перевод.

213

Шипучий напиток, вроде лимонада, очень распространенный на юге России.

Я не касаюсь здесь вопроса о том, насколько это начальство отвечало моменту.

215

В докладе анкетно-следственной комиссии (гл. XIV) упоминается о том, что Дробницкий служил в Курине рядовым козаком. Насколько память не обманывает, это ошибка.

Думаю, что не бывшим на войне это определение может показаться выдумкой. Между тем я, да и всякий офицер, не раз наблюдал и сам испытывал именно такое волнение.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…

Особенно пока человек и духовно, и физически здоров. Ремарковских настроений у начинающих мне видеть не приходилось.

217

Так и было сделано.

Вместе с пор. Овсиевским в таких случаях вызывали и меня.

219

Начиная с осени 1918 г. служба стала «бессрочной».

220

«Все частные и свободно-казачьи организации, Киевский отдел печати, с сего дня отменяются и являются не действительны, также и удостоверения выданные ими».

Кстати сказать, левые украинцы, да и мало осведомленные русские авторы обычно относят в пассив гетманского правительства уголовные и полууголовные деяния как раз тех отрядов, которые оно ликвидировало. На это правильно указывает Дорошенко.

Я сознательно допускаю некоторый анахронизм, пользуясь этим термином, укоренившимся лишь в период эмиграции.

Я считаю, что типичным «народником» является, например, генерал А. И. Деникин и одна из его самых больших ошибок – непонимание – по крайней мере в 1919 г. – необходимости выделить и сплотить разумное меньшинство.

В городе и уезде она играла гораздо большую роль и была численно сильнее, чем другая организация того же типа – «Союз земельных собственников».

225

Подробности см.: *Шемет С.* До історіі украіньскоі демократично-хліборобськоі партіі («Хліборобська Украіна», збірнік I, 1920).

В Курине был одно время ветеринарный врач, но фельдшеров не было, и многое приходилось делать самому. В трудных случаях командир германской батареи присылал мне своего фельдшера с медикаментами.

227

До Великой войны генерал носил фамилию Шильдбаха. Впоследствии подал на высочайшее имя прошение о разрешении ему именоваться Литовцевым по названию лейб-гвардии Литовского полка, которым он тогда командовал. За это многие над ним посмеивались.

228

«Обещаю и присягаю Всемогущим Богом и святым Евангелием, что буду служить не жалея своей жизни, верно и искренне даже до последней капли крови Украинскому государству и ясновельмóжному Гетьману…»

229

«Не жалея своей жизни».

230

В 1924 г. в одном из венских музеев я заметил в витрине египетских древностей знак, который решительно ничем не отличался от украинского трезубца. К сожалению, потерял записанный номер залы и витрины.

231

Не надо забывать, что во время Гражданской войны погоны имели для обеих сторон огромное символическое значение, большевики (особенно в 1918 г.) сплошь да рядом, прежде чем расстрелять пленных офицеров, вырезали у них на плечах куски кожи в форме погон (выражение «вырезать погоны» было почти техническим термином) и вбивали гвозди вместо звездочек. После Октябрьской революции много офицеров застрелилось, не желая снять погон, а в антибольшевистских армиях не восстановить их было психологически невозможно.

Впоследствии то же самое (пожалуй, еще в большей степени) я наблюдал у английских офицеров на юге России.

Если эти строки когда-нибудь прочтут лубенские руководители партии хлеборобов-демократов, они, я уверен, будут отрицать то, что я говорю об отношениях между германцами и хлеборобами. Документальных данных у меня нет, но тогда, в 1918 г., все отлично в городе знали, что мы – Куринь и хлеборобы – действуем в полном «контакте» с германским командованием. Эта близость вполне отвечала обстановке.

Это не мое только впечатление. Оно создалось и у других офицеров, говоривших по-немецки.

В смысле взгляда чинов Добровольческой армии.

О том же самом мне рассказал В. Н. Леонтович. Ему в 1919 г. крестьяне говорили:

– Стыдно сознаться, а немцы – чужие люди, лучше с нами обращались, чем все наши власти… (Речь идет о революционном периоде.)

Я имею в виду лишь Лубенский уезд. В августе 1910 г. в Таращанском и Звенигородском уездах восстание, по-видимому, было подавлено с жестокостью, которую, однако, трудно порицать.

Вольноопределяющиеся были преданы суду, но дело по каким-то формальным соображениям затянулось на несколько месяцев и так и не закончилось до ухода немцев. Перед тем как покинуть Лубны, они освободили всех арестованных, в том числе и этого убийцу. В конце концов его расстреляли большевики – редкий случаи, когда приходится признать – поделом.

В действительности они почти всегда сводились к весьма безобидным военным прогулкам по уезду.

В интимной обстановке на украино-германских «Объединениях» такие тосты во второй половине лета 1918 г. не были редкостью.

241

Как раз к этой экспедиции относится цитированный выше приказ: «Rechte Kolonne etc…»

242

В настоящее время я не могу припомнить, о каком именно селе идет речь. Оно расположено недалеко от границы Хорольского уезда, где, по словам Петрова были сильны коммунистические настроения («Спомини», ч. IV, стр. 53).

243

В эмиграции очень часто приходится слышать от бывших гетманских офицеров: «Служить служил, но мы, все отлично понимали, что эта лавочка ненадолго…» Я категорически утверждаю, что в 1918 г. огромное большинство офицеров, состоявших на украинской службе, и в интимных разговорах отзывались о «Державе» совершенно иначе.

244

В 1933 или 1934 г. мне пришлось услышать в вагоне железной дороги рассказ Петрова, подтверждающий его связь с повстанцами. Петров говорил с украинцами и не знал, кто его сосед.

Я имею в виду раньше не служивших.

246

«…45 Лубенецкий пехотный полк состоял из около 150 охотников, а в гайдамацском Гетманском курене осталась лишь горстка безнадежных сорвиголов».

247

По сведениям Петрова, в районе Триполья, ниже этого пункта.

По утверждению Петрова (ч. IV), немцы на сей раз поступили в подчинение генерала Александровича. Я этого факта не помню, но не могу утверждать, что он не соответствует действительности. Во всяком случае, Куринь непосредственно сносился только с германцами и во время похода генерал Литовцев телефонировал в германскую комендатуру, а не в штаб дивизии. Похоже на то, что атаман Куриня старался не входить ни в какие отношения с начальником 12-й Украинской дивизии.

249

Ч. IV, глава IV, с. 55 и т. д.

250

По утверждению Петрова.

251

Унтер-офицеры кадра 45-го полка будто бы заявили, что с повстанцами драться не будут. Об этом обстоятельстве в Лубнах я не слышал, и оно кажется мне крайне сомнительным. Если же это правда, то отказ выполнить боевой приказ лишний раз свидетельствует о том, что на «кадры», в противоположность Куриню, нельзя было полагаться.

Следы 45 полка, которые не хотели исполнять приказа, поехали уже с связными Шинкаривцами, которые кой кому из начальников представлены как проводники, ну и естественно донесли что все идут на север от Лубнов, куда и погнала немецкая конница захватывать повстанцев на переправах, оставив оборону города немецкой пехоте».

Они переправились через нее в районе Лукомья.

Украинское телеграфное агентство.

255

Мне не удалось установить, где находится этот пункт.

Сохраню это наименование, хотя в то время во всех официальных бумагах Куринь именовался «Охоронной сотней».

В Петербурге меня долго и тщетно учили называть их «сладкими пирожками», но для человека, выросшего на юге, это наименование звучит невыносимо книжно.

Обыватель к тому же узнавал об оборотной стороне «Державы» только из тщательно процензурованных властями газетных сообщений.

259

Этот офицер служил в 3-й батарее 1-го Финл. горного дивизиона лишь временно.

Милорадович прослужил у нас лишь один или два месяца и не был в курсе наших военных операций.

Последний не имел к составлению записки ровно никакого отношения.

262

Радикальная земельная реформа начала разрабатываться позже, уже после моего отъезда в Южную армию.

263

Один генерал, которого я лично знаю, товарищ покойного генерала Врангеля по Академии Генерального штаба и личный его друг, сообщил мне следующее: «Генерал Врангель, прежде чем уехать в Добрармию, виделся со Скоропадским. своим товарищем по Конному полку. Гетман предложил ему возглавить украинскую армию. Врангель сразу поставил вопрос:

– Скажи мне прямо – для России это делается или не для России?

Скоропадский ответил уклончиво, после чего генерал Врангель от предложения отказался. Точность этих сведений не подлежит никакому сомнению. Я не имею права назвать фамилию генерала, мне их сообщившего.

Запись относится к началу лета.

Лично я этого не думал.

Я имею в виду учащуюся молодежь.

Как известно, такой точки зрения тогда держался и П. Н. Милюков. Насколько помню, нам этот факт оставался неизвестным. Во всяком случае, «германская ориентация» части офицеров создавалась независимо от Милюкова.

В начале осени мы знали о начавшихся на Западном фронте упорных боях, инициатива которых в руках союзников, но думали, что это лишь один из эпизодов Великой войны. Впрочем, в частных беседах сами германские офицеры не раз говорили, что положение на Западе серьезное и их армия несет большие потери. Капитан Артопеус рассказывал мне, что для задержки наступления союзников германские батареи выезжают на открытые позиции и каждый такой выезд обходится в 50 % конского состава.

Я состоял некоторое время бригадным адъютантом 1-й Артил. бригады Южной армии, в которой сосредоточились почти все артиллеристы-«южане», и имел довольно широкую возможность познакомиться с настроениями этих офицеров.

Об этом эпизоде мне рассказал в 1919 г. бывший ученик императорской Александровской гимназии. Он уверял меня, что его товарищи во время революции устроили первую в России манифестацию с трехцветным флагом – летом 1917 г.

Это выражение мне очень запомнилось. Все документы, которых я собрал большое количество, к сожалению, пропали во время отступления Добровольческой армии.

В Добровольческой в это время всего 250.

Трудно было, конечно, думать, чтобы начальник штаба корпуса, временно им командовавший, мог сказать обратное, но все-таки с глазу на глаз со мной генерал Литовцев не раз сообщал мне вещи, которые при других обстоятельствах он бы, наверное, не повторил даже в смягченной форме.

Должен признаться, что я и сам так же понимал положение дел на Юго-Востоке.

Таким образом, я действительно устроил на штатные должности целый ряд лиц, впоследствии перешедших в Добрармию. К сожалению, среди них оказался один провокатор. Я знал этого техника, «бежавшего» из Москвы, в течение нескольких месяцев. Он все время вращался среди офицеров, и все считали его весьма порядочным человеком и убежденным антибольшевиком. Я дал ему записку с просьбой о назначении на должность чертежника, но, к сожалению, его потом приняли в контрразведку. Как мне впоследствии рассказали, этот провокатор после занятия Киева большевиками выдал нескольких чинов армии.

Речь идет об учащихся, воспоминаниям о которых по преимуществу посвящена моя первоначальная рукопись.

277

«Как началась «Южная армия» («Архив Русской Революции», VIII, стр, 166–181).

В эту категорию отнесены лица с образованием не ниже 6 классов средней школы. Студент был только один.

Генерал от артиллерии Слюсаренко.

Я считал и считаю точку зрения руководителей Добровольческой армии по этому вопросу глубоко ошибочной и чрезвычайно близорукой.

В действительности это были последствия испанского гриппа. С переездом в другой климат, Воронежскую губернию, болезненные явления, порядком меня утомившие, сразу прошли.

Насколько я понял, имелось в виду назначить меня командиром одной из батарей Южной армии. От этого я бы, во всяком случае, отказался, так как, неплохо зная строевую часть, стрельбу и тактику артиллерии, я совершенно не знал хозяйства. Кроме того, я ясно понимал, что меня, молодого поручика, при первом же удобном случае «съели» бы многочисленные претенденты на батарею из числа кадровых офицеров.

Фактически должность бригадного адъютанта я исполнял всего 3 недели и перед началом боевых операций перешел в строй на должность командира взвода.

Вообще говоря, принято, что каждый начальник сам избирает себе адъютанта. Я не подумал тогда об этом обычае, но на практике никаких недоразумений с моим командиром у меня не вышло.

Я с грустью думал о том, что Мосолов, по всей вероятности, заразился тифом, когда пас лошадей взвода ночами на монастырских лугах.

286

Настроения и обычаи военной среды 1918 г. удивительно верно переданы в пьесе Булгакова «Белая гвардия».

287

В своей статье («Арх. Рус. Рев», т. VIII) герцог Лейхтенбергский говорит (с. 172): «При вступлении никаких подписок от них (офицеров) не отбирали, а объясняли, что армия чисто русская, ни в какую борьбу с внешними врагами вмешиваться не будет» и т. д. Память в данном случае, безусловно, изменила автору. Подписка действительно не содержала, как это утверждали недоброжелатели Южной армии, каких бы то ни было обязательств по отношению к германцам, но представление ее являлось обязательным для всех поступающих.

«приемную»

289

Зимой 1918/19 г. Шулкову расстреляли большевики за то, что сыновья уехали на Дон. Как мне передавали, Константин Шулков умер от туберкулеза в Добровольческой армии.

290

Ласкательное наименование пожилых крестьян на Украине.

291

Запись, сделанная весной 1922 г. в Болгарии.